

Учредитель: Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Пермский государственный национальный исследовательский университет»

Редакционный совет

Александрова О. В., д. филол. н., проф. (Россия, МГУ)
Балина М., д-р, проф. (США, ун-т Иллинойс Везлиан)
Березович Е. Л., д. филол. н., проф. (Россия, УрФУ им. первого Президента России Б. Н. Ельцина)
Богданова-Бегларян Н. В., д. филол. н., проф. (Россия, СПбГУ)
Буле О., д-р, доц. (Нидерланды, ун-т Лейдена)
Вендина Т. И., д. филол. н., проф. (Россия, Москва, Институт славяноведения РАН)
Войтак М., д-р, проф. (Польша, Люблинский ун-т)
Ерофеева Т. И., д. филол. н., проф. (Россия, ПГНИУ)
Котельников В. А., д. филол. н., проф. (Россия, СПб., Институт русской литературы РАН)
Краузе М., д-р, проф. (Германия, ун-т Гамбурга, Институт славистики)
Мызников С. А., д. филол. н., проф. (Россия, СПб., Институт лингвистических исследований РАН)
Овчинникова И. Г., д. филол. н., проф. (Израиль, ун-т Хайфы; Россия, Первый МГМУ им. И. М. Сеченова)
Полякова Е. Н., д. филол. н., проф. (Россия, ПГНИУ)
Рут М. Э., д. филол. н., проф. (Россия, УрФУ им. первого Президента России Б. Н. Ельцина)
Савкина И., д-р, проф. (Финляндия, ун-т Тампере)
Саксена Р., д-р, проф. (Индия, ун-т Дели)
Ушакова О. М., д. филол. н., доц. (Россия, ТюменГУ)
Фэвр-Дюпэзр А., д-р, доц. (Франция, ун-т Пуатье)
Чернявская В. Е., д. филол. н., проф. (Россия, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого)

Редакционная коллегия

Новокрещенных И. А. (гл. ред.), к. филол. н., доц. (Россия, ПГНИУ)
Русинова И. И. (зам. гл. ред.), к. филол. н., доц. (Россия, ПГНИУ)
Шутёмова Н. В. (зам. гл. ред.), д. филол. н., доц. (Россия, ПГНИУ)
Абашев В. В., д. филол. н., проф. (Россия, ПГНИУ)
Абашева М. П., д. филол. н., проф. (Россия, ПГПИУ)
Алексеева Л. М., д. филол. н., проф. (Россия, ПГНИУ)
Арустамова А. А., д. филол. н., доц. (Россия, ПГНИУ)
Баженова Е. А., д. филол. н., доц. (Россия, ПГНИУ)
Боронникова Н. В., к. филол. н., доц. (Россия, ПГНИУ)
Бочкарёва Н. С., д. филол. н., проф. (Россия, ПГНИУ)
Братухин А. Ю., д. филол. н., доц. (Россия, ПГНИУ)
Бурдина С. В., д. филол. н., доц. (Россия, ПГНИУ)
Данилевская Н. В., д. филол. н., доц. (Россия, ПГНИУ)
Дускаева Л. Р., д. филол. н., доц. (Россия, СПбГУ)
Ерофеева Е. В., д. филол. н., проф. (Россия, ПГНИУ)
Кондаков Б. В., д. филол. н., проф. (Россия, ПГНИУ)
Кочкарева И. В., к. филол. н., доц. (Россия, ПГНИУ)
Кушнина Л. В., д. филол. н., проф. (Россия, ПНИПУ)
Мишланов В. А., д. филол. н., проф. (Россия, ПГНИУ)
Нестерова Н. М., д. филол. н., проф. (Россия, ПНИПУ)
Подюков И. А., д. филол. н., проф. (Россия, ПГПИУ)
Проскурнин Б. М., д. филол. н., проф. (Россия, ПГНИУ)
Серова Т. С., д. филол. н., проф. (Россия, ПНИПУ)

Адрес учредителя и издателя: 614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Букирева, д. 15.

Адрес редакции: 614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Букирева, д. 15 (Факультет современных иностранных языков и литератур, Филологический факультет). E-mail: langlit2009@mail.ru.

Сайт журнала: <http://press.psu.ru/index.php/philology>. Администратор сайта А. В. Пустовалов, контент-редактор англоязычной версии сайта Е. В. Исаева.

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации: ПИ № ФС 77-66482 от 14.07.2016 г.

Издание включено в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (10.01.01 – Русская литература, 10.01.03 – Литература народов стран зарубежья (с указанием конкретной литературы), 10.01.08 – Теория литературы. Текстология, 10.01.09 – Фольклористика, 10.01.10 – Журналистика, 10.02.01 – Русский язык, 10.02.02 – Языки народов Российской Федерации (с указанием конкретного языка или языковой семьи), 10.02.03 – Славянские языки, 10.02.04 – Германские языки, 10.02.14 – Классическая филология, византийская и новогреческая филология, 10.02.19 – Теория языка, 10.02.20 – Сравнительно-историческое типологическое и сопоставительное языкознание, 10.02.21 – Прикладная и математическая лингвистика).

Founder: Perm State University

Editorial Council

Olga Aleksandrova (Russia, Moscow State University)
Marina Balina (USA, Illinois Wesleyan University)
Elena Berezovich (Russia, Ural Federal University named after the First President of Russia B. N. Yeltsin)
Natalya Bogdanova-Beglarian (Russia, Saint Petersburg State University)
Otto Boele (Netherlands, Leiden University)
Tatyana Vendina (Russian Academy of Sciences, Moscow, Institute of Slavic Studies)
Maria Voytak (Poland, Lublin University)
Tamara Erofeeva (Russia, Perm State University)
Vladimir Kotelnikov (Russian Academy of Sciences, Saint Petersburg, Institute of Russian Literature)
Marion Krause (Germany, University of Hamburg, Institute for Slavic Studies)
Sergey Myznikov (Russian Academy of Sciences, Saint Petersburg, Institute of Linguistic Studies)
Irina Ovchinnikova (Israel, University of Haifa; Russia, I. M. Sechenov First Moscow State Medical University)
Elena Polyakova (Russia, Perm State University)
Mary Rut (Russia, Ural Federal University named after the First President of Russia B. N. Yeltsin)
Ranjana Saxena (India, University of Delhi)
Irina Savkina (Finland, University of Tampere)
Olga Ushakova (Russia, Tyumen State University)
Anne Faivre Dupaigne (France, University of Poitiers)
Valeriya Chernyavskaya (Russia, Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University)

Perm Editorial Board

<i>Irina Novokreshchennykh</i> – <i>Editor-in-Chief</i> (Perm State University)	<i>Natalya Danilevskaya</i> (Perm State University)
<i>Irina Rusinova</i> – <i>Associate Editor</i> (Perm State University)	<i>Liliya Duskaeva</i> (Saint Petersburg State University)
<i>Natalya Shutemova</i> – <i>Associate Editor</i> (Perm State University)	<i>Elena Erofeeva</i> (Perm State University)
<i>Vladimir Abashev</i> (Perm State University)	<i>Boris Kondakov</i> (Perm State University)
<i>Marina Abasheva</i> (Perm State Humanitarian- Pedagogical University)	<i>Irina Kochkareva</i> (Perm State University)
<i>Larissa Alekseeva</i> (Perm State University)	<i>Ludmila Kushnina</i> (Perm National Research Polytechnic University)
<i>Anna Arustamova</i> (Perm State University)	<i>Valeriy Mishlanov</i> (Perm State University)
<i>Elena Bazhenova</i> (Perm State University)	<i>Natalya Nesterova</i> (Perm National Research Polytechnic University)
<i>Natalya Boronnikova</i> (Perm State University)	<i>Ivan Podyukov</i> (Perm State Humanitarian- Pedagogical University)
<i>Nina Bochkareva</i> (Perm State University)	<i>Boris Proskurnin</i> (Perm State University)
<i>Alexandr Bratukhin</i> (Perm State University)	<i>Tamara Serova</i> (Perm National Research Polytechnic University)
<i>Svetlana Burdina</i> (Perm State University)	

Address of the founder and publisher: 15, Bukireva st., Perm, 614990, Perm Krai

Address of the editorial office: 15, Bukireva st., Perm, 614990, Perm Krai

(Faculty of Modern Languages and Literatures, Faculty of Philology). E-mail: langlit2009@mail.ru

Web-site of the journal: <http://press.psu.ru/index.php/philology>. Site administrator A. V. Pustovalov, content editor of the English version of the site E. V. Isaeva

СОДЕРЖАНИЕ

ЯЗЫК, КУЛЬТУРА, ОБЩЕСТВО	5
Исаева Е. В., Крофорд Р. МОДЕЛИРОВАНИЕ СЕМАНТИЧЕСКОГО ФРЕЙМА COMPUTERVIRUS: РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕМАНТИЧЕСКИХ РОЛЕЙ	5
Завадская Ю. О., Богданова-Бегларян Н. В. ОГОВОРКА КАК СПЕЦИФИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ УСТНОЙ СПОНТАННОЙ РЕЧИ (монолог vs диалог)	14
Колегова О. А. ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСОНАЖИ В ЛЕГЕНДАРНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРОЗЕ ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНИИ (по материалам публикаций XIX века)	25
Логунова Н. В., Мазитова Л. Л. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ КАК СРЕДСТВО ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ И ПСИХИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ИНДИВИДА (на материале фронтовых писем Т. В. Антипина)	37
Мишланов В. А. О СИМБИОЗЕ РУССКОГО И ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ СИНТАКСИСЕ	48
Худякова Е. С. ДОСТУП К ЕДИНИЦАМ МУЛЬТИЛИНГВАЛЬНОГО МЕНТАЛЬНОГО ЛЕКСИКОНА ПРИ СПОНТАННОМ ТЕКСТОПОРОЖДЕНИИ	59
Ширинкина М. А. КАТЕГОРИАЛЬНО-ТЕКСТОВОЙ ПОДХОД К ОПИСАНИЮ ПИСЬМЕННОГО ДИСКУРСА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ	69
ЛИТЕРАТУРА В КОНТЕКСТЕ КУЛЬТУРЫ	81
Абашева М. П., Зырянова А. И. ПРОБА ПЕРА: О НЕОПУБЛИКОВАННОЙ СКАЗКЕ ЛЬВА КУЗЬМИНА «ЗВЕЗДА СЧАСТЬЯ»	81
Васильева Е. В. КОНЦЕПТ «ОБЕЗЬЯНА» В АНГЛИЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XX ВЕКА (на материале произведений Г. Честертон, Дж. Голсуорси, Г. Уэллса, О. Хаксли)	89
Котелевская В. В. РУССКИЙ АНАРХИЧЕСКИЙ ТЕКСТ В РОМАНЕ ТОМАСА БЕРНХАРДА «ИЗВЕСТКОВЫЙ ЗАВОД»: СТРАТЕГИИ РЕЦЕПЦИИ	98
Прохоров Г. С. «ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ» И БИБЛЕЙСКАЯ КНИГА СУДЕЙ, ИЛИ О ПОЭТИКЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ПОВЕСТВОВАНИЯ И ИСТОКАХ ПОЛИФОНИИ ДОСТОЕВСКОГО	110
Решетняк Н. В. ВАРИАЦИИ МИСТИЧЕСКИХ ИДЕЙ В ЛИТЕРАТУРЕ XIX ВЕКА (О. де Бальзак, Ж. де Местр, Ш. Бодлер)	122
Романова С. В. ОНТОЛОГИЯ И ПОЭТИКА ХУДОЖЕСТВЕННО-ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ ПРОЗЫ С. АЛЕКСИЕВИЧ («Чернобыльская молитва. Хроника будущего»)	130
Хайрулина О. И., Монисова И. В. ДРАМАТУРГИЯ ЛЕОНИДА АНДРЕЕВА В КОНТЕКСТЕ ЕВРОПЕЙСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕССА: АНАЛИЗ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ	140

CONTENTS

LANGUAGE, CULTURE, SOCIETY	5
Isaeva E. V., Crawford R. SEMANTIC FRAMING OF COMPUTER VIRUSES: THE STUDY OF SEMANTIC ROLES' DISTRIBUTION	5
Zavadskaya Ju. O., Bogdanova-Beglarian N. V. SLIPS OF THE TONGUE AS A SPECIFIC COMPONENT OF ORAL SPONTANEOUS SPEECH (Monologue vs Dialogue)	14
Kolegova O. A. HISTORICAL CHARACTERS IN FOLK LEGENDS OF THE PERM REGION (Based on Publications of the 19 th Century)	25
Logunova N. V., Mazitova L. L. SPEECH GENRES AS A MEANS OF CHARACTERIZING THE LINGUISTIC PERSONALITY AND MENTAL STATE OF A PERSON (Based on the Material of Frontline Letters of T. V. Antipin)	37
Mishlanov V. A. ON THE SYMBIOSIS OF THE RUSSIAN AND CHURCH SLAVONIC COMPONENTS IN THE CONTEMPORARY RUSSIAN SYNTAX	48
Khudyakova E. S. ACCESS TO UNITS OF MULTILINGUAL MENTAL LEXICON IN SPONTANEOUS TEXTS	59
Shirinkina M. A. THE CATEGORICAL TEXTUAL APPROACH TO DESCRIBING THE WRITTEN DISCOURSE OF THE EXECUTIVE POWER	69
LITERATURE IN THE CULTURAL CONTEXT	81
Abasheva M. P., Zyryanova A. I. FIRST ATTEMPT AT WRITING: ABOUT THE UNPUBLISHED TALE BY LEV KUZMIN 'THE STAR OF HAPPINESS'	81
Vasiljeva E. V. THE CONCEPT 'APE' IN ENGLISH LITERATURE OF THE 20 th CENTURY (in Works by G. Chesterton, J. Galsworthy, H. Wells, A. Huxley)	89
Kotelevskaya V. V. RUSSIAN ANARCHIST TEXT IN THE NOVEL 'THE LIME WORKS' BY THOMAS BERNHARD: RECEPTION STRATEGIES	98
Prokhorov G. S. 'A WRITER'S DIARY' AND THE BOOK OF JUDGES: ON THE POETICS OF HISTORY AND ORIGINS OF DOSTOEVSKY'S POLYPHONY	110
Reshetnyak N. V. VARIATIONS OF MYSTICAL IDEAS IN 19 th -CENTURY LITERATURE (Honoré de Balzac, Joseph de Maistre, Charles Baudelaire)	122
Romanova S. V. THE ONTOLOGY AND POETICS OF NON-FICTION PROSE OF SVETLANA ALEXIEVICH ('Chernobyl Prayer. A Chronicle of the Future')	130
Khayrulina O. I., Monisova I. V. DRAMATURGY OF LEONID ANDREYEV IN THE CONTEXT OF THE EUROPEAN LITERARY PROCESS: ANALYSIS OF DOMESTIC RESEARCH	140

ЯЗЫК, КУЛЬТУРА, ОБЩЕСТВО

UDC 81.371

doi 10.17072/2037-6681-2019-1-5-13

**SEMANTIC FRAMING OF COMPUTER VIRUSES:
THE STUDY OF SEMANTIC ROLES' DISTRIBUTION¹**

Ekaterina V. Isaeva

Head of the Department of English Professional Communication

Perm State University

15, Bukireva st., Perm, 614990, Russian Federation. ekaterinaisae@gmail.com

SPIN-code: 4468-9991

ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-1048-7492>

ResearcherID: O-6777-2015

Scopus Author ID: 55968441100

Russ Crawford

Professor of History, Social Studies Advisor

in the Department of History, Political Science and Geography

Ohio Northern University

Hill Memorial 208, 525, S. Main Street, Ada, OH, 45810, USA. r-crawford.2@onu.edu

SPIN-code: 1330-3466

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-7952-6413>

ResearcherID: S-5788-2018

Submitted 16.10.2018

Просьба ссылаться на эту статью в русскоязычных источниках следующим образом:

Isaeva E. V., Crawford R. Semantic Framing of Computer Viruses: the Study of Semantic Roles' Distribution // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2019. Т. 11, вып. 1. С. 5–13. doi 10.17072/2037-6681-2019-1-5-13

Please cite this article in English as:

Isaeva E. V., Crawford R. Semantic Framing of Computer Viruses: the Study of Semantic Roles' Distribution. *Vestnik Permskogo universiteta. Rossiyskaya i zarubezhnaya filologiya* [Perm University Herald. Russian and Foreign Philology], 2019, vol. 11, issue 1, pp. 5–13. doi 10.17072/2037-6681-2019-1-5-13 (In Eng.)

The article deals with the problem of semantic roles' distribution in the frame VIRUS designated by the term *virus* in the computer virology discourse. The study is conducted in the framework of the cognitive discursive paradigm of modern linguistics and comprises the following linguistic approaches to the studies of language for special purposes: cognitive terminology, frame-based terminology, and frame semantics. The article gives a brief overview of the development of computer virology with reference to mental framing of the key aspects in the field. A frame is considered as part of context and a situation model representing a real-life event. Ch. Fillmore's frame semantics and the identification of deep cases or semantic roles are used as the main method of data analyses. We have analyzed the most typical plans of semantic roles' distribution in the frame VIRUS. The semantic roles of the frame VIRUS include Agent, Counteragent, Object, Addressee, Patient, Result, and Instrument. It has been found that besides the most distinctive distribution of semantic roles in the frame VIRUS, showing that the malicious program is conceptualized as the aggressor and a computer or its user as a victim, which correspond to the roles of the Agent and the Patient, there might be the frames with a virus in the role of the Counteragent, the Object, the Result, the Instrument, the Patient, and even the Place. We come to the conclusion that analysis of the roles' distribution helps to determine relations among the event participants and the way the situation is conceptualized and represented in the form of mental models in human minds.

In the *Discussion* section we illustrate the occurrence of typical semantic frames in popular culture, namely in films and television programs. With these we prove the relevance of the approaches and methods chosen to reveal the peculiarities of conceptualization in special areas and connection synergies between language, thought, and communication.

Key words: semantic frame; computer virology; frame-based terminology; cognitive terminology; semantic roles; deep cases; cognitive discursive linguistics.

1. Introduction

Informatization of modern society has become global in its scale: information computer technologies have become an important component of the economy, industry, education, etc. and an integral part of the daily life of the modern man. Without a computer and the Internet, it becomes difficult to carry out workflow, financial transactions, and professional communication. Electronic databases contain personal data, and social networks become storehouses of their users' personal information and a preferable environment for business and everyday communication. These achievements of modern information are at risk with the development of malicious software, in particular computer viruses, which can become an effective tool in the hands of malefactors.

The history of computer virology began in the forties of the twentieth century with the development of J. von Neumann's theory of self-reproducing automata, abstract systems in which functions similar to those of biological systems, namely growth, self-reproduction, interaction and death, were simulated by mathematics. Later, in 1985, such "self-replicating" computer programs were called "computer viruses", described by F. Cohen, a programmer at the University of Southern California, in his thesis "Computer Viruses" [Cohen 1985]. With the development of information computer technologies, viruses of various types, such as direct viruses, rewriting viruses, companion viruses, parasitic viruses, resident viruses, boot sector viruses, mutant viruses, etc. have been created, companies and laboratories, such as Kaspersky Lab, Doctor Web, Avast, Avira, Panda Security, ESET and others, developing antiviral protection and combatting tools, have been organized, education programs of higher education related to information and computer security have been introduced. With the proliferation of smartphones, new viruses emerge that pose a threat to users, such as the loss of personal information and money through mobile applications.

In this regard, the problem of computer security is becoming relevant for a wide range of professionals and users. For linguistics computer virology is also of interest as an object of research with the focus is on its terminology [Bogatikova, Isaeva 2014], metaphor in the language for special purposes [Isaeva 2014], [Mishlanova, Mishlanov 2012], the automation of the development of the computer vi-

rology dictionary [Suvorova, Bakhtin, Isaeva 2016] and others.

In this article, we turn to the problem of frame modeling of computer virology terminology. We believe that this approach to the study of terms will allow us to examine the content of terms in a more precise way and may serve as a basis for developing rules to influence the perception of information by intentionally simulating a term frame in a specific communicative situation.

To do this, we will consider the theoretical foundations of cognitive-discursive linguistics, cognitive terminology, and frame modeling, describe the semantic frames of the term virus in the discourse of computer virology, and outline the patterns of constructing the semantic frame VIRUS.

2. Theoretical background

To determine the basic principles of cognitive-discursive linguistics and cognitive terminology, let us consider what unites them with cognitive sciences in general. According to V. F. Novodranova, cognitive sciences are engaged in cognition, which is predetermined by the process of interaction of a person with the environment. Cognition includes the person's mind, behavior, the language used for objectifying all the processes occurring in the person's mind, namely perception, memory, experience, all kinds of information, etc. [Novodranova 2015: 54]. The study of these processes is conducted indirectly, as E. S. Kubryakova states, on the ground of inferences based on external manifestations, such as behavior and language [Kubryakova 2009: 15]. Therefore, the study of human mental processes, the peculiarities of cognition and perception are fruitfully carried out by cognitive linguists on the material of texts, as objectifiable results of human thinking and the static objects arising in time, text processes of creation and understanding unfold [Kibrik 2003].

Taking into account the fact that a significant part of the cognitive activity of an adult occurs in the framework of his or her professional activity, i. e. special training and professional communication, it is relevant to differentiate the areas of professional activity and to study the general and the particular in languages for special purposes as well as the features of their functioning in various discourses, which refer to types of verbally mediated professional activity carried out in specific situations within cultural contexts [Alekseeva, Mishlanova 2002: 3]. Such

interdisciplinarity, the connection of language with the subject area that it serves, human thinking and consciousness are provided by cognitive-discursive linguistics [Novodranova 2015: 54].

In the framework of the cognitive-discursive paradigm, cognitive terminology takes a special place. There the pragmatic side of the term functioning in discourse is given an integral role.

This idea is preserved in the Frame-based approach to terminology. Its disciples deny viability of the attempt to “find a distinction between terms and words” and underline that “the best way to study specialized knowledge units is by studying their behavior in texts” [LexiCon]. In the framework of this theory terms refer to “compound nominal forms that are used within a scientific or technical field and have meanings specific of this field as well as a syntactic valence or combinatory value” [LexiCon]. Taking this into account it is reasonable to claim that “even <...> most abstract concepts are understood in terms of concrete scenarios” [Pinker 2007]. The importance of taking the scenario or the context into consideration in linguistic studies is pointed out by B. Gasparov, who emphasizes that the context contains some part of a continuously moving flow of human experience. Context absorbs and reflects a unique set of circumstances under which and for which it was created. These circumstances include the author’s communicative intentions, the relationship of the author and the addressee, all possible circumstances, significant and incidental, ideological features and stylistic climate of the era in general. The context comprises the environment and specific individuals to whom the message is directly or indirectly addressed, genre and style features of both the message itself and the communicative situation in which it is included, as well as multiple associations with previous experience associated with the event [Gasparov 1996: 10].

Thus, a term being part of a certain context is embedded into the frame of a particular communicative event which is stored in the mind of a person in the form of a context or situation model. According to T. Van Dijk a context model is a generalized mental representation of an event with a set of invariant features and dynamic elements [Van Dijk 2008]. Relying on the contextual model, a participant of the event perceives it through the frame of this mental model and adjusts his or her knowledge and actions to the specific conditions. It is necessary to take into account that the speakers, as a rule, use only a part of their mental models. Context models also control semantic representations by controlling the selection of relevant information of event models [Van Dijk 2012].

From this point of view the interpretation of the term does not mean the disclosing of the entire se-

mantic content of the linguistic sign but implies the expounding of those semes that are activated in the minds of the communicants.

So, with the help of the tools of cognitive-discursive linguistics, cognitive and frame-based terminology, such as frame, taxonomic and metaphorical modeling [Isaeva thesis], generalized cognitive models of the term virus have been created, which come to the fore in two types of communication, in particular between experts and between an expert and a naive knowledge carrier.

In this article, we will go into the problem of developing an event script and distributing the semantic roles within the frame of the term virus.

3. Fillmore frame semantics

In cognitive terminology, it is commonly believed that the term is a frame concept. It marks the hierarchical structure of the term field and nominates special cognitive structures that require appropriate behavior imposed by specific knowledge [Ryabko 2016: 97]. To study the framing of the term virus, let us apply the theory of Frame semantics by Ch. Fillmore. This is a method of investigating the interaction between the language semantic space, i. e. linguistic meanings and the structures of knowledge and thinking space [Boldyrev 2000: 37]. The method allows to determine the principles of structuring and reflecting a certain part of human experience and knowledge in the meaning of linguistic units, to study the ways of activating the common knowledge that provides understanding in the process of verbal communication. The feature of this approach is the lack of a clearly delineated boundary between linguistic meaning and human experience [Boldyrev 2000: 37]. Within the framework of this theory, the frame is determined as a cognitive structure whose knowledge is associated with the concept represented by the word [Fillmore, Atkins 1992: 75]. Since the frame depends on the background knowledge, collective and personal experience of an individual, it is reasonable to include the elements of the contextual and situational models [Van Dijk 2008] into the structure of the term frame. The frames are characterized by a certain composition of participants, spatial and temporal coordinates, conditions, and cause-and-effect relationships [Kibardina 1988: 86]. Thus, a term frame is represented in the form of an event scenario in the context of which the term is used. Therefore, each context is unique. To achieve a certain degree of abstraction, we describe the event scenarios with the help of the deep cases, or semantic roles of Ch. Fillmore. These stand for the semantic functions that determine the roles of the event participants, such as the initiator, the object, the result, the place and the direction of the action. Ch. Fillmore differentiates the following roles: Agent,

Instrument, Stimulus, Patient, Theme, Experiencer, Content, Beneficiary, Source, Goal, Path [Fillmore 2003: 464].

4. Data analysis

In our work we use the classification of semantic roles, represented by Yu. D. Apresyan, in particular Agent (an animated action initiator), Object (the thing that is the object of the action), the Counteragent (the force against which the action is directed), Addressee (the person for whom the action is performed), the Patient (the thing that experiences the effectiveness of the action), Result (the thing that arises as a result of the action), Instrument (the physical cause of the action / stimulus), and Source (the initial state of the object before the action) [Apresyan 1995: 3–69].

The semantic analysis of the frames of the term *virus* has shown that the distribution of semantic roles in a frame varies in different contexts. So, the participant *virus* can act as an Agent, for example:

(1) *File viruses still afflict the unwary, though less often than they did a few years ago* [Miastkowski 1999: 123].

In example (1), the verb *afflict* determines the roles of two participants, namely *virus* (Agent) and *the unwary* (Patient). A similar situation occurs in example (2) in which *virus* acts as the Agent, and *program* as the Patient, connected with the help of the verb *infect*:

(2) *File virus infects program (.exe and .com) files* [ibid.];

and in example (3), where *virus* is the Agent, and *macros* is the Object, joined in a single frame with the verb *latch onto*:

(3) *Viruses like Melissa latch onto macros, small programs hidden in word processing software* [Christensen 1999: 76].

The frame of the term *virus* in the role of the Agent, can include a participant in the role of the Tool, for example when specifying the method of distribution of the viral program:

(4) *Many viruses have spread through pirated, illegally copied or broken games* [Minasi 1991: 44]

and in the role of the Place, when specifying the propagation medium of the malicious program:

(5) *...different viruses floating around the computer world...* [ibid.].

Such a distribution of the semantic roles can be connected with the seme of activity, originally inherent in the lexeme *virus* [Bogatikova, Isaeva, Burdina, Mishlanova 2014: 201] and typical of the computer virology discourse personification of a malicious program that can independently execute certain malicious actions, move around in the virtual

space, manipulate software objects, and have a significant impact on them.

There may be another distribution of roles in the frame, in which the virus will occupy the position of the Object, i. e. the participant involved in the action, but neither producing it nor experiencing any changes as a result of this action, for example:

(6) *Some virus experts say we'll see thousands of different viruses floating around the computer world in the next few years* [Minasi 1991: 44].

(7) *You've heard about computer viruses – those mysterious, malevolent programs that enter your computer in the dead of night and zap all of your data* [ibid.].

In examples (6) and (7), the participants *we* and *you* act as the Agent or Experiencer (the one who observes or experiences some action) if we consider a more precise and partitive Roles' definition, while *viruses* play the role of the Object (in both examples). Here *viruses* are represented as the objects of perception expressed by the verbs *will see* and *have heard*. This exposes the seme of materiality, tangibility. Interestingly, that in the second part of both sentences a typical frame is constructed in which the malicious software acts as the Agent.

In situations in which antivirus software is involved, the typical distribution of roles in a frame is as follows: an antivirus program is the Agent, a virus is the Counteragent, for example:

(8) *Four-stage program <...> prevents all known and future viruses, quarantines viruses coming from external sources* [ibid.: 54].

(9) *Stand-alone program <...> inoculates against specific viruses* [ibid.].

The fact that computer virus programs are written and subsequently used in someone's interests is reflected in the formation of frames in which the participant *virus* has the roles of the Result (Example 10) and the Tool (Example 11):

(10) *If a whole new class of virus is invented, you may need a product upgrade to deal with it* [Komando 1998: 72].

(11) *The current political climate globally could easily lead to cyber-terrorism where computer viruses are used as offensive weapons* [Home security].

In example (10), it is indicated that as a result of the action expressed by the verb *invented*, the *whole new class of virus* appears, and in example (11) it is noted that the physical reason used by the attackers as *offensive weapons* to perform some action, is *computer viruses*.

Let us consider example (12), in which *virus* plays the role of the Patient:

(12) *Prerelease version had trouble repairing a particular boot virus* [Miastkowski 1999: 123].

The thing indicated by the phrase *particular boot virus* is the Object of some action expressed with the word *repairing*, as a result of which this thing undergoes some change. This is expressed with the semantic role of the Patient.

In the computer virology discourse, you can find sentences in which the participant *virus* corresponds to the role of Place, for example:

(13) *The name GRAMMERSoft reportedly appears in the computer code in the Love Bug virus* [Beveridge 2000].

In this case, the role of the participant *virus* is due to the verb *appears* and the preposition *in*.

5. Results

The analysis of semantic roles of the term *virus* in contexts showed that the term *virus* has an elaborated and comprehended semantics, which results in the formation the frame made up of a virus in the role of an Agent, whereas computer software and computer users are victims which correspond to the semantic role of Patient. This frame conveys the idea of virus's activeness, which is preserved in the semantics of the word *virus* from its Latin progenitor. This semantic feature is maintained in the frame made of antiviral software in the role of Agent and a virus as the Counteragent. This means that even being an object of some manipulation, a virus stays active, for the role of Counteragent (the force against which the action is directed) comprises the semes of activeness (the force), negative connotation (against confrontation (is directed)).

Even if a virus takes the part of an Object it is still active for the participant who acts as an Agent or more specifically an Experiencer (as we or you in Examples 6 and 7) are not active but passively percept or experience the malware, which develop regardless of the Agent or Experiencer's wish. This is sustained in the second clauses of these two examples where the virus becomes the Agent of the frame.

Another rout of semantic elaboration of the term *virus* is discernible in the frames, which contain a virus in the roles of Result and Tool. This shows that this malware is an artificial object produced by a man (the developer) for some particular reason, namely for being employed in some fraudulent activities like theft or manipulation.

It is worthwhile mentioning that despite the fact of being merely a digital and abstract notion, a virus is conceptualized as a material objectifiable matter which can be observed (see Examples 6 and 7), physically modified, namely *repaired* (see Example 12), or even penetrated (see Example 13).

6. Conclusion

The study has proved that terms (in this case the term *virus*) comprise extended semantics, which is being developed in the contexts of the term's usage,

i. e. in real life events, in people's thought or communication, being continually modified and updated. Yet, the semantics of the term is regulated by the etymological content of the word, like in the *virus* case the original semes of activeness, substantivity, undesirability, and hideousness. Such kind of deductions are possible to be obtained only within the framework of cognitive discursive linguistics and frame-based terminology approach because the most extensive range of meanings unfold if particular events are taken into account. To avoid fragmentation of conclusions the results have been generalized with the help of frame semantics, which is aimed at standardized description of the context.

7. Discussion

Many of the semantic constructions of virus as it deals with computers have been employed in the popular culture in the form of films and television programs. In this paper they provide insightful scenarios for penetrating into the abstract concepts determined by the Semantic roles.

One of the clearest instances of the computer virus acting as an agent is American dramatic series *Revolution*, which aired for two seasons in 2013 and 2014. The series follows survivors of a cataclysmic event that saw all electricity failing. Most of humanity died in the aftermath, and the action of the series followed a group of survivors who eventually tried to restore the power. As the plot progressed, we learned that Rachel Matheson (Elizabeth Mitchell), one of the survivors, was directly responsible for the calamity when she and her husband released "nanites", which were essentially a virus that destroyed anything that used electricity. After being released by the Mathesons, the nanites became self-aware and attacked anyone who tried to restore the power.

Another series of films imagining computer viruses as an agent attempting to wipe out humanity was the *Terminator* series. In the series, Skynet, a computer system that becomes self-aware, and infects defense systems, causing a devastating nuclear war that kills a large percentage of the human race.

In both of these instances, the intelligent machines operated in the manner of a virus described in sections 1–5.

In Douglas Adams' more lighthearted five-volume story that began with *The Hitchhiker's Guide to the Galaxy*, which was originally written for radio in 1978, Adams imagined the earth as being a supercomputer set up by an advanced race to discover the secret to "life, the universe, and everything". The program went off track when a group of useless humanoids, including people who worked as telephone receiver cleaners. Those people had crashed on earth and acted as a virus that derailed the original programming.

This fits into the manner in which viruses are described in sections 6 and 7, when the virus acts as an object.

There are additional films and programs that would fit in with the other semantic uses of the term virus, but the above serve as examples of how computer viruses have entered the public consciousness. The popular culture thus acts as method of providing tangible evidence of the way in which viruses are described.

Authors' note

¹ The reported study was funded by RFBR according to the research project № 18-012-00825 A.

Acknowledgments

The authors would like to express their gratitude to Sally Newman for the grammatical proofreading of the manuscript.

References

Alekseeva L. M., Mishlanova S. L. *Meditsinskiy diskurs: teoreticheskie osnovy i printsipy analiza* [Medical discourse: theoretical foundations and the principles of analysis]. Perm, Perm State University Press, 2002. 200 p. (In Russ.)

Apresyan Yu. D. *Izbrannye trudy* [Selected works]. Moscow, LRC Publishing House, 1995, vol. 1. Leksicheskaya semantika Sinonimicheskie sredstva yazyka [Lexical Semantics. Synonymous Language Means], pp. 3–69. (In Russ.)

Bogatikova E. P., Isaeva E. V. Kommunikatsiya spetsial'nogo znaniya v kontekste krossdiskursivnykh issledovaniy terminologii komp'yuternoy bezopasnosti [Special knowledge communication in the context of cross-discourse studies of computer security terminology]. *European Social Science Journal*, 2014, vol. 2, issue 6, pp. 101–107. (In Russ.)

Bogatikova E. P., Isaeva E. V., Burdina O. B., Mishlanova S. L. Semanticheskaya transformatsiya termina v polidiskursivnom prostranstve [Semantic transformations of a term in different types of discourse]. *European Social Science Journal*, 2014, issue 3–2(42), pp. 199–205. (In Russ.)

Boldyrev N. N. Freymovaya semantika kak metod kognitivnogo analiza yazykovykh edinit [Frame semantics as the method for cognitive analysis of language units]. *Problemy sovremennoy filologii. Mezhvuzovskiy sbornik nauchnykh trudov* [Problems of modern philology. Interuniversity collection of scientific works]. Michurinsk, Michurinsk State Pedagogical Institute Press, 2000, issue 1, pp. 37–42. (In Russ.)

Gasparov B. M. *Yazyk, pamyat', obraz. Lingvistika yazykovogo sushchestvovaniya* [Language,

memory, image. The linguistics of language existence]. Moscow, Novoe literaturnoe obozrenie Publ., 1996. 352 p. (In Russ.).

Isaeva E. V. Metafora, kotorymi “bolete” komp'yuter: kommunikativno-pragmaticheskiy aspekt metaforicheskogo modelirovaniya [Metaphors a Computer is Sick with: Metaphorical Modelling in Communication]. *Inostrannyye yazyki v kontekste kul'tury. Mezhvuzovskiy sbornik statey po materialam konferentsiy. Permskiy gosudarstvennyy natsional'nyy issledovatel'skiy universitet* [Foreign Languages in the Context of Culture. Interuniversity Collection of Conference Proceedings. Perm State University]. Ed. by N. V. Shutemova. Perm, Perm State University Press, 2014, pp. 26–31. (In Russ.)

Kibardina S. M. *Valentnost' nemetskogo glagola*. Diss. ... d-ra filol. nauk [Valency of a German verb. Dr. philol. sci. diss.]. Vologda, 1988. 580 p. (In Russ.).

Kibrik A. A. *Analiz diskursa v kognitivnoy perspektive*. Avtoreferat diss. ... d-ra filol. nauk [Discourse Analysis in Cognitive Perspective. Abstract of Dr. philol. sci. diss.]. Moscow, Institute of Linguistics of the Russian Academy of Sciences Publ., 2003. 90 p. (In Russ.)

Kubryakova E. S. O kognitivnykh osnovaniyakh slovoobrazovaniya [On the cognitive foundations of word formation]. *Aktual'nye problemy sovremennoy slovoobrazovaniya. Materialy mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii* [Current issues of modern word formation. Proceedings of international scientific conference]. Ed. by L. A. Araeva. Kemerovo, Kemerovo State University Press, 2009, pp. 15–19. (In Russ.)

Mishlanova S. L., Mishlanov Ya. V. Virus kak metafora (osobnosti metaforizatsii v komp'yuternoy virusologii) [Virus as a metaphor (on the peculiarities of metaphorization in computer virology)]. *Filosofskie problemy informatsionnykh tekhnologiy i kiberprostranstva* [Philosophical Problems of IT and Cyberspace], 2012, issue 1, pp. 111–120. (In Russ.)

Novodranova V. F. Kakie nauki nazyvayutsya kognitivnymi? [Which areas of science are called cognitive?]. *Yazyk. Kul'tura. Perevod. Kommunikatsiya. Sbornik nauchnykh trudov k yubileyu professora G. G. Molchanovoy* [Language. Culture. Translation. Communication. Collection of Scientific Works Devoted to G. G. Molchanova's Anniversary]. Moscow, Tezaurus Publ., 2015, pp. 54–59. (In Russ.)

Ryabko O. P. Kognitivno-freymovyy podkhod v izuchenii terminologii [Cognitive-Frame Approach in Terminology Studies]. *Vestnik AGU* [The Bulletin of the Adyghe State University], 2016, issue 4(187), pp. 95–99. (In Russ.)

Suvorova V. A., Bakhtin V. V., Isaeva E. V. Elementy mashinnogo obucheniya v lingvistike: razrabotka algoritmov intellektual'nogo analiza teksta

[Elements of machine learning in linguistics: development of text-mining algorithms] *Matematika i mezhdistsiplinarne issledovaniya – 2016. Sbornik dokladov vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii molodykh uchenykh s mezhdunarodnym uchastiem* [Mathematics and interdisciplinary studies – 2016. Proceedings of all-Russian scientific-practical conference of young scientists with international participation]. Ed. by Yu. A. Sharapov. Perm, Perm State University Press, pp. 275–279. (In Russ.)

Beveridge D. Thesis Shows Link Between Possible “Love Bug” Programmers. *NEWS: Associated Press*, 2000 (Corpus of Contemporary American English: COCA: 2000: NEWS). (In Eng.)

Christensen D. Beyond Virtual Vaccinations. (cover story). *Science News*, vol. 156, issue 5, Washington, D. C., Society for Science & the Public, 1999, p. 76, (Corpus of Contemporary American English: COCA: 1999: MAG Science News). (In Eng.)

Cohen F. *Computer Viruses*. USA, ASP Press, 1985. 114 p. (In Eng.)

Computer Viruses – Are You At Risk? *Home Computer Security Guide: Informing you the dangers of the malware and viruses*. Available at: <http://www.cpusecurity.com/computer-viruses-are-you-at-risk/> (accessed 14.10.2018). (In Eng.)

Corpus of Contemporary American English. Available at: <https://corpus.byu.edu/coca/> (accessed 30.07.2018). (In Eng.)

Fillmore Ch. Valency and Semantic Roles: the Concept of Deep Structure Case. *An international handbook of contemporary research*. Ed. by Vilmos Agel, Ludwig M. Eichinger, Hans-Werner Eroms, Peter Hellwig, Hans Jürgen Heringer, Henning Lobin. Berlin, New York, Walter de Gruyter, 2003, vol. 1, pp. 457–475. (In Eng.)

Fillmore Ch. J., Atkins B. T. Toward a Frame-Based Lexicon: The Semantics of RISK and Its Neighbors. *Frames, Fields, and Contrasts*. Hillsdale, N. J., Lawrence Erlbaum Assoc, 1992, pp. 75–102. (In Eng.)

Komando K. When your computer gets sick. *Popular Mechanics*, 1998, vol. 175, issue 9, p. 72. (Corpus of Contemporary American English: COCA: 1998: MAG PopMech). (In Eng.)

LexiCon Research Group. Available at: <http://lexicon.ugr.es/fbt> (accessed 30.07.2018). (In Eng.)

Miastkowski S. Virucide! *PC World*, 1999, vol. 17, issue 2, p. 123. (Corpus of Contemporary American English: COCA: 1999: MAG PCWorld). (In Eng.)

Minasi M. Computer Viruses from A to Z. *Compute!* 1991, vol. 13, issue 10, pp. 44–49 (Corpus of Contemporary American English: COCA: 1991: MAG Compute!). (In Eng.)

Pinker S. *The Stuff of Thought: Language as a Window into Human Nature*. 1st Edition. New York, Viking, 2007. 304 p. (In Eng.)

VanDijk T. A. *Discourse and Context: A Socio-Cognitive Approach*. Cambridge, New York, Cambridge University Press, 2008. 284 p. (In Eng.)

Van Dijk T. A. Discourse and Knowledge. Ed. by James Paul Gee – Michael Handford. *Handbook of Discourse Analysis*. London, Routledge, 2012, pp. 587–603. (In Eng.)

Список литературы

Алексеева Л. М., Мишланова С. Л. Медицинский дискурс: теоретические основы и принципы анализа. Пермь: Изд-во ПГУ, 2002. 200 с.

Апресян Ю. Д. Избранные труды. Т. 1. Лексическая семантика. Синонимические средства языка. М.: Языки русской культуры, 1995. С. 3–69.

Богатикова Е. П., Исаева Е. В. Коммуникация специального знания в контексте кроссдискурсивных исследований терминологии компьютерной безопасности // *European Social Science Journal* (Европейский журнал социальных наук). 2014. № 6, т. 2. С. 101–107.

Богатикова Е. П., Исаева Е. В., Бурдина О. Б., Мишланова С. Л. Семантическая трансформация термина в полидискурсивном пространстве. *European Social Science Journal* (Европейский журнал социальных наук). 2014. № 3–2(42). С. 199–205.

Болдырев Н. Н. Фреймовая семантика как метод когнитивного анализа языковых единиц // *Проблемы современной филологии: межвуз. сб. науч. тр.* Мичуринск: Мичурин. гос. пед. ин-т, 2000. Вып. 1. С. 37–42.

Гаспаров Б. М. Язык, память, образ. Лингвистика языкового существования. М.: Нов. лит. обозрение, 1996. 352 с.

Исаева Е. В. Метафоры, которыми «болеет» компьютер: коммуникативно-прагматический аспект метафорического моделирования // *Иностранные языки в контексте культуры: межвуз. сб. ст. по материалам конференций / отв. ред. Н. В. Шутемова; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. Пермь, 2014. С. 26–31.*

Кибардина С. М. Валентность немецкого глагола: дис. ... д-ра филол. наук. Вологда, 1988. 580 с.

Кибрик А. А. Анализ дискурса в когнитивной перспективе: автореф. дис. ... д-ра филол. наук. М., 2003. 90 с.

Кубрякова Е. С. О когнитивных основаниях словообразования // *Актуальные проблемы современного словообразования: материалы междунар. науч. конф. / под ред. Л. А. Араевой. Кемерово: Кемеров. гос. ун-т, 2009. С. 15–19.*

Мишланова С. Л. Мишланов Я. В. Вирус как метафора (особенности метафоризации в компьютерной вирусологии) // *Философские проблемы информационных технологий и киберпространства*. 2012. № 1. С. 111–120.

Новодранова В. Ф. Какие науки называются когнитивными? // *Язык. Культура. Перевод. Коммуникация: сб. науч. тр. К юбилею проф. Г. Г. Молчановой*. М.: Тезаурус, 2015. С. 54–59.

Рябко О. П. Когнитивно-фреймовый подход в изучении терминологии // *Вестник АГУ*. 2016. Вып. 4(187). С. 95–99.

Суворова В. А., Бахтин В. В., Исаева Е. В. Элементы машинного обучения в лингвистике: разработка алгоритмов интеллектуального анализа текста // *Математика и междисциплинарные исследования – 2016: сб. докл. всерос. науч.-практ. конф. молодых ученых с междунар. участием / гл. ред. Ю. А. Шарапов; Перм. гос. нац. исслед. ун-т*, 2016. С. 275–279.

Beveridge D. Thesis Shows Link Between Possible «Love Bug» Programmers // *NEWS: Associated Press*, 2000 (Corpus of Contemporary American English: COCA: 2000: NEWS).

Christensen D. Beyond Virtual Vaccinations (cover story) // *Science News*. 1999. Vol. 156, issue 5. Washington, D. C., Society for Science & the Public. P. 76 (Corpus of Contemporary American English: COCA: 1999: MAG Science News).

Cohen F. *Computer Viruses*. USA: ASP Press, 1985. 114 p.

Computer Viruses – Are You At Risk? // *Home Computer Security Guide: Informing you the dangers of the malware and viruses* URL: <http://www.cpusecurity.com/computer-viruses-are-you-at-risk/> (дата обращения: 14.10.2018).

Corpus of Contemporary American English. URL: <https://corpus.byu.edu/coca/> (дата обращения: 30.07.2018).

Fillmore Ch. Valency and Semantic Roles: the Concept of Deep Structure Case // *An international handbook of contemporary research / ed. by Vilmos Agel, Ludwig M. Eichinger, Hans-Werner Erms, Peter Hellwig, Hans Jürgen Heringer, Henning Lobin*. Berlin; N. Y.: Walter de Gruyter, 2003. Vol. 1. P. 457–475.

Fillmore Ch. J., Atkins B. T. Toward a Frame-Based Lexicon: The Semantics of RISK and Its Neighbors // *Frames, Fields, and Contrasts*. Hillsdale, N. J.: Lawrence Erlbaum Assoc, 1992. P. 75–102.

Komando K. When your computer gets sick // *Popular Mechanics*. 1998. Vol. 175, issue 9. P. 72 (Corpus of Contemporary American English: COCA: 1998: MAG PopMech).

LexiCon Research Group URL: <http://lexicon.ugr.es/fbt> (дата обращения: 30.07.2018).

Miastkowski S. Virucide! // *PC World*. 1999. Vol. 17, issue 2. P. 123 (Corpus of Contemporary American English: COCA: 1999: MAG PCWorld).

Minasi M. Computer Viruses from A to Z // *Compute!* 1991. Vol. 13, issue 10. P. 44 (Corpus of Contemporary American English: COCA: 1991: MAG Compute!)

Pinker S. *The Stuff of Thought: Language as a Window into Human Nature*. 1st ed. New York: Viking, 2007. 304 p.

Van Dijk T. A. *Discourse and Context: A Socio-Cognitive Approach*. Cambridge, New York: Cambridge University Press, 2008. 284 p.

Van Dijk T. A. *Discourse and Knowledge*. James Paul Gee – Michael Handford (eds.) // *Handbook of Discourse Analysis*. L.: Routledge, 2012. P. 587–603.

МОДЕЛИРОВАНИЕ СЕМАНТИЧЕСКОГО ФРЕЙМА COMPUTER VIRUS: РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕМАНТИЧЕСКИХ РОЛЕЙ

Екатерина Владимировна Исаева

к. филол. н., зав. кафедрой английского языка профессиональной коммуникации
Пермский государственный национальный исследовательский университет
614990, Россия, г. Пермь, ул. Букирева, 15. ekaterinaisaev@gmail.com

SPIN-код: 4468-9991

ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-1048-7492>

ResearcherID: O-6777-2015

Scopus Author ID: 55968441100

Расс Крофорд

PhD, профессор истории, руководитель направления социальных исследований
факультета истории, политологии и географии

Огайский северный университет

OH 45810, США, шт. Огайо, г. Эйда, ул. Мейн Стрит, Хилл Мемориал 208, 525 С. r-crawford.2@onu.edu

SPIN-код: 1330-3466

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-7952-6413>

ResearcherID: S-5788-2018

Статья поступила в редакцию 16.10.2018

Рассматривается проблема распределения семантических ролей во фрейме VIRUS, обозначаемом термином *virus*, в дискурсе компьютерной вирусологии. Исследование проводилось в рамках когнитивно-дискурсивной парадигмы современного языкознания и включило следующие лингвистические подходы к изучению языка для специальных целей: когнитивная терминология, фреймовая терминология, фреймовая семантика. В статье дается краткий обзор развития компьютерной вирусологии применительно к ментальному воспроизведению ключевых аспектов в данной области. Фрейм рассматривается как часть контекста и ситуационной модели, представляющих реальное событие. В качестве основного метода анализа данных используется фреймовая семантика Ч. Филлмора и выявление глубинных падежей или семантических ролей. Проанализированы наиболее типичные планы распределения семантических ролей в фрейме VIRUS. Семантические роли фрейма VIRUS включают в себя следующие: Агент, Контрагент, Объект, Адресат, Пациент, Результат и Инструмент. Было установлено, что кроме самого очевидного распределения семантических ролей в фрейме VIRUS, показывающего, что вредоносная программа чаще всего представляется как агрессор, а компьютер или его пользователь – как жертва, что соответствует ролям Агент и Пациент, встречаются фреймы, в которых вирус выступает в роли Контрагента, Объекта, Результата, Инструмента, Пациента и даже Места. Мы приходим к выводу, что анализ распределения семантических ролей помогает определить отношения между участниками мероприятия и то, как ситуация концептуализируется и представляется в виде ментальных моделей в человеческом сознании.

В разделе *Обсуждение* проиллюстрировано возникновение типичных концептуальных фреймов в массовой культуре, а именно в фильмах и телевизионных программах. С их помощью доказывается актуальность выбранных подходов и методов для выявления особенностей концептуализации в различных предметных областях и взаимосвязи языка, мышления и коммуникации.

Ключевые слова: семантический фрейм; компьютерная вирусология; фреймовая терминология; когнитивная терминология; семантические роли; глубинные падежи; когнитивно-дискурсивная лингвистика.

УДК 811.161.1

doi 10.17072/2037-6681-2019-1-14-24

ОГОВОРКА КАК СПЕЦИФИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ УСТНОЙ СПОНТАННОЙ РЕЧИ (МОНОЛОГ VS ДИАЛОГ)

Юлия Олеговна Завадская

студент филологического факультета

Санкт-Петербургский государственный университет

199034, Россия, г. Санкт-Петербург, Университетская наб., 11. yuliya.zavadskaya.1997@mail.ru

SPIN-код: 6572-9220

ORCID: <http://orcid.org/0000-0001-7894-7657>

ResearcherID: U-4726-2018

Наталья Викторовна Богданова-Бегларян

д. филол. н., профессор кафедры русского языка

Санкт-Петербургский государственный университет

199034, Россия, г. Санкт-Петербург, Университетская наб., 11. n.bogdanova@spbu.ru

SPIN-код: 67740937

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-7652-0358>

ResearcherID: M-9042-2013

ScopusID: 56292096800

Статья поступила в редакцию 07.11.2018

Просьба ссылаться на эту статью в русскоязычных источниках следующим образом:

Завадская Ю. О., Богданова-Бегларян Н. В. Оговорка как специфическая составляющая устной спонтанной речи (монолог vs диалог) // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2019. Т. 11, вып. 1. С. 14–24. doi 10.17072/2037-6681-2019-1-14-24

Please cite this article in English as:

Zavadskaya Ju. O., Bogdanova-Beglarian N. V. Ogovorka kak spetsificheskaya sostavlyayushchaya ustnoy spontannoy rechi (monolog vs dialog) [Slips of the Tongue as a Specific Component of Oral Spontaneous Speech (Monologue vs Dialogue)]. *Vestnik Permskogo universiteta. Rossiyskaya i zarubezhnaya filologiya* [Perm University Herald. Russian and Foreign Philology], 2019, vol. 11, issue 1, pp. 14–24. doi 10.17072/2037-6681-2019-1-14-24 (In Russ.)

Исследование устной спонтанной речи любого языка невозможно без обращения к таким ее элементам, которые традиционной лингвистикой обычно оцениваются как «отрицательный» материал. Анализ входящих в этот перечень *речевых сбоев*, совершенных говорящими, носителями русского языка, представляется необходимым для создания максимально полной картины современного состояния разговорной речи и, соответственно, языка в представлении его носителя. В статье анализируются оговорки, относящиеся к разным уровням языка (фонетические, лексические, грамматические), а также обозначены возможные причины их появления. Исследование проведено на базе двух корпусов устной речи: корпуса повседневной русской речи «Один речевой день» (ОРД, преимущественно диалоги и полилоги) и блока речи медиков из «Сбалансированной аннотированной текстотеки» (САТ, исключительно монологи). Пользовательский подкорпус составил 250 единиц в контекстах и строго сбалансирован по соотношению диалогических и монологических текстов (126 и 124 соответственно). Можно заключить, что настоящее исследование опирается на материалы, которые в данный момент наиболее полно и адекватно отражают специфику устной спонтанной речи в ее живом проявлении, как монологическом, так и диалогическом / полилогическом. Кроме того, благодаря специфике корпусов, использованных в качестве источника материала, сделаны некоторые выводы о частоте появления оговорок отдельно в монологе и диалоге. Данное противопоставление двух форм живой

речи оказывается существенным фактором, по-разному влияющим на появление оговорок в речи говорящего. Анализ материала показал, что в монологе человек оговаривается чаще. Скорее всего, это связано со спецификой экспериментальной речи (речи на видимый диктофон), однозначно менее естественной по сравнению с повседневным общением информантов ОРД.

Ключевые слова: повседневная речь; звуковой корпус; речевой сбой; оговорка; монолог; диалог.

1. Введение

Важной и практически неизбежной особенностью устной спонтанной речи (СР) является наличие в ней так называемых *оговорок*. В традиционной лингвистике, ориентированной прежде всего на литературно-письменный язык, такого рода явления обычно объединяют под рубрикой «речевые сбои», и они редко становятся самостоятельным объектом изучения. Ср.: «В свете корпусной идеологии совершенно по-новому предстают приоритеты лингвистической теории. Теоретическая лингвистика последних десятилетий затратила огромные усилия на анализ сложных синтаксических явлений. Однако с точки зрения корпусного подхода эта работа не всегда полезна, поскольку многие такие явления в речевой реальности не обнаруживаются или обнаруживаются крайне редко. В то же время исключительно частотные явления устной речи, такие как *хезитации*, *речевые сбои* (курсив наш. – Ю. З., Н. Б.-Б.), регуляторные дискурсивные маркеры, парцелляции и т. д., практически не замечены лингвистической теорией» [Кибрик, Подлеская 2009: 27]. Чаще всего речевые сбои рассматриваются как досадная помеха, «замутнение» исходного языкового материала, доступного лингвистическому наблюдению [Кибрик, Подлеская 2007]. Однако исследование речевых сбоев и взаимодействующих с ними явлений (например, реакция на них говорящего и осуществляемая им самокоррекция, сочетание с другими элементами СР и проч.) дает бесценный материал для изучения механизма порождения речи и ее анализа в различных аспектах, в рамках не только лингвистики, но и смежных дисциплин (социо- и психолингвистики, логопедии и т. п.). Ср.: «Не подлежит сомнению, что с точки зрения речетворческих процессов (т. е. нашей речевой деятельности) ошибки речи особенно показательны: они-то и раскрывают механизм этих процессов; они зачастую дают ключ к пониманию причин исторических изменений в языке. Для настоящего лингвиста-теоретика, для которого вопросы “как” и “почему” являются самыми важными, ошибки речи оказываются драгоценным материалом» [Щерба 1958: 76]; «Смена ролей, повторы, наложения речи (overlap), прерывания собеседников, устные высказывания, выходящие за рамки отдельных предложений [Schegloff 2006: 1], и др.

явления устной речи, в том числе оговорки, создают необходимость формирования новых теоретических основ дискурса» [Blommaert 2011: 122]. Эти соображения и стали главной причиной обращения в настоящем исследовании к материалу оговорок в повседневной русской речи.

2. О понятии оговорки

Оговорка является одной из разновидностей речевого сбоя. С фонетической точки зрения, к нарушениям беглости речи (*disfluencies*) Д. Вердоник, М. Ройк и М. Стабей относят повторы, коррекции, фальстарты, незаполненные и заполненные паузы хезитации, неразборчивые высказывания, технические перерывы, смену ролей в диалоге [Verdonik et al. 2007: 3]. Надо полагать, оговорки находятся в числе именно таких явлений разговорной речи. При этом речевой сбой выступает в роли так называемого гиперонима по отношению к оговорке, охватывая случаи и грамматических (изменение форм падежа, числа, времени и т. п.), и фонетических (мена фонем, их добавление или удаление), и лексико-семантических ошибок (например, употребление наречия *завтра* вместо *сегодня*).

В толковых словарях русского языка оговорка чаще всего трактуется как «непроизвольная ошибка в речи; слово, фраза, ошибочно сказанные вместо других, нужных» [Ефремова 2005: 155; 2000: 298)]¹. В настоящем исследовании, вслед за В. И. Подлеской [Подлеская 2014], оговорка понимается следующим образом:

- фрагмент, который не имеет отношения к исходному речевому намерению говорящего. Например, человек произносит слово, фонетически близкое к задуманному, но по смыслу абсолютно неуместное, типа *закачать рукава* вместо *закатать рукава*. В лингвистике для такого феномена используется термин «малапропизм» – лексико-стилистическая ошибка, выражающаяся в замене одного слова другим, которое сходно по звучанию, но абсолютно неуместно по смыслу [Ивлева 2010: 148];
- последовательность звуков, которая вообще не является осмысленной. Например, *вместе мы вмесело шагали* вм. *весело шагали*. Чаще всего такое происходит под влиянием предшествующей звуковой последовательности; так, упомянутое *вмесело* возникло из-за того,

что ему предшествовало слово *вместе* и говорящий не успел перенастроить цепочку команд, которая должна была поступить артикуляционному аппарату. Лингвисты в таких случаях говорят об эффекте «прайминга» (активация специфических ассоциаций в памяти) (см., например: [Русакова 2012]).

Определения, представленные выше, можно дополнить другим, данным М. В. Русаковой: «Под речевым сбоем понимается широкий комплекс фиксируемых в речи явлений, оценка которых говорящими располагается в континууме от “так сказать по-русски невозможно” до “лучше было бы сказать по-другому”» [там же: 46].

3. Материал исследования

Настоящее исследование проведено на базе двух корпусов устной речи:

- корпус повседневной русской речи «Один речевой день» (ОРД) – преимущественно диалоги и полилоги (см. подробнее: [Asinovsky et al. 2009; Звуковой корпус... 2013; Богданова-Бегларян и др. 2015, 2017а; Русский язык... 2016]); для анализа из корпуса извлечено 126 контекстов с исследуемыми единицами;
- блок речи медиков (MED) из корпуса монологической русской речи «Сбалансированная аннотированная текстотека» (САТ) – исключительно монологи (см. подробнее о САТ: [Богданова и др. 2008; Звуковой корпус... 2013; Богданова-Бегларян и др. 2017б]); для анализа из корпуса извлечено 124 контекста с исследуемыми единицами.

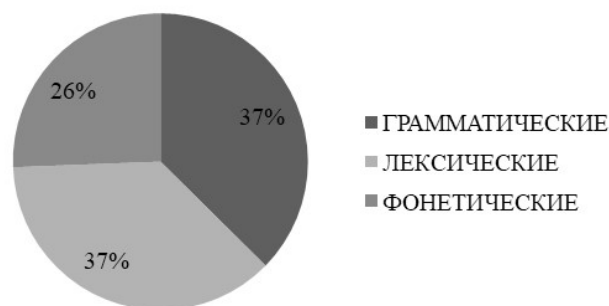
Таким образом, пользовательский подкорпус материала составил 250 единиц в контекстах и представляется вполне сбалансированным по соотношению диалогических и монологических текстов. Можно заключить, что настоящее исследование опирается на материалы, которые в данный момент наиболее полно и адекватно отражают специфику русской устной спонтанной речи в ее живом проявлении, как монологическом (САТ), так и диалогическом / полилогическом (ОРД).

4. Типология оговорок в устной спонтанной речи

На основе анализа материала пользовательского подкорпуса оказалось возможным выделить следующие разряды оговорок²:

- фонетические (изменение или деформация фонетической оболочки слова);
- лексические (замена «правильного» слова единицей с другим лексическим значением);
- грамматические (употребление неправильной формы слова).

Количественное соотношение выделенных разрядов представлено на рисунке.



Количественное соотношение разрядов оговорок в материале исследования
Quantitative Correlation of Categories of Slips of Tongue in the Research Material

Рассмотрим все эти разновидности в обоих типах речи – монологе и диалоге.

4.1. Фонетические оговорки

Фонетические оговорки являются самым «простым» в реализации речевым сбоем. Очевидно, что артикуляционный аппарат человека не может работать идеально и иногда дает сбои. Именно связь с артикуляцией и является основной причиной появления в речи оговорок, относящихся к разряду фонетических. Рассмотрим подробнее на примерах:

- 1) *значит затем он отправляется на лыжную погу... прогулку и непонятно для чего у него вместе с лыжами и с палками в руке / чемодан [САТ; И28Б, описание сюж.]*³;
- 2) *это старый пору... / полуразвалившийся дом / возможно там кто-то жил / но сейчас он оставлен и пуст [САТ; И22А, описание несюж.]*;
- 3) *а(:) / это (...) москвичи ко мне приезжали / я почему спрашивала что тебя до... дома бу... будешь ты или нет // *П тут вот / ночью я их вписывала // и они накупили / *П какого-то конопляного пива // как оно *В / Хан... Х... Ханблютте / Ханплютте / не помню как называется [ОРД; И1]*⁴.

Данные примеры хорошо иллюстрируют суть фонетических оговорок и их возможные причины. В контексте (1) можно видеть, что говорящий «выкидывает» из слова *прогулка* сонорный /г/. Можно предположить, что в сознании информанта существует связь данного существительного с глаголом *погулять*, что и привело к появлению оговорки, которая, таким образом, может быть отнесена еще и к разряду лексико-грамматических речевых сбоев⁵.

Ошибочное употребление того же звука /г/ обнаруживается и в контексте (2). Однако при-

чины данной ошибки, как представляется, более очевидны. Слово *полуразвалившийся* уже содержит в себе /r/ в следующем слоге. Видимо, говорящий «готовится» к артикуляции данного звука и произносит его с некоторым опережением, осуществляя своеобразную *преднастройку*, связанную с прогнозированием речевой цепи (идея сформулирована Е. В. Ерофеевой в личной беседе). Такую причину можно охарактеризовать как влияние контекста. К тому же сонорные /l/ и /r/ обладают схожими характеристиками – это чисто фонетическое основание для речевого сбоя. Наконец, слово *полуразвалившийся* – достаточно длинное (7 слогов, при том что в среднем русское слово содержит не более 5 слогов [Уровни языка... 1986: 170]) и уже потому трудное для произнесения, что стало проблемой даже для информанта из группы А (с высоким УРК).

Подобная ситуация наблюдается и в примере (3), где человек пытается вспомнить (и в результате не только не припоминает правильного названия, но и вербализует эту проблему: *не помню как называется*) иностранное и, соответственно, малознакомое имя собственное (что уже является одной из причин оговорки) и заменяет правильный глухой /p/ звонким /b/. Стоит отметить, что такие замены достаточно частотны среди фонетических оговорок.

Из рисунка видно, что фонетические оговорки составляют более чем четверть (26 %) всего пользовательского подкорпуса, что свидетельствует об их высокой частотности в русской устной спонтанной речи в целом.

Показательными представляются и данные о средней частоте появления фонетических оговорок в диалогической и монологической речи. Так, общий объем исследуемой части корпуса ОРД составляет 131 059 словоформ (с учетом знаков расшифровки). Следовательно, средняя вероятность появления фонетической оговорки в диалоге равна 0,02 %. В монологической речи показатели несколько различаются: анализируемая часть корпуса САТ включает 42 222 словоформы, и, таким образом, частотность фонетических сбоев рассматриваемого типа – 0,08 %. Однако с учетом того что информантов в САТ оказалось практически в два раза больше, чем в ОРД, представляется логичным разделить полученный результат пополам. В итоге частота / вероятность появления фонетической оговорки в монологической речи составляет приблизительно 0,04 %, что в два раза превосходит аналогичный показатель по диалогу.

4.2. Лексические оговорки

Под лексическими оговорками мы понимаем такие речевые сбои, которые можно охарактеризовать как употребление *не того* слова, ср.:

- 4) *вот ты пос... обрати внимание / что (э...) постоянно с... слышится то / что компания делает для нас всё* [ОРД; ИЗ];
- 5) *Татьяну_Михайловну% / *П ой // Татьяну% / *П Николаевну% / я очень просила прийти / и выступить // *П она *Н / # у неё очень хороший / отзыв* [ОРД; Ж1 # И14]⁶.

Приведенные контексты иллюстрируют суть лексических оговорок. Так, в примере (4) говорящий заменяет показавшийся ему неправильным или неуместным в данном контексте императив *посмотри* на устойчивое словосочетание *обрати внимание*. В этом случае самоисправление можно считать в какой-то степени гиперкорректным: замена правильного на «еще более правильное».

Вполне объективно можно оценить причину оговорки в примере (5). Здесь говорящий (на этот раз не информант ОРД, а его коммуникант) ошибается в употреблении имени собственного (отчества) и исправляет себя (*Михайловна* заменяется на *Николаевна*). Надо отметить, что ошибки в использовании имен собственных достаточно распространены в повседневной устной речи.

Речевые сбои лексического характера составляют 37 % всего пользовательского подкорпуса (см. рисунок). При этом средняя вероятность появления такой оговорки в диалоге и монологе примерно одинакова: 0,03 и 0,04 % соответственно.

К возможным причинам появления лексической оговорки можно отнести также частотность слова, произнесенного по ошибке, в языке в целом. Наиболее информативным источником в этом плане является «Новый частотный словарь русской лексики» О. Н. Ляшевской и С. А. Шарова [Ляшевская, Шаров 2009]. Для проверки гипотезы о влиянии частоты слова на появление оговорки были использованы данные этого словаря. Из 74 единиц пользовательского подкорпуса 57 (77 %) обнаружилось в данном частотном списке, что дало возможность провести соответствующую проверку. Рассмотрим примеры.

- б) *в центре картины / в св... в тени старых лип спрятался спряталась маленькая деревянная постройка // в виде погреба* [САТ; И29В, описание несюж.];
- 7) *действительно // картина / картинка не врал // солнце сияет // э э белоснежные склоны гор / просто манят* [САТ; И22А, описание несюж.];
- 8) *надо / использовать / этот совет // потому что что-то женщины не стали на него обращать внимание на работе / и / недолго думая он пошёл отправился в магазин* [САТ; И9Б, описание сюж.].

Примеры (6)–(8) иллюстрируют случаи первоначального выбора говорящим ошибочного (с разных точек зрения), но более частотного слова. Так, в контексте (6) информант в первый момент (машинально, автоматически, подсознательно) использует вместо правильного (действительно правильного в описании конкретного изображения!) слова *тень* его антоним *свет*, который оказывается в языке практически в десять раз частотнее: 219.2 vs 22.7ipm (instances per million words).

В следующем примере (7) говорящий использует подряд два однокоренных слова (*картина* и *картинка*), которые различаются семантически. Данный пример – из корпуса САТ, информант описывает рисунок Х. Бидструпа «Здоровый отдых», который невозможно назвать *картиной* в том значении, которое дается словарями⁷. Существительное *картинка* («иллюстрация, рисунок в книге или отдельный рисунок») [Ожегов, Шведова 1999: 654] представляется более уместным в этом контексте, почему информант и производит коррекцию. И снова слово *картина* оказывается несколько более частотным, чем *картинка* (68.0 vs 49.1), что и могло спровоцировать подобную оговорку.

Наконец, в последнем примере (8) говорящий вместо намного более частотного глагола *пойти* (1936.5) использует в ходе самокоррекции его малочастотный синоним *отправиться* (11.3). Вероятно, это связано со спецификой корпуса САТ: человек выполняет некоторое речевое задание, говорит на видимый диктофон и потому старается говорить лучше, чем обычно, без нужды демонстрируя богатство своего лексикона (срабатывает «эффект микрофона»)⁸.

Видно, что во всех случаях более частотное слово произносится первым, автоматически, как лежащее на поверхности ментального лексикона говорящего (*воспроизводится*), а менее частотное – после некоторых ментальных усилий (*производится*).

В пользовательском подкорпусе были обнаружены и случаи оговорок прямо противоположного толка, при которых говорящий сначала по каким-то причинам употребляет менее частотное слово, а затем заменяет его на более употребительное, ср.:

- 9) *окружив дерево мы долго ждали по... / когда кот спустится вниз* [САТ; 11А; пересказ сюж.];
- 10) *угу // @ кусочек мяты ! @ вкусный / он (...) в пластмассовой / прозрачной (...) упако... коробочке такой ... # ой слушай / а у меня шампанское кончилось !* [ОРД; И4#Р1#Ж1].

Частотность союза *пока* из примера (9) составляет 356.6, а союза *когда*, употребленного в качестве более «правильного» и удовлетворившего говорящего, – 2315.7. Заменяв союз, информант фактически перестроил и грамматику всей фразы: союз *пока* требовал бы отрицательной формы сказуемого в придаточном предложении: *ждали, пока кот не спустится*. После замены *пока* на *когда* отрицательная форма предиката перестала быть необходимой. Здесь лексическая оговорка начинает пересекаться с грамматической (см. ниже п. 4.3).

В примере (10) женщина-информант начинает произносить слово *упаковка* (13.9), но обрывает себя и отдает предпочтение более частотному существительному *коробочка* (23.9). Последнее существительное оказывается не только более частотным, но и более конкретным: уменьш. к «небольшой ящичек (из картона, жести и т. п.), обычно с крышкой» [МАС 1986: 105] vs «какой-то материал, обшивка, тара и т. п., в которые упаковывают вещи, товары» [МАС 1988: 500]. Конкретизация *упаковки* сопровождается еще и употреблением изобразительного прагматического маркера⁹ *такой*, который «появляется в речи, когда говорящий чувствует необходимость в характеристике, оценке предмета, но не может выразить ее самостоятельным словом <...> или когда говорящий дает дополнительную оценку при описании» [Шклярчук 2018]. Не исключено, что использование этого маркера сопровождалось еще и некоторыми жестами говорящего, что, впрочем, можно только предполагать.

Количественный анализ показал, однако, что такие случаи редки и 91 % лексических оговорок совершается с заменой более частотного слова, которое первым «приходит на язык» говорящему (автоматически воспроизводится), на менее частотное (сознательно производится).

4.3. Грамматические оговорки

Под *грамматическими оговорками* в настоящей работе понимаются речевые сбои, обнаруживающие в себе неправильное (с точки зрения контекста или грамматики языка) употребление какой-либо формы слова, ср.:

- 11) *значит у нас появился рыжих рыжий кот который воровал у нас всё что можно* [САТ; 31В; пересказ сюж.];
- 12) *с нашей кто-то / с нашего учёного совета могут кто-то сделать // # вы знаете что ? да возьмите вы вот такую вот (эту самую) хорошую какую-нибудь / (...) замазочку* [ОРД; И14].

Представленные контексты демонстрируют, что в процессе порождения речи говорящий может столкнуться с грамматическими проблемами

разного типа. Так, речевой сбой в примере (11) заключается в неправильном выборе формы числа и падежа имени прилагательного: Р./В. п., мн. ч. (*рыжих*) вм. И. п., ед. ч. (*рыжий*). В следующем же примере (12) ошибка заключается в неправильном употреблении формы рода местоименного прилагательного: *с нашей* вм. *с нашей-го*. Последующее определяемое существительное *совета* проясняет причину этой оговорки: не исключено, что сначала говорящий думал о *кафедре*, а не о *совете*.

Грамматические оговорки, так же как лексические, составили 37 % материала пользовательского подкорпуса (см. рисунок), что вполне соответствует наблюдениям других исследователей, ср.: «Из 500 различного рода “неправильностей”, встретившихся в устной спонтанной речи на русском языке, 120 – почти четверть – связаны с нестандартным оформлением словоформы в различных морфологических категориях.<...> Это неудивительно: механизмы речевой деятельности, связанные с морфологическим оформлением словоформы, являются, с одной стороны, неотъемлемой частью синтаксирования, а с другой – действуют в рамках слова» [Русакова 2012: 40].

Несмотря на то что и в монологе, и в диалоге количество грамматических оговорок абсолютно равно (по 38 единиц в каждом случае), их частотность существенно различается: средняя вероятность появления грамматической оговорки в диалоге составила 0,02 %, в монологе же, где информантов было практически в два раза больше, – 0,045 %. Это может быть связано как с более высоким темпом диалогической речи, так и с тем, что в диалоге говорящий, скорее, стремится лучше донести информацию до собеседника, чем контролировать свою речь. Диалогическая речь информантов ОРД в принципе более естественна (и менее устойчива перед возможными ошибками), чем экспериментальная монологическая речь информантов САТ (о степенях естественности спонтанной речи см.: [Звуковой корпус... 2013]).

И снова можно предположить, что одной из причин появления грамматических речевых сбоев является частотность той или иной словоформы. Источником искомой информации послужил «Частотный словарь словоформ русского языка (проект)» А. В. Венцова и Е. В. Грудевой [Венцов, Грудева 2008] – «первая в истории составления частотных словарей русского языка попытка организовать по частоте встречаемости не лексемы, а акцентно размеченные словоформы» [там же: 2]. Попробуем проверить на материале пользовательского подкорпуса и эту гипотезу.

14) *мы () это самое уже / *П вчера / в... они вышли из зала заседания // *П я говорит ... *П я говорю / Коля / тебя прессыют // *П я говорю / а чего ты правду не скажешь ? что твоя мать ... @ *Н ты ему как бы жена* [ОРД; И6].

Реализация оговорки посредством неправильного употребления формы лица представлена в примере (14). Говорящий произносит местоимение *я*, но за ним следует глагол-сказуемое, не согласованное по лицу с подлежащим (*говорит*). Объяснить причины появления такого речевого сбоя можно двумя взаимосвязанными факторами. Во-первых, это возможное влияние того факта, что в устной речи (особенно в непубличных ситуациях) человек часто передает слова другого, употребляя при этом маркер-ксенопоказатель *говорит*. Кроме того (во-вторых), по данным «Частотного словаря словоформ...», эта форма оказывается в два раза частотнее формы *говорю*.

15) *а(:) с переплётом ? я сегодня не сдала / но я буду завтра / срочно сдела... делать это* [ОРД; И14].

В примере (15) говорящий неправильно использует глаголы *сделать/делать*, составляющие видовую пару. По данным «Частотного словаря словоформ...», глагол *сделать* оказывается менее употребительным, однако именно с него говорящий начинает «выбор» правильной формы в своей реплике. Хотя после уже произнесенного *буду*, первого компонента аналитической формы будущего времени, он, конечно, должен использовать форму *делать*, а не *сделать*. Ср., впрочем, наблюдения М. В. Воронец: «Вне зависимости от типа контекста несовершенный вид используется, если говорящему нужно привлечь внимание к самому действию. Когда достаточно указания на предел, после которого наступило новое состояние, выбирается глагол совершенного вида» [Воронец 2015: 24]. С учетом этого наблюдения можно предположить, что в конкретном примере говорящий, заранее уверенный в выполнении обещанного и под влиянием наречия *завтра*, т. е. некоего временного предела действия, использует именно глагол совершенного вида.

Впрочем, думается, что вопрос о влиянии частотности грамматических форм на их употребление в случаях речевого сбоя (при появлении грамматической оговорки) предстоит проработать еще тщательнее.

5. Заключение

Устная спонтанная речь может быть описана с разных точек зрения. Современные речевые корпусы способствуют развитию лингвистики в этом направлении. В частности, исследование таких специфических компонентов СР, как ого-

ворки, представляется важным объектом внимания коллоквиалистов. Анализ материала пользовательского подкорпуса в настоящем исследовании позволяет сделать вывод, что оговорки, особенно фонетические и грамматические, в монологе появляются в среднем в два раза чаще, чем в диалогической речи. Это может быть связано со спецификой корпуса САТ (информанты выполняют речевое задание), что приводит к излишней тщательности и порой к гиперкоррекции. Кроме того, появление оговорок может быть объяснено различными причинами. Главной причиной фонетических оговорок становится влияние работы артикуляционного аппарата и фонетического контекста, причина лексических и отчасти грамматических оговорок – частотность того или иного слова или формы в языке в целом.

Говоря о практической значимости исследования оговорок в устном дискурсе, можно отметить, что это важно, например, для совершенствования систем автоматического распознавания речи. Так, в западной литературе не раз отмечалось, что если дискурсивные маркеры, будучи информативно значимыми речевыми фрагментами, часто являются вполне надежными индикаторами смысловых границ и облегчают работу программ распознавания, то другие явления разговорной речи, напротив, затрудняют ее и даже создают серьезные проблемы для разработчиков таких программ: например, междометия, заполненные паузы хезитации, выражения, не являющиеся предложениями в классическом понимании (в том числе оговорки), и др. [Ward 1989; Popescu-Belis, Zufferey 2011; Beliaou, Lacheret 2013].

В перспективах настоящего исследования – установление корреляции между различными типами оговорок, с одной стороны, и характеристиками говорящего (гендер, возраст, профессия, психотип, темп речи и проч.), а также характеристиками коммуникативной ситуации (ее место, наличие собеседника, социальные роли говорящих и проч.) – с другой.

Примечания

¹ Ср. и другое значение слова *оговорка*: ‘разъяснительное замечание, поправка, дополнение к сказанному или написанному’ [Ефремова 2005: 155; 2000: 298], но это значение нас в данном случае не интересует.

² Под разрядом *оговорки* в работе понимается принадлежность речевого сбоя к тому или иному уровню языка.

³ Все примеры в работе атрибутируются с указанием корпуса (САТ или ОРД), а также номера информанта: И1, И2 и т. д. Для материала

САТ рядом с номером информанта указывается также уровень его речевой компетенции (УРК): А (высокий, врачи-преподаватели), Б (средний, практикующие врачи) и В (низкий, медсестры). Подробнее о составе информантов-медиков см.: [Бродт 2007; Звуковой корпус... 2013]. Для текстов из САТ атрибуция содержит также указание на тип монолога: пересказ прочитанного текста (сюжетного или несюжетного), описание изображения (сюжетного или несюжетного), свободный рассказ.

⁴ О специальных обозначениях в расшифровках (конвенциях дискурсивной транскрипции) ОРД см. подробнее: [Русский язык... 2016: 242–243].

⁵ Случаев такого рода, когда оговорка может быть отнесена сразу к нескольким разрядам, в материале исследования оказалось достаточно много. При подсчетах такие оговорки учитывались дважды.

⁶ Знак # в расшифровках ОРД означает мену говорящих, знак @ – наложение их речи. В атрибуции ко всем таким примерам указывается не только информант (И), но и его собеседники: М (мужчина), Ж (женщина) или Р (ребенок).

⁷ «Картина – 1. Произведение живописи. 2. То же, что фильм. 3. Изображение чего-н. в художественном произведении. 4. То, что можно видеть, обозреть или представлять себе в конкретных образах. 5. Вид, состояние, положение чего-н.» [Ожегов, Шведова 1999: 654].

⁸ Ср.: «...наличие микрофона влияет определенным образом на говорящего. Он оформляет свою речь более тщательно. Это касается прежде всего фонетики (для речи в микрофон характерно “дикторское” произношение), а также синтаксиса (меньше перестроек на ходу, самоперебивов, поправок, колебаний и проч.)» [Земская 1988: 24]. Л. В. Бондарко относит подобную речь к виду «тщательной» речевой деятельности [Бондарко 1998: 258–259].

⁹ О *прагматических маркерах*, или *прагматемах*, см., например: [Богданова-Бегларян 2014]. Об изобразительной функции слова *такой* см.: [Шклярчук 2018].

Список литературы

Богданова Н. В., Бродт И. С., Куканова В. В., Павлова О. В., Сапунова Е. М., Филиппова Н. С. О «корпусе» текстов живой речи: принципы формирования и возможности описания // Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии. По материалам ежегодной международной конференции «Диалог» (2008) / гл. ред. А. Е. Кибрик. М.: РГГУ, 2008. Вып. 7 (14). С. 57–61.

Богданова-Бегларян Н. В. Прагматемы в устной речи: определение понятия и общая типология // Вестник Пермского университета. Россий-

ская и зарубежная филология. 2014. Вып. 3(27). С. 7–20.

Богданова-Бегларян Н. В., Асиновский А. С., Блинова О. В., Маркасова Е. В., Рыко А. И., Шерстинова Т. Ю. Звуковой корпус русского языка: новая методология анализа устной речи // Язык и метод: Русский язык в лингвистических исследованиях XXI века / ред. Д. Шумска, К. Озга. Kraków, 2015. Вып. 2. С. 357–372.

Богданова-Бегларян Н. В., Шерстинова Т. Ю., Блинова О. В., Мартыненко Г. Я. Корпус «Один речевой день» в исследованиях социолингвистической вариативности русской разговорной речи // Анализ разговорной русской речи (АР³-2017): труды седьмого междисциплинарного семинара / науч. ред. Д. А. Кочаров, П. А. Скредин. СПб.: Политехника-принт, 2017а. С. 14–20.

Богданова-Бегларян Н. В., Шерстинова Т. Ю., Зайдес К. Д. Корпус «Сбалансированная Аннотированная Текстоотека»: методика многоуровневого анализа русской монологической речи // Анализ разговорной русской речи (АР³-2017): труды седьмого междисциплинарного семинара / науч. ред. Д. А. Кочаров, П. А. Скредин. СПб.: Политехника-принт, 2017б. С. 8–13.

Бондарко Л. В. Фонетика современного русского языка. СПб.: Изд-во С.-Петербург. ун-та, 1998. 276 с.

Бродт И. С. Спонтанный монолог в лингвистическом и социолингвистическом аспектах (на материале текстов разного типа): дис. ... канд. филол. наук. СПб., 2007. 289 с. (машинопись).

Венцов А. В., Грудева Е. В. Частотный словарь словоформ русского языка: Проект. Череповец: Череповецкий гос. ун-т, 2008. 204 с.

Воронец М. В. Выбор глагола в условиях конкуренции видов // Вестник Томского государственного университета. 2015. Вып. 401. С. 21–27.

Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка. Толково-образовательный: в 2 т. М.: Рус. язык, 2000. Т. 2. 1209 с.

Ефремова Т. Ф. Современный толковый словарь русского языка: в 3 т. СПб.: Рус. язык, 2005. Т. 2. 1168 с.

Звуковой корпус как материал для анализа русской речи. Ч. 1: Чтение. Пересказ. Описание / отв. ред. Н. В. Богданова-Бегларян. СПб.: Филол. ф-т СПбГУ, 2013. 532 с.

Земская Е. А. Городская устная речь и задачи ее изучения // Разновидности городской устной речи / отв. ред. Д. Н. Шмелев, Е. А. Земская. М.: Наука, 1988. С. 5–44.

Ивлева С. В. Лингвосомиотические характеристики комического абсурда: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Волгоград, 2010. 23 с.

Кибрик А. А., Подлеская В. И. Самоисправления говорящего и другие типы речевых сбоек

как объект аннотирования в корпусах устной речи // Научно-техническая информация. Сер. 2. № 23. М., 2007. С. 1–39.

Кибрик А. А., Подлеская В. И. (ред.). Рассказы о сновидениях. Корпусное исследование устного русского дискурса. М.: Языки слав. культур, 2009. 736 с.

Ляшевская О. Н., Шаров С. А. Частотный словарь современного русского языка (на материалах Национального корпуса русского языка). М.: Азбуковник, 2009. 1112 с.

МАС – Словарь русского языка: в 4 т. Т. II. К–О / под ред. А. П. Евгеньевой. М.: Рус. язык, 1986. 736 с.

МАС – Словарь русского языка в 4 т. Том IV. С–Я / под ред. А. П. Евгеньевой. М.: Рус. язык, 1988. 796 с.

Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. 4-е изд. М.: ИТИ Технологии, 1999. 944 с.

Подлеская В. И. «То есть, не убили, а зарезали саблей»: самоисправления говорящего в устных рассказах // Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии: По материалам ежегодной Международной конференции «Диалог» (Бекасово, 4–8 июня 2014 г.). М.: РГГУ, 2014. Вып. 13(20). С. 526–540.

Русакова М. В. Элементы антропоцентрической грамматики русского языка / ред.: М. Д. Воейкова, Н. Н. Казанский, А. Ю. Русаков, С. С. Сай. М.: Языки слав. культуры, 2012. 568 с.

Русский язык повседневного общения: особенности функционирования в разных социальных группах / отв. ред. Н. В. Богданова-Бегларян. СПб.: ЛАЙКА, 2016. 244 с.

Уровни языка в речевой деятельности. К проблеме лингвистического обеспечения автоматического распознавания речи / под ред. Л. В. Бондарко. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1986. 260 с.

Шклярчук Е. Я. Какой такой? – об образительности в русской разговорной речи (на примере слова ТАКОЙ) // Русская филология 29: сб. науч. работ молодых филологов. Тарту: Тартуский ун-т, 2018. В печати.

Щерба Л. В. Опыт общей теории лексикографии // Щерба Л. В. Избранные работы по языкознанию и фонетике. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1958. С. 53–92.

Asinovsky A., Bogdanova N., Rusakova M., Ryko A., Stepanova S., Sherstinova T. The ORD Speech Corpus of Russian Everyday Communication «One Speaker's Day»: Creation Principles and Annotation / V. Matoušek, P. Mautner, (eds.) TSD 2009. LNAI. Vol. 57292009. Springer. Berlin-Heidelberg, 2009. P. 250–257.

Beliao J., Lacheret A. Disfluency and Discursive Markers: When Prosody and Syntax Plan Discourse

// DiSS 2013: The 6th Workshop on Disfluency in Spontaneous Speech. Stockholm, Sweden, 2013. 54(1). P. 5–9.

Blommaert J. The Cambridge Handbook of Sociolinguistics / ed. by R. Mesthrie. Cambridge, The UK: Cambridge University Press, 2011. P. 122–138.

Popescu-Belis A., Zufferey S. Automatic Identification of Discourse Markers in Dialogues: An In-Depth Study of *Like* and *Well* // Computer Speech and Language, Elsevier, The Netherlands. 2011. Vol. 25, Iss. 3. P. 499–518.

Schegloff E. A. Sequence Organization in Interaction. Cambridge, The UK: Cambridge University Press, 2006. 318 p.

Verdonik D., Rojc M., Stabej M. Annotating Discourse Markers in Spontaneous Speech Corpora on an Example for the Slovenian Language // Language Resources and Evaluation. The Netherlands. 41(2). 2007. P. 147–180.

Ward W. Understanding Spontaneous Speech // Proceeding of the Workshop on Speech and Natural Language. Philadelphia, The USA, 1989. P. 137–141.

References

Bogdanova N. V., Brodt I. S., Kukanova V. V., Pavlova O. V., Sapunova E. M., Filippova N. S. O «korpuse» tekstov zhivoy rechi: printsipy formirovaniya vozmozhnosti opisaniya [On the ‘Corpus’ of Texts of Live Speech: Principles of Formation and Possibilities of Description]. *Komp'yuternaya Lingvistika i Intellektual'nye Tekhnologii. Vyp. 7 (14). Po materialam ezhegodnoy mezhdunarodnoy konferentsii ‘Dialog’ (2008)* [Computational Linguistics and Intellectual Technologies. Issue 7 (14). Proceedings of the annual international conference ‘Dialogue’ (2008)]. Ed. by A. E. Kibrik. Moscow, Russian State University for the Humanities Press, 2008, pp. 57–61. (In Russ.).

Bogdanova-Beglarian N. V. Pragmatemy v ustnoy povsednevnoy rechi: opredelenie ponyatiya i obshchaya tipologiya [Pragmatic items in everyday speech: definition of the concept and general typology]. *Vestnik Permskogo universiteta. Rossiyskaya i zarubezhnaya filologiya* [Perm University Herald. Russian and Foreign Philology], 2014, issue 3(27), pp. 7–20. (In Russ.).

Bogdanova-Beglarian N. V., Asinovskiy A. S., Blinova O. V., Markasova E. V., Ryko A. I., Sherstinova T. Yu. Zvukovoy korpus russkogo yazyka: novaya metodologiya analiza ustnoy rechi [Speech corpus of the Russian language: a new methodology for analyzing oral speech]. *Yazyk i metod: russkiy yazyk v lingvisticheskikh issledovaniyakh 21 veka. Vyp. 2* [Language and Method: The Russian Language in the Linguistic Studies of the 21st Century. Issue 2]. Ed. by D. Shumska, K. Ozga. Krakow, 2015, pp. 357–372. (In Russ.).

Bogdanova-Beglarian N. V., Sherstinova T. Yu., Blinova O. V., Martynenko G. Ya. Korpus «Odin rechevoy den'» v issledovaniyakh sotsiolingvisticheskoy variativnosti russkoy razgovornoy rechi [Corpus ‘One Speaker’s Day’ in studies of sociolinguistic variability of Russian colloquial speech]. *Analiz razgovornoy russkoy rechi (AR3-2017). Trudy sed'mogo mezhdistsiplinarnogo seminarina* [Analysis of spoken Russian speech (AR3-2017). Proceedings of the 7th interdisciplinary seminar]. Ed. by D. A. Kocharov, P. A. Skrelin. St. Petersburg, Politeknika-Print Publ., 2017a, pp. 14–20. (In Russ.).

Bogdanova-Beglarian N. V., Sherstinova T. Yu., Zaidies K. D. Korpus «Sbalansirovannaya Annotirovannaya Tekstoteka»: metodika mnogourovnevnogo analiza russkoy monologicheskoy rechi [Corpus ‘Balanced Annotated Collection of Texts’: a methodology of multilevel analysis of Russian monological speech]. *Analiz razgovornoy russkoy rechi (AR3-2017). Trudy sed'mogo mezhdistsiplinarnogo seminarina* [Analysis of spoken Russian speech (AR3-2017). Proceedings of the 7th interdisciplinary seminar]. Ed. by D. A. Kocharov, P. A. Skrelin. St. Petersburg, Politeknika-Print Publ., 2017b, pp. 8–13. (In Russ.).

Bondarko L. V. *Fonetika sovremennogo russkogo yazyka* [Phonetics of the Modern Russian Language]. St. Petersburg, St. Petersburg State University Press, 1998. 276 p. (In Russ.).

Brodt I. S. *Spontanny monolog v lingvisticheskoy i sotsiolingvisticheskoy aspektakh (na materiale tekstov raznogo tipa)*. Diss. kand. filol. nauk [Spontaneous Monologue in Linguistic and Sociolinguistic Aspects (based on texts of different types). Cand. philol. sci. diss.]. St. Petersburg, 2007. 289 p. (In Russ.).

Ventsov A. V., Grudeva E. V. *Chastotnyy slovar' slovoform russkogo yazyka: Proekt* [The frequency dictionary of Russian word forms: Project]. Cherepovets, Cherepovets State University Press, 2008. 204 p. (In Russ.).

Voronets M. V. Vybor glagola v usloviakh konkurentsii vidov [Verb choice in aspectual competition]. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta* [Tomsk State University Journal], 2015, issue 401, pp. 21–27. (In Russ.).

Efremova T. F. *Novyy slovar' russkogo yazyka. Tolkovo-obrazovatel'nyy. V 2 t.* [The new dictionary of the Russian language. The explanatory and derivational dictionary. In 2 vols.]. Moscow, Publishing House ‘Russian Language’, 2000, vol. 2. 1209 p. (In Russ.).

Efremova T. F. *Sovremennyye tolkovyye slovar' russkogo yazyka. V 3 t.* [The modern explanatory dictionary of the Russian language. In 3 vols.]. Moscow, Publishing House ‘Russian Language’, 2005, vol. 2. 1148 p. (In Russ.).

Zvukovoy korpus kak material dlya analiza russkoy rechi: kollektivnaya monografiya. Chast' 1. Chtenie. Pereskaz. Opisanie [Speech corpus as a material for the Russian speech analysis: collective monograph. Part 1. Reading. Retelling. Description]. Ed. by N. V. Bogdanova-Beglarian. St. Petersburg, Faculty of Philology of SPbU Publ., 2013. 532 p. (In Russ.).

Zemskaya E. A. *Gorodskaya ustnaya rech' i zadachi ee izucheniya* [Urban oral speech and objectives of studying it]. Ed. by D. N. Shmelev, E. A. Zemskaya. Moscow, Nauka Publ., 1988. 544 p. (In Russ.).

Ivleva S. V. *Lingvosemioticheskie kharakteristiki komicheskogo absurda*. Avtoreferat diss. kand. filol. nauk [Linguistic and semiotic characteristics of comic absurdity. Abstract of Cand. philol. sci. diss.]. Volgograd, 2010. 148 p. (In Russ.).

Kibrik A. A., Podlesskaya V. I. Samoispavlenie govoryashchego i drugie tipy rechevykh sboev kak ob"ekt annotirovaniya v korpusakh ustnoy rechi. Nauchno-tehnicheskaya informatsiya [Speaker's self-corrections and other types of speech disruptions as an object of annotation in corpuses of oral speech]. *Nauchno-Tekhnicheskaya Informatsiya* [Scientific and Technical Information]. 2007, ser. 2, issue 23, pp. 1–39. (In Russ.).

Kibrik A. A., Podlesskaya V. I. (eds.) *Rasskazy o snovideniyakh: Korpusnoe issledovanie ustnogo russkogo diskursa* [Night dream stories: a corpus study of spoken Russian discourse]. Moscow, LRC Publishing House, 2009. 733 p. (In Russ.).

Lyashevskaya O. N., Sharov S. A. *Chastotnyy slovar' sovremennogo russkogo yazyka (na materialakh Natsional'nogo korpusa russkogo yazyka)* [The frequency dictionary of the modern Russian language (on the materials of the National Corpus of the Russian language)]. Moscow, Azbukovnik Publ., 2009. 1112 p. (In Russ.).

MAS – Slovar' russkogo yazyka v 4 tomakh [The dictionary of the Russian language in 4 vols.]. Ed. by A. P. Evgen'eva. Moscow, Russkiy Yazyk Publ., 1986, vol. 2. K-O. 736 p. (In Russ.).

MAS – Slovar' russkogo yazyka v 4 tomakh [The dictionary of the Russian language in 4 vols.]. Ed. by A. P. Evgen'eva. Moscow, Russkiy Yazyk Publ., 1986, vol. 4. S-Ya. 796 p. (In Russ.).

Ozhegov S. I., Shvedova N. Yu. *Tolkovyy slovar' russkogo yazyka* [The explanatory dictionary of the Russian language]. 4th edition. Moscow, ITI Tekhnologii Publ., 1999. 944 p. (In Russ.).

Podlesskaya V. I. «To est', ne ubili, a zarezali sabley»: samoispavleniya govoryashchego v ustnykh rasskazakh [‘That is, not Killed, but Stabbed with a Sword’: Self-Correction of the Speaker in Oral Stories]. *Komp'yuternaya Lingvistika i Intellek-*

tual'nue Tekhnologii. Vyp. 13(20). Po materialam ezhegodnoy mezhdunarodnoy konferentsii 'Dialog' (2008). (Bekasovo, 4–8 iyunya 2014 g.) [Computational Linguistics and Intellectual Technologies. Issue 13(20). Proceedings of the annual international conference ‘Dialogue’ (2008). (Bekasovo, 4–8 June 2014)]. Moscow, Russian State University for the Humanities Press, 2014, pp. 526–540. (In Russ.).

Rusakova M. V. *Elementy antropotsentricheskoy grammatiki russkogo yazyka* [Elements of the Anthropocentric Grammar of the Russian Language]. Moscow, LRC Publishing House, 2012. 568 p. (In Russ.).

Russkiy yazyk povsednevnogo obshcheniya: osobennosti funktsionirovaniya v raznykh sotsial'nykh gruppakh. Kollektivnaya monografiya [Everyday Russian language in different social groups. Collective monograph]. Ed. by N. V. Bogdanova-Beglarian. St. Petersburg, Laika Publ., 2016. 244 p. (In Russ.).

Urovni yazyka v rechevoy deyatel'nosti. K probleme lingvisticheskogo obespecheniya avtomaticheskogo raspoznavaniya rechi [Levels of language in speech activity. To the problem of linguistic support for automatic speech recognition]. Ed. by L. V. Bondarko. Leningrad, Leningrad State University Press, 1986. 260 p. (In Russ.).

Shklyaruk E. Ya. *Kakoy takoy? – ob izobrazitel'nosti v russkoy razgovornoy rechi (na primere slova TAKOY)* [What a kind of such? – on figurativeness in Russian colloquial speech (by the example of the word TAKOY <such>)]. Tartu, 2018. In print. (In Russ.).

Shcherba L. V. *Opyt obshchey teorii leksikografii* [The experience of the general theory of lexicography]. Leningrad, 1958, pp. 53–92. (In Russ.).

Asinovskiy A., Bogdanova N., Rusakova M., Ryko A., Stepanova S., Sherstinova T. The ORD Speech Corpus of Russian Everyday Communication «One Speaker's Day»: Creation Principles and Annotation; V. Matoušek, P. Mautner, (eds.) TSD 2009. LNAI. Vol. 57292009. Springer. Berlin-Heidelberg, 2009. P. 250–257.

Beliao J., Lachere A. Disfluency and Discursive Markers: When Prosody and Syntax Plan Discourse. *DiSS 2013: The 6th Workshop on Disfluency in Spontaneous Speech*, Stockholm, 2013, 54 (1), pp. 5–9. (In Eng.).

Blommaert J. *The Cambridge Handbook of Sociolinguistics*. Ed. by R. Mesthrie. Cambridge, Cambridge University Press, 2011, pp. 122–138. (In Eng.).

Popescu-Belis A., Zufferey S. Automatic Identification of Discourse Markers in Dialogues: An In-Depth Study of Like and Well. *Computer Speech and Language, Elsevier*, 2011, vol. 25, issue 3, pp. 499–518. (In Eng.).

Schegloff E. A. *Sequence Organization in Interaction*. Cambridge, Cambridge University Press, 2006. 318 p. (In Eng.)

Verdonik D., Rojc M., Stabej M. Annotating Discourse Markers in Spontaneous Speech Corpora on an Example for the Slovenian Language. *Lan-*

guage Resources and Evaluation, 2007, 41(2), pp. 147–180. (In Eng.).

Ward W. Understanding Spontaneous Speech. *Proceeding of the Workshop on Speech and Natural Language*. Philadelphia, 1989, pp. 137–141. (In Eng.).

SLIPS OF THE TONGUE AS A SPECIFIC COMPONENT OF ORAL SPONTANEOUS SPEECH (Monologue vs Dialogue)

Juliya O. Zavadskaya

Student in the Faculty of Philology

Saint Petersburg State University

11, Universitetskaya naberezhnaya, St. Petersburg, 199034, Russian Federation. yuliya.zavadskaya.1997@mail.ru

SPIN-code: 6572-9220

ORCID: <http://orcid.org/0000-0001-7894-7657>

ResearcherID: U-4726-2018

Natalia V. Bogdanova-Beglarian

Professor in the Department of Russian Language

Saint Petersburg State University

11, Universitetskaya naberezhnaya, St. Petersburg, 199034, Russian Federation. n.bogdanova@spbu.ru

SPIN-code: 6774-0937

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-7652-0358>

ResearcherID: M-9042-2013

ScopusID: 56292096800

Submitted 07.11.2018

The study of oral spontaneous speech in any language is impossible without reference to its elements which are usually considered by traditional linguistics to be ‘negative’ material. Analysis of such speech failures committed by native speakers of the Russian language seems necessary in order to get the most complete picture of the current state of the spoken language and, accordingly, the language in the native speaker’s representation. The article analyzes slips of the tongue relating to different levels of language (phonetic, lexical, grammatical), identifies possible reasons for their occurrence. The study was conducted on the basis of two corpuses of oral speech: the corpus of everyday Russian speech ‘One Speaker’s Day’ (ORD, mainly dialogues and polylogues) and a block of speech of physicians from the ‘Balanced Annotated Text Library’ (exclusively monologues). The users’ subcorpus includes 250 units in contexts and is strictly balanced by the ratio of dialogical and monological texts (126 and 124 respectively). Thus, the present study is based on materials that currently most fully and adequately reflect the specific features of oral spontaneous speech in its living manifestation, both monological and dialogical / polylogical. In addition, due to the specific nature of the corpuses used as sources, some conclusions are made about the frequency of the appearance of slips of the tongue in monologues and dialogues separately. This juxtaposition of the two forms of living speech is a significant factor, influencing the appearance of slips of the tongue in different ways. Analysis of the material showed that in a monologue a person makes mistakes more often. Most likely, this is due to the specific features of experimental speech (speech with a visible voice recorder in front of the speaker), which is definitely less natural than everyday communication of the ORD informants.

Key words: colloquial speech; speech corpus; speech failure; slip of the tongue; monologue; dialogue.

УДК 821.161.1: 908

doi 10.17072/2037-6681-2019-1-25-36

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСОНАЖИ В ЛЕГЕНДАРНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРОЗЕ ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНИИ (по материалам публикаций XIX века)¹

Оксана Алексеевна Колегова

преподаватель русского языка как иностранного

Санкт-Петербургский государственный технологический институт

(технологический университет)

190013, Россия, г. Санкт-Петербург, Московский просп., 26. okko.21@yandex.ru

SPIN-код: 7596-9696

ORCID: <http://orcid.org/0000-0001-6908-0940>

ResearcherID: S-4036-2018

Статья поступила в редакцию 16.10.2018

Просьба ссылаться на эту статью в русскоязычных источниках следующим образом:

Колегова О. А. Исторические персонажи в легендарно-исторической прозе Пермской губернии (по материалам публикаций XIX века) // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2019. Т. 11, вып. 1. С. 25–36. doi 10.17072/2037-6681-2019-1-25-36

Please cite this article in English as:

Kolegova O. A. Istoricheskie personazhi v legendarno-istoricheskoy proze Permskoy gubernii (po materialam publikatsiy XIX veka) [Historical Characters in Folk Legends of the Perm Region (Based on Publications of the 19th Century)]. *Vestnik Permskogo universiteta. Rossiyskaya i zarubezhnaya filologiya* [Perm University Herald. Russian and Foreign Philology], 2019, vol. 11, issue 1, pp. 25–36. doi 10.17072/2037-6681-2019-1-25-36 (In Russ.)

Изучение легендарно-исторического фольклора дает возможность увидеть устную версию истории, сложившуюся на конкретной территории и во многом отличную от официальной. В статье рассматриваются предания и легенды, обнаруженные в изданиях XIX в. и относящиеся к Пермской губернии, центральным персонажем которых является реальное историческое лицо. Анализ сюжетов показывает, как местными жителями осмыслились контакты с иноэтничным населением, какие сведения об основании городов, сел и возведении церквей стали частью устной традиции, как представлены в народном сознании образы правителей, религиозных подвижников, бунтовщиков и т. д. В фольклорную традицию Пермской губернии предсказуемо входят имена тех исторических лиц, которые оказали большое влияние на жизнь страны и региона (Иван Грозный, Петр I) либо посетили территорию (Александр I). Из числа прочих исторических персонажей наиболее популярными оказываются Стефан Пермский, атаман Ермак и бунтовщик Пугачев. Часть образов и сюжетов является общей с другими региональными традициями, однако обнаруживаются специфически региональные персонажи («ныробский узник» Михаил Романов, монастырские настоятели Далмат и Пафнутий) и редкие мотивы (женитьба Ермака на дочери Строганова). Выявленная совокупность исторических персонажей и сюжетов дает представление о содержании пермской устной традиции в XIX в., хотя не в полной мере отражает его. На отбор сведений, попадающих в губернские газеты, влияет официальный статус изданий, интересы и вкусы читателей.

Ключевые слова: фольклорная историческая проза; периодика XIX в.; предание; легенда; исторический персонаж; Иван Грозный; Петр I; Стефан Пермский; Далмат Исетский; Ермак; Пугачев.

Фольклорно-историческая проза представляет особый интерес для исследователей по ряду причин. Во-первых, в ней сохраняются – пусть и в преобразованном виде – сведения об историче-

ском прошлом региона, а сама фиксация конкретных сюжетов служит показателем глубины и устойчивости устной исторической памяти. В преданиях, например, не могут не отразиться

локальные военные столкновения, воспоминания о первых поселенцах, сведения о живших на данной территории «старцах» (святых, религиозных подвижниках, духовных лидерах старообрядческих общин). По фольклорным сюжетам мы можем судить также о типичном для традиционного сознания способе восприятия и отражения выдающихся чем-либо личностей, исторических событий и процессов, межэтнических и межконфессиональных контактов. Как известно, устная народная память о реальном прошлом «оформляется» и передается не точно и прямо, а с помощью сюжетных схем фольклорного типа; отбор этих во многом универсальных схем для воплощения конкретного, регионально приуроченного исторического опыта составляет часть специфики местной традиции.

В. К. Соколова, стоявшая у истоков жанровой классификации несказочного фольклора, считала, что предания необходимо группировать по циклам, т. к. в подавляющем большинстве случаев русские исторические предания сосредоточены вокруг персонажа – исторического лица [Соколова 1970: 6]. В монографии «Русские исторические предания» она выделяет следующие тематические группы: о борьбе с внешними врагами; об Иване Грозном и Петре Первом; о Ермаке; о Разине и Пугачеве; о разбойниках; о кладах. Перечисленные исторические лица в значительной мере изменили ход жизни всей страны, поэтому они часто упоминаются в русском фольклоре. В то же время сюжеты легенд и преданий соотносятся не только с общезначимыми историческими событиями, но и с более специфичными фактами локальной истории.

Исследования фольклорной легендарно-исторической прозы Пермского края трудно назвать многочисленными. Внимание специалистов устойчиво привлекает легендарный чудской народ, рассказы о котором особенно популярны в русской и коми-пермяцкой традициях Северного Прикамья [Парма – земля чуди 2009; Королева 2014; Моряхина 2014 и др.]. Другой вектор интереса направлен на отражение истории края в устной традиции [Чагин 1999; Куприянов 2013]. Легендарные сюжеты обычно приводятся в работах как иллюстративный материал, характеризующий религиозную жизнь Прикамья – основание монастырей, учреждение крестных ходов и т. п. [Кустова 2014].

В этой статье мы рассмотрим некоторые сюжеты пермской легендарно-исторической прозы, обнаруженные в периодических и непериодических изданиях XIX в. Материалом для анализа послужили сюжеты, события в которых выстраиваются вокруг конкретного исторического лица – царя, религиозного деятеля, бунтовщика и др.

Эти тексты сопоставляются с фольклорной традицией других регионов, а также с записями, сделанными на территории Пермского края в более позднее время, в XX в. Сравнение выявленных в пермской легендарно-исторической прозе фольклорных мотивов и образов с материалом, зафиксированным на других территориях, дает возможность обнаружить уникальных и типичных для фольклора Пермской губернии персонажей, а также увидеть, какова разница в изображении одного исторического лица жителями разных территорий. Привлечение прикамских текстов, записанных в XX в., помогает обнаружить динамику фольклорной традиции и показывает устойчивость отдельных сюжетов. В работе рассматривается фольклорная проза, записанная именно на территории бывшей Пермской губернии – т. е. в границах более широких, чем сегодняшние: они включали не только современный Пермский край (без южных районов), но и Свердловскую и часть Курганской области.

Назовем основные учтенные нами источники. Прежде всего это «Пермские губернские ведомости» за 1838–1891 гг. (далее – ПГВ)²; в неофициальной части публиковалась «народная поэзия, большое количество статей и заметок, в которых проявился интерес к народному быту. Форма привлечения фольклорно-этнографических материалов многообразна: публикация, этнографическая заметка, социально-этнографический очерк и т. д.» [Кустов 1971: 136]. Другой источник – «Пермские епархиальные ведомости» за 1867–1878 гг. (далее – ПЕВ); в неофициальной части издания описывалась религиозная жизнь местных приходов, поэтому здесь можно найти легенды о чудотворных иконах, явлении святого простому человеку и т. п. Фольклорные сюжеты отражены также в непериодических региональных и центральных изданиях. Одним из первых, кто начал собирательскую деятельность в Пермской губернии, был путешественник и историк флота В. Н. Берх, оказавшийся здесь по долгу службы. Наблюдения и собранный материал исследователь отразил в работе «Путешествие в города Чердын и Соликамск для изыскания исторических древностей» (1821), которую впоследствии активно цитировали ПГВ. Культуре и этнографии Пермской губернии посвящен «Пермский сборник», два выпуска которого вышли в Москве в 1859 и 1860 гг. Наконец, частично учтены фольклорные сведения, приведенные в труде пермского краеведа В. Н. Шишонко «Пермская летопись» (1881. Т. 1).

Всего из перечисленных изданий нами было извлечено и обработано более 170 текстов, содержащих устные легендарно-исторические сюжеты. В процессе первичной классификации мы

разделили их на группы (категории) в зависимости от главенствующего компонента текста. Выделено 6 таких компонентов (и, следовательно, групп текстов): субъект, объект, топоним, локус, чудо, практики и ритуалы, локальные прозвища³. Оказалось, что в наибольшем количестве представлены сюжеты, где действует какой-либо субъект. Их преобладание объясняется тем, что сюжет легче всего выстраивается вокруг персонажа, т. к. герой способен совершать значимые поступки, изменять привычный уклад вещей и т. п. Субъект может быть как индивидуальным (например, историческое лицо или странник), так и коллективным (чуждой народ, ногайские татары).

В обнаруженных нами пермских преданиях и легендах XIX в. наиболее популярными персонажами оказываются первые поселенцы, раскольники, этнические соседи, заводские управляющие и нек. др. Исторические фигуры остаются иногда безымянными («один купец», «царь»). Упомянутые в тексте исторические личности представлены в таблице.

Фольклорные тексты об историческом лице в фольклоре Пермской губернии
Folklore Texts about Historical Characters in the Folklore of the Perm Region

Историческое лицо	Источник
Иван Грозный	Берх, 1821; ПГВ, 1858
Михаил Никитич Романов (дядя царя)	Берх, 1821; ПГВ, 1870; ПЕВ, 1873
Михаил Федорович Романов (царь)	Берх, 1821
Петр Первый	ПГВ, 1859; ПГВ, 1860; ПГВ, 1877
Александр Первый	ПГВ, 1866; ПГВ, 1883
Стефан Пермский	ПЕВ, 1867; Берх, 1821
Старец Далмат	ПГВ, 1858; ПГВ, 1866; ПЕВ, 1867
Архимандрит Пафнутий	ПЕВ, 1867
Ермак	ПГВ, 1880; ПГВ, 1881; Берх, 1821
Емельян Пугачев	ПГВ, 1861; Пермский сборник, 1859; Берх, 1821
Александр фон Гумбольдт	ПГВ, 1866

Образы правителей в пермской фольклорной сказочной прозе

В пермских преданиях XIX в. исторический персонаж часто появляется в текстах о борьбе с этническими соседями. Например, в ПГВ были опубликованы циклы статей о Соликамске и Кунгуре, в которых, помимо прочего, описывались локальные столкновения русского населения с соседними народами и появлялся образ царя-«заступника». Собственно фольклорная сюжетная схема сводится к тому, что местные жи-

тели обращаются за помощью к правителю, однако царь не присылает войска для защиты городов и сел – вместо этого он отправляет в подарок икону, помогающую выстоять в битве. В предании о борьбе жителей Соликамска с ногайскими татарами в роли царя-дарителя выступает Иван Грозный: «...жители города хотя и защищались собственными силами и средствами, но часто терпели от них поражения и разорения, и потому, когда узнали, что Царь Иоанн Васильевич находится в войске под Казанью, послали к нему просить войска для защиты страны от набегов и опустошения. Вместо того царь послал им образ Святителя Николая с грамотою такого содержания, что по елику Царь со своим войском под Казанью, то и не может уделить из оного для защиты Соликамска, но посылает им образ Святителя Николая, который защитит их от вражеского нашествия» (Луканин 1858, № 41: 176–177). Нет официальных исторических документов, которые подтвердили бы факт дарения Иваном Грозным иконы Соликамску. Из летописных источников известно, однако, что икону, считавшуюся царским подарком, регулярно носили на крестные ходы, она являлась одной из главных реликвий города (там же). Примечательно, что сходные сюжеты связывались и с другими храмовыми иконами Соликамска. Так, однажды сибирские татары якобы отступили от города, увидев выставленные на стенах большие иконы Спасителя и Сретенья Господня и приняв изображенные лики за больших воинов; в народе эти почитаемые иконы стали называться «башенными» [Чагин 2004: 175].

Зафиксировано в Соликамске и предание о планировавшемся визите Ивана Грозного, оно записано В. Н. Берхом со слов капитана Николая Рычкова. Тот полагал, что город был построен спустя несколько лет после взятия Казани, поскольку «слышал от жителей старинное предание, что Царь Иван Васильевич, взявши Казань, поехал рекою Камаю в Соликамск; но доплыв до места, где ныне сей город находится, занемог и, оставя свое предприятие, поспешил в Москву» (Берх 1821: 2). Исторические источники показывают, что царь Иван Грозный в Соликамске никогда не был, однако в устной традиции XIX в. имя царя прочно связывалось с этим городом. Приведенный рассказ относится к группе сюжетов о пребывании исторического лица в какой-либо местности. В вятской фольклорной прозе встречаются сходные мотивы – Иван Грозный останавливается на местном кургане во время казанского похода: «Курганы по Пижме. <...> По преданию, здесь раскидывал свою палатку Грозный царь во время своего похода на Казань» [Приказчикова 2009: 202]. Широкое отражение

казанского похода в народной исторической памяти отмечает и этнограф Г. Н. Чагин [Чагин 1999: 48].

Интересно, что в периодических и неперiodических изданиях Пермской губернии сравнительно редко встречаются предания о другом популярном в устной традиции правителе – Петре I. Одно из фольклорных упоминаний о нем относится к Верхотурию и связано со строительством городского Свято-Троицкого собора: *«Есть предание, что образчик кирпича, приготовленного для кладки собора, был представляем для освидетельствования Самому Великому Преобразователю России по собственному Его повелению»* (Попов 1859, № 11: 36). Мотив этот не уникален, сходный повествовательный элемент встречается, к примеру, на Русском Севере: там Петр I собственноручно делает рисунок, по которому затем строят церковь [Криничная 1991: № 383]. Показательно, что в сборнике преданий, в разное время записанных в Карелии и Каргаполье и подготовленных к публикации Н. А. Криничной, большая часть сюжетов об историческом лице связана с деятельностью Петра [Криничная 1991], а в тематическом указателе Н. В. Петрова и А. Б. Мороза к современным каргапольским фольклорным записям категория «Царь» вообще совмещена с категорией «Петр Первый» [Мороз, Петров 2016: 442]. В уральском фольклоре второй половины XX в. Петр упоминается в сюжетах, связанных с промышленной деятельностью Демидовых, и выступает как покровитель оружейника и заводчика Никиты Демидова [Кругляшова 1991: 142–145].

Значительным событием местной жизни являлось пребывание на Среднем Урале членов царской фамилии. В частности, долго сохранялись в устной традиции рассказы об императоре Александре I, посетившем в 1824 г. проездом из Оренбурга Пермь, Кунгур и Екатеринбург [Чагин 1999: 77]. Один из таких рассказов попадает в 1866 г. на страницы ПГВ: его включает в свои «Заметки о пребывании в Зауралье государя Александра Павловича в 1824 году» краевед А. Н. Зырянов. В предании говорится о случайной встрече императора с крестьянином Шадринского уезда Егором Брюхановым, гнавшим табун лошадей на заводы для перепродажи: *«С приближением поезда венценосного путешественника лошади, которых гнал Брюханов, испугавшись шума и стука от экипажей, бросились в стороны и забежали в хлеба, находившиеся около дороги; товарищи Брюханова от какого-то непонятного страха рассеялись по окрестностям. Брюханов остался на месте один и занялся сгоном лошадей из хлебов. Когда поезд поравнялся с табуном лошадей, государь дал*

знак остановится и дал знак Брюханову приблизиться к нему. Со страхом и трепетом Брюханов предстал пред светлые очи царя, которого удостоился видеть в первый раз в жизни» (Зырянов 1866, № 12: 47). В основе текста, носящего очевидные следы литературной обработки, лежит широко распространенная фольклорная сюжетная схема, основанная на встрече простого человека (крестьянина, мастерового, солдата и др.) с царем. Как и в других преданиях данной тематической группы, крестьянин руководствуется чувством долга и проявляет смелость, государь восхищен трудолюбием / находчивостью подданного и одаривает его. Публикатор, однако, придает узнаваемой фольклорной истории литературную форму, типичную для массового чтения того времени. Государь изрекает поучительную сентенцию, а крестьянин усердно демонстрирует верноподданнические чувства: *«Монарх перекрестился <...> и, вынув из кармана ассигнацию в 25 рублей, подал ее Брюханову. “Ступай, – милостиво сказал государь Брюханову, – отгоняй стада из хлеба, береги хлеб как запас насущный и капитал ценный – самый необходимый для пахаря и всякого другого”. Брюханов восторженными слезами поблагодарил благодушного царя за милостивый подарок его. <...> До смерти своей Брюханов с восхищением вспоминал встречу свою с Александром Благословенным, умиленно и благоговейно рассказывал о ней как о минуте самой торжественной и счастливой в его жизни»* (там же).

Н. А. Криничная выделяет подобные сюжеты в особую группу «Предания о царской награде» [Криничная 1991: № 330–349] (к ней близки две другие – «О признании царем превосходства над ним подданного» и «О кумовстве царя с подданными» [там же: № 350–368]). Реально-историческая основа подобных рассказов обеспечивалась не только поездками царственных особ как таковыми, но и их встречами с местными жителями. Про Александра I, в частности, известно, что в с. Кыласово он, не выходя из экипажа, встречался с местным священником в присутствии крестьян, а в с. Большие Ключи Красноуфимского уезда император заночевал у священника Т. Будрина и подарил ему на память золотые часы [Чагин 1999: 77–78].

В устной исторической прозе второй половины XX в., записи которой хранятся в фольклорном архиве филологического факультета ПГНИУ, упоминаний об Александре I нам не встретилось. В этих текстах фигурируют другие царские особы, преимущественно императрицы Елизавета и Екатерина II. С Елизаветой связывается, к примеру, сюжет о чудесном исцелении на местном роднике: *«Елизавете Петровне сон приснился,*

она приказала выложить в Романово каретную дорогу. Сделали большую бревенчатую дорогу. И ее сюда на карете привезли. Она помылась в роднике, с собой воды взяла и уехала. Потом второй раз приехала. На третий раз сама встала на ноги и пошла» (Зап. от матушки Юлии, с. Романово, Усольский район, Пермская обл. Соб. Е. Мелюхина, Н. Савельева, 2004 г., дневник № 904). Возможно, исторической основой для появления этого сюжета послужил непродолжительный визит в Пермь и Пермскую губернию в 1914 г. другой Елизаветы, имевшей отношение к Дому Романовых, – сестры императрицы Александры Федоровны [Гладышев]. Смещение / совмещение исторических лиц с одинаковыми именами – типичная черта фольклорного сознания.

«Ныробский узник». Уникальными преданиями, зафиксированными в Пермской губернии, можно считать сюжеты о заточенном в Ныробе Михаиле Романове – дяде первого русского царя из новой династии. Цикл этих преданий имеет под собой реальную основу: Борис Годунов устраняет соперников в борьбе за престол, в результате Федор Никитич Романов (после пострижения – патриарх Филарет) сослан в монастырь под Архангельск, его жена, инокиня Марфа – в Заонежье⁴, братья Иван и Василий – в Пелым, Александр – в Усолье-Луду, а Михаил Никитич – в Ныроб (в то время д. Ныробку), где в 1602 г. скончался [Чагин 2013: 12]. Подробно об этом заточении пишет краевед Н. П. Белдыцкий в работе «Ныробский узник» [Белдыцкий 1913].

В предании, которое В. Н. Берх услышал от местных крестьян более двух столетий спустя, Михаил Романов наделяется чертами богатыря: пока шестеро сторожей копали для опального боярина земляную яму, «М[ихаила] Н[икити]ча, стоявшего подле саней, завалило снегом. Утесненный оным, схватил он обеими руками сани, и отбросил оныя шагов на десять в сторону. Толь необыкновенная сила <...> удивила Ныробцов; сани были так тяжелы, что едва пять человек могли оныя тронуть с места» (Берх 1821: 99). В ПЕВ находим другой вариант этого рассказа: «когда привезли его [Михаила Никишча] в село Ныроб и начали копать для него землянку, то он, вышедши из своей повозки, несмотря на свои тяжкия двухпудовыя оковы, схватил обеими руками копавших для него эту живую могилу шесть сторожей и кинул их от себя шагов на десять» (Попов 1873, № 11: 76–77).

Предания о богатырях встречаются во многих региональных традициях. Часто такими чертами наделяется и простой человек. Так, среди севернорусских преданий встречается рассказ о силаче Иване Донском – беглеце из Москвы: «При

царе Иване Грозном у нас беглец был, Донской; великан был, потому и деревня Великодворская. Силач был, ходил в Москву бороться, тоже верхову брал» [Криничная 1991: № 181]. Как видим, необыкновенной силой наделяется не местный житель, а чужой, пришлый, сбежавший от царя. Михаил Романов – также чужой, пострадавший от действий власти. Можно предположить, что появившиеся неожиданно и не вписывавшиеся в обычную обстановку люди казались местным жителям необыкновенными и поэтому могли наделяться в устной памяти чертами богатырей, невероятных силачей. Примечательна и другая черта народного сознания, приводящая в некоторых случаях к смешению образа дяди царя Михаила Романова с образом самого царя. В Ныробе Михаил Никитич, имевший чин окольного, повсеместно называется боярином, что «не соответствует историческим фактам, зато совершенно точно отражает логику местного предания»: «Логическим завершением этого “повышения” является замена “боярина” на “царя” <...> закономерная и естественная с точки зрения локального текста» [Куприянов 2013: 45–46].

Как известно, царь Михаил Романов, а позднее и другие представители династии, поддерживали жителей Ныроба: до 1720 г. они были освобождены от налоговых податей, из казны выделялись деньги на поддержание и строительство местных церквей [Чагин 2013: 31–33]. Над земляной ямой, в которой мучился и скончался дядя царя, в начале XVIII в. была построена деревянная часовня, которую затем сменила каменная (в начале XX в. по случаю 300-летия Дома Романовых вокруг нее был разбит мемориальный парк). В начале XVIII в. возведен каменный Никольский храм, в 1736 г. на месте первого захоронения Михаила Никитича и деревянной церкви построена Богоявленская церковь, где располагалась усыпальница-кенотаф и находились кандалы «ныробского узника» (в настоящее время хранятся в краеведческом музее г. Чердыни). Таким образом, при содействии царской фамилии сформировался мемориальный комплекс, поддерживавший память о родовитом мученике [там же: 54–78], а народные формы его культа приобретали преимущественно церковный характер.

Почитанием местных жителей и паломников пользовались, в частности, железные цепи, которыми был прикован узник во время своего заточения в Ныробе. Легенды о происходящих от них чудесных исцелениях упоминаются на страницах ПГВ: «Михаил Никитич, славившийся на всю Москву красотой и силой, заточен был в ныробскую волость Устьсысольского уезда, где его уморили стражи голодом. Страшно тяжелые цепи этого исторического изгнанника висят до

сих пор в ныробской церкви. <...> Над каменным же погребом, где содержался М. Н. Романов, устроена часовня; она усердно посещается ныробскими и окрестными жителями, в среде которых так твердо сохранилась память о знаменитом страдальце, что даже железные цепи его многими, а особенно женщинами, надеваются в надежде получить исцеление» (К истории Пермской губернии 1870, № 40: 177). О почитании этих кандалов пишет и Н. Белдыцкий: «Цепи эти, любовно оберегаемые обитателями Ныроба, являются как бы безмолвными свидетелями того ужасного дела, которому было положено начало в Москве, а конец в далекой и холодной Ныробке» [Белдыцкий 1913: 24]. Показательно, что Михаил Никитич Романов упоминается в преданиях и легендах, записанных на территории Чердынского района в конце XX в. Его имя помнят, а цепи, которыми он был прикован, по-прежнему считаются чудотворными: «Цепи Романова были в церкви. Старухи подойдут и Богу молиться будут в цепях-то. Так как цепи-то святыми считали» (Зап. от Васкецова Григория Емельяновича, 1907 г. р., пос. Ныроб, Чердынский район. Соб. М. Седова, Н. Поплахина, 1987, дневник № 364, ФА ПГНИУ). Исследовавший современное состояние ныробской локальной традиции П. С. Куприянов отмечает, что Михаил Романов по-прежнему «оказывается не просто одним из, а главным героем местной истории» [Куприянов 2013: 42].

Легендарная фольклорная проза о святых и подвижниках

В проанализированных нами источниках XIX в. обнаружено несколько текстов, где упоминается имя Стефана Пермского – проповедника христианства на землях народа коми, создателя первого коми алфавита. Миссионерская деятельность св. Стефана является одним из ключевых эпизодов «интенсивной саморефлексии русской культуры, темой которых оказалась Пермь» [Абашев 2000: 63]. Благодаря житию, написанному Епифанием Премудрым, известны детали мирской и религиозной жизни святителя, описаны связанные с ним чудеса (например, уничтожение «прокудливой» березы). В народных легендах упоминаются непростые отношения св. Стефана с местными жителями, встречей с ним объясняются локальные коллективные прозвища и дальнейшая судьба поселений: «...на правом берегу Вычегды есть большое селение Гам: говорят, что жители его известные под именем Гамичей, по удалении св. Стефана дальше вверх, снова обратились к языческим обычаям, и когда праведный муж возвращался назад мимо их рекою, смеясь, кричали ему, что они опять едят

белок; Святой болезновал горько о невеждах и назвал их слепым родом; с тех пор и до ныне вся волость называется презрительно “слепой Гам”» (ПЕВ 1886, № 7: 104). В этом же предании описывается противоположная ситуация – святой благодарит позаботившуюся о нем женщину и благословляет место, где она живет: «...одна женщина, видя худую обувь Праведника, дала ему белья от своих женских трудов; святой в благодарность изрек, что это место будет торговое» (там же).

Село Гам существует в Республике Коми и сегодня, в «Житии...» Епифания Премудрого оно не упоминается, но появляется в других книжных источниках, в т. ч. в «Сказании о жизни и трудах св. Стефана, епископа Пермского» архимандрита Макария: злые жители села сначала грозят святому смертью, но внезапно чувствуют к нему расположение, предлагают «кров и пищу»; приводится здесь сюжет, опубликованный в ПЕВ, а также другой вариант этой легенды: узнав о возвращении гамичей к язычеству, Стефан произнес: «Маловерный народ, слепой народ! Да будет Гам отныне слепым!» – после чего жители села стали подслеповаты и близоруки и получили прозвище «слепородов» [Макарий 1856: 12–13]. Легенда о доброй женщине подана как история, произошедшая в с. Туглим ниже Яренска [там же].

Сюжеты народных легенд, повествующих о путешествии св. Стефана, рассмотрены П. Ф. Лимеровым; в их составе он выделяет 9 основных мотивов, среди которых плавание святого на камне, название поселений, запрет жителям на беличье мясо / конину, наказание их слепотой и проч.; ареал распространения таких легенд включает коми и русские территории, прежде всего в нижнем течении Вычегды и верхнем течении Камы [Лимеров 2008: 191–212]. Сюжет о наказании за непочтительное отношение к святому встречается и в современных записях из Чердынского р-на Пермского края (жители с. Долды «живут у воды, но без воды», т. к. по велению святого Кама «отошла» от села / берег стал крутым) [Курочкина 2012: 113].

Упоминается Стефан Пермский и в работе В. Н. Берха, где имя святого связывается с памятным крестом, установленным в 1619 г. в Бондюжской волости Чердынского уезда: по словам местного священника, «крест сей <...>, как по преданию известно, поставлен учениками Стефана Великопермского, семидесятилетними стариками, в то время, когда здесь не было еще селения. Имена их Герасим, Иона и Питерим; все ли они были здесь в одно время, неизвестно» (Берх 1821: 86). В устной традиции соединились три ученика и преемника св. Стефана, жившие в

XV в.; вольное обращение со временем, проявляющееся в анахронизмах, – типичное проявление фольклорной компрессии [Неклюдов].

Не раз встречаются на страницах пермских газет упоминания основателя Далматовского Свято-Успенского мужского монастыря Далмата Исетского (в миру Дмитрия Мокринского, 1594–1697), который пользовался почитанием в Шадринском уезде Пермской губернии. Хотя со второй половины XIX в. его уже называют иногда «преподобным», официальная канонизация св. Далмата Исетского произошла лишь в XXI в. (в 2004 г. признан местночтимым святым, в 2013 г. утверждено общецерковное почитание). В ПГВ посвященные ему материалы появляются в 1858 и 1866 гг., и в них, по всей видимости, отражены многочисленные монастырские легенды (начиная с 1871 г. часть из них была записана и хранилась в архиве Далматовского монастыря) [Манькова].

Как и Стефан Пермский, св. Далмат распространял христианскую веру – он нес ее зауральским народам: *«Здесь, при впадении реки Течи у подошвы Белого городища в овраге с северо-западной стороны, Далмат остановился, ископал себе пещеру и начал продолжать свои иноческие подвиги. Это было в последний год царствования Михаила Фёдоровича, именно в 1644 году. С этого-то благоприятного времени Заисетский край, покрытый непроходимыми лесами, стал быть населяем русскими жителями и просвещаться христианскою верой»* (ПГВ 1858, № 3: 16). Местное население притесняло Далмата, разоряло монастырь. Спасение Далмату принес чудесный сон с явлением Богородицы, который увидел предводитель сибирских татар Илигей: *«Некая благолепная женщина в ризах багряных, с угрозой на лице и с бичем в десницах, предстает перед ним. При наступлении дня, сопровождаемой толпою своих единоплеменников, он с трепетом приближается к пещере Далмата и с благоговением рассказывает ему о чудесном явлении и прецении благолепной жены, именую её Пресвятой Богородицей»*. После этого Илигей покровительствовал подвижнику, а позднее *«прибыл на Белое городище с детьми и сродниками, взяв с собой Далмата, обвел его вокруг своей вотчины по всем урочищам и, исполняя веления Богоматери, отдал ему на всегда во владение всю свою Пришетскую вотчину»* (там же).

Легендарная проза, связанная с именем Далмата, обширна и многосюжетна. Так, ему приписывается чудесное спасение при пожаре во время очередного набега: *«А сам основатель пустыни Далмат чудесным образом сохранен был среди пожара и насильственной смерти. Равно и принесенная им икона Успения Божией Матери бы-*

ла обретаена после пожара среди пламени во всей целости» (там же). Подаренные Илигеем «любимый железный шишак и кольчуга» после смерти основателя монастыря были помещены в его усыпальнице и пользовались почитанием прихожан (там же). Легенды о Далмате содержат ряд мотивов, общих с жизнеописанием Стефана Пермского: это бедность и отшельничество святых, христианизация ими местных народов и притеснения со стороны тех, кто не хотел принимать христианское учение.

Попадает на страницы пермской периодики и пыскорский архимандрит Пафнутий. Пыскорский монастырь был основан в XVI в. Аникой Строгановым, который «вскоре после смерти своей второй жены Софьи Андреевны в 1567 г. принял постриг с именем Иоасаф в основанной им Пыскорской обители» [Кустова 2016: 72]. Пафнутий состоял на службе в Пыскорском монастыре с 1656 по 1687 г. и был известен не только как «деятельный и дальновидный настоятель», но и как основатель нескольких солеваренных заводов: *«Так, попечением и старанием его отысканы на левом берегу Камы, в том месте, где ныне Дедюхино и Березовый остров, соляные источники, устроены солеподъемные трубы, воздвигнуты варницы. Одна из труб, в память своего основателя, названа тогда же Пафнутиевою, и ныне, хотя давно уже закрыта, называется Пафнуткою»* (ПЕВ 1867, № 24: 393).

В какой-то момент, по преданию, Пафнутий навлек на себя немилость подчиненных, оставил свой пост и ушел в пекари. О дальнейших событиях повествует легенда, опубликованная в ПЕВ: *«Когда и здесь [в должности пекаря] злоба не претавала его преследовать, он употребил последнее средство образумить заблудших. Когда печь была истоплена, он, раздевшись совершенно, вошел в нее и замел все угли к стороне, как бы показывая тем, что если люди на него возстанут не справедливо, то стихия не смеет сего сделать. За сим, когда не могло убедить озлобленных и сие чудо, он, выняв из печи хлебы и сдав их кому следует, оставил неблагодарный монастырь и с сумою и посохом странника пустился вниз по Каме»* (там же). Автор добавляет, что «народная молва (в Дедюхине и Пыскоре) считает его праведным». Отметим, что чудесное спасение праведников или святых в огне – распространенный житийный и легендарный мотив (его мы уже встречали в легендах о старце Далмате).

Ермак, Пугачев и другие исторические лица

Остался в народной памяти и поход Ермака, путь которого в Сибирь частично пролегал по территории Пермской губернии. В ПГВ в подавляющем большинстве случаев имя Ермака встре-

чается в связи с описанием местных топонимов: «*Ермаково городище на реке Сылве, где Ермак с дружиною своей провел зиму 1578–1579 года*»; «*Ермак-камень, береговая известняковая скала на правой стороне реки Чусовой, в 34-х верстах ниже Кыновского завода, при устье речки Ермаковки. Посредине стены, обращенной к реке, в 10-ти сажнях от поверхности воды, находится вход в обширную пещеру, разделенную на множество гротов. По местному преданию, Ермак зимовал в этой пещере во время похода своего в Сибирь и похоронил в ней сокровища свои. Поэтому гора и пещера носят название Ермаковых*» (ПГВ 1881, № 74: 370)⁵.

Уральские и сибирские предания об этом герое подробно рассмотрены В. В. Блажесом. В работе «Фольклор Урала: народная история о Ермаке» он приводит тексты XVII–XIX вв. из различных источников и выделяет все встречающиеся в них мотивы [Блажес 2002: 74–82]. В материалах, собранных и опубликованных в XIX – нач. XX в., значительное место принадлежит именно топонимическим преданиям [там же: 8–11]. Их активное бытование по р. Чусовой может объясняться тем, что здесь пролегал путь Ермаковой дружины [Чагин 1999: 52–53]. Существует, однако, и другая устойчивая традиция ермаковых преданий, она локализована в окрестностях г. Кунгура и по р. Сылве. Согласно ей, Ермаково войско попало сюда «по ошибке» и осталось на зимовку, после чего вернулось назад и продолжило путь в Сибирь по Чусовой. Эта версия похода Ермака известна по казачьей Кунгурской летописи XVII в.; В. В. Блажес полагает, что кунгурский летописец отразил именно местную устную историю [Блажес 2002: 20–22].

Вероятнее всего, фольклорным является и представление о том, что Ермак породнился со Строгановыми, которые помогали ему снаряжать войско. Лаконичное упоминание об этом обнаруживается в ПГВ: «*Ермаку воздвигнули уже памятник в Сибири; но за чем же забыт Максим Строганов, на дочери которого женат был Ермак, и который дал своему зятю помощь деньгами и людьми, без чего несомненно предприятие это [сибирский поход] бы не имело никаких последствий*» (К истории Пермской губернии 1870, № 40: 177). Предание о том, что перед походом в Сибирь Ермак похоронил в Ледяной пещере свою жену, которая была «из рода Строгановых», зафиксировано однократно в 1898 г. и относится к числу крайне редких [Блажес 2002: 58], – тем ценнее вариант, найденный в губернской периодике XIX в.

Неожиданностью для нас оказалось то, что упоминания устных сведений, относящихся к роду Строгановых, на страницах печати бук-

вально единичны. Так, про евангелие, переданное из орловской церкви Соликамского уезда в ново-усольскую Николаевскую церковь говорится, что, по преданию, оно «*написано собственноручно одною из именитых жещицн Строгановых*» (ПГВ 1883, № 24: 123). С именем Строгановых связывается появление местнотимой иконы св. Николая чудотворца, почитавшейся в с. Кольцово под Пермью: «*...в этой местности, где ничего не было, кроме непроходимых лесов, одному человеку явился старец и велел написать икону святителя Николая и поставить в находящейся пещере; за тем старец сделался невидим. Удостоившийся такого явления, для написания иконы отправился будто бы в имение Строгановых, где были живописцы, и написанную икону принес и поставил в пещере*». Хотя в дальнейшем икона хранилась в храме, в народе она называлась «пещерская» (Остроумов 1872, № 30: 297).

В устной истории Пермской губернии не могло не отразиться имя Емельяна Пугачева. Предания о нем встречаются в составе исторических очерков о столкновениях местного населения с пугачевцами. Так, в Кунгуре в день нашествия Пугачёва совершался крестный ход в память о чудесном избавлении от бунтовщиков: «*...жители города во время последнего нападения Пугачёва, 23 января, вознамерились сделать молебствие и, поднявши из Тихвинской церкви икону Божией Матери, вышли с нею на вал к той стране, где стоял отряд Пугачева, состоявший из Башкирцев, Татар и бродяг разных сословий; эта сволочь Пугачев, увидя на валу такое множество народа, сочла его за прибывшее вновь из Кунгура войско и, испугавшись, побежала от города. С того времени осталось в Кунгуре и поныне еще хранится в Тихвинской церкви знамя из шелковой материи*» (Бувевский 1855, № 17: 28). Кунгур действительно сильно пострадал от пугачевских набегов. В 1896 г. было опубликовано «Сказание о нападении на Кунгур и уезд злодейских Пугачевских шаек и об обороне кунгурских граждан», написанное священником П. Пономаревым, который также упоминает о спасительной роли иконы Тихвинской Божией Матери: «*...когда во время приступа к городу <...> жители с крестным ходом вышли на вал, то злодеям показалось на валу многочисленное войско, и они, испугавшись, бежали от города никем не преследуемые*» (Пономарев 1896).

В ПГВ образ Пугачева имеет однозначно отрицательную характеристику. По-видимому, цензура не пропускала на страницы этой газеты сюжеты, в которых бы он был представлен как спаситель, помощник и т. п., – хотя известно, что такие предания тоже существовали [Кругляшова 1983: 52]. Фольклорные экспедиции XX–XXI вв.

показывают, что образ Пугачева по-прежнему жив в народной памяти: «Одолела царя Емельяна дума: освободить народ. Но схватили его самого, в железной клетке в Москву привезли и на плаху. Сказывают, может, и не казнили, может и жив де, да не показывается» (Зап. в с. Редикор, Чердынский район, Пермская область. Соб. Седова М., Поплаухина Н., 1987) (ФА ПГУ, дневник 364). Образ этого героя был со временем романтизирован и идеализирован, в том числе и советской властью, – возможно, поэтому предания и легенды о нем бытуют по сей день.

В ряду исторических персонажей, упоминаемых в устных рассказах, несколько особняком стоит Александр фон Гумбольдт – немецкий географ и путешественник, брат Вильгельма фон Гумбольдта. В 1829 г. ученый путешествовал по России и добрался до Перми. Его пребывание на Урале отразилось в предании о рудниках Верх-Исетского завода: «когда Александр фон Гумбольдт путешествовал по Уралу и был вблизи этого нынешнего медного рудника, на так называемом Ключевском золотом прииске, то будто бы говорил, что вблизи прииска непременно должна находиться богатая медная руда. Может быть, тогда на эти слова великаго ученаго не обратили внимания или скоро забыли» (З-н 1866, № 28: 111). Впоследствии на указанном Гумбольдтом месте обнаружили богатейший медный рудник. Рассказы о предсказании, сделанном путешественником, вряд ли имели широкое распространение и могли циркулировать в среде заводской администрации и горных инженеров.

Итак, анализ образов и сюжетов пермской легендарно-исторической прозы, зафиксированной в источниках XIX в., показывает, что в фольклорную традицию Пермской губернии предсказуемо входят имена тех исторических лиц, которые оказали большое влияние на жизнь региона. Из правителей государства в устные рассказы попадают те, кто значительным образом изменил жизнь страны (Иван Грозный, Петр I) или посетил губернию (Александр I). Из числа прочих исторических персонажей наиболее популярными оказываются Стефан Пермский, начавший христианизацию народов коми, Ермак, отправившийся в сибирский поход из пермского Орла-городка, и бунтовщик Пугачев, от которого пострадали города и села на юге Пермского Прикамья. Часть сюжетов является общей с другими региональными традициями: предания о встрече простого человека с царем широко известны на Русском Севере; рассказы о путешествии св. Стефана Пермского бытуют в Северном Прикамье и Республике Коми; предания о Ермаке из Пермского края уходят в Зауралье и Сибирь. Некоторые исторические лица фигурируют в более

узкой региональной устной традиции: предания и легенды об опальном Михаиле Романове зафиксированы в бывш. Чердынском уезде, о старце Далмате – в Шадринском уезде, там же складываются их локальные культы. В публикациях XIX в. удалось обнаружить реально-исторических персонажей, которые не известны как герои устных легенд и преданий (пыскорский архимандрит Пафнутий, путешественник Александр фон Гумбольдт), а также уникальные фольклорные мотивы (женитьба Ермака на дочери Строганова). Выявленная совокупность исторических персонажей и сюжетов дает представление о состоянии пермской устной традиции в XIX в., хотя, конечно, не в полной мере отражает его. На отбор сведений, попавших в губернские газеты, мог существенно влиять официальный статус этих изданий, а также интересы и вкусы читателей.

Примечания

¹ Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РФФИ, проект № 16-34-00007-ОГН («История Северного Прикамья в зеркале фольклора (на материале публикаций XIX–начала XX вв.)»).

² Работа с выпусками ПГВ и ПЕВ осуществлялась в фондах Пермского краеведческого музея. Ссылки на материалы источников даются в круглых скобках.

³ В одном тексте может быть представлено несколько таких важных компонентов: например, в предании о спасении города Кунгура от пугачевцев выделяется субъект (Пугачев и его войско), локус (место – Кунгур), объект (икона), чудо (обеспеченное иконой спасение горожан). Подобная формализация текстов является частью подготовительной работы для создания электронной базы данных и указателя сюжетов и мотивов к пополняемому корпусу пермской фольклорной легендарно-исторической прозы.

⁴ Истории о ее пребывании на Выг-озере стали частью фольклорной традиции, см.: [Криничная 1999: № 330–335].

⁵ Заметка перепечатана из «Исторического вестника» без указания автора, года и номера издания.

Список источников

Берх В. Н. Путешествия в города Чердынь и Соликамск для изыскания исторических древностей. СПб., 1821. 234 с.

Бувевский С. Материалы для статистики, собранные в 1854 году, о городе Кунгур // Пермские губернские ведомости. 1855. № 17.

З-н. Исторический очерк Верх-Исетского завода // Пермские губернские ведомости. 1866. № 28.

Зырянов А. Н. Заметки о пребывании в Зауралье Государя императора Александра Павловича в 1824 г. // Пермские губернские ведомости. 1866. № 12.

К истории Пермской губернии // Пермские губернские ведомости. 1870. № 40.

Луканин А. Город Соликамск в историческом и археологическом отношении // Пермские губернские ведомости. 1858. № 41.

Об истории Пыскорского монастыря // Пермские епархиальные ведомости. 1867. № 24.

Остроумов Г. 11-е число июля 1872 года в Кольцовском селе // Пермские епархиальные ведомости. 1872. № 30.

Пономарев П. П. Сказание о нападении на Кунгур и уезд злодейских Пугачевских шаек и об обороне кунгурских граждан. Кунгур, 1896. URL: <https://uraloved.ru/istoriya/pugachevskoe-vostanie-v-kungure> (дата обращения: 12.09.2018).

Попов Г. Боярин Михаил Никитич Романов в селе Ныробе, в заточении // Пермские епархиальные ведомости. 1873. № 10.

Попов Г. Освящение Верхотурского Свято-Троицкого собора // Пермские губернские ведомости. 1859. № 11.

Список литературы

Абашев В. В. Пермь как текст. Пермь в русской культуре и литературе XX века. Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 2000. 404 с.

Белдыцкий Н. П. Ныробский узник и древности села Ныроба, Чердынского уезда. Пермь: Электротип. Губ. Зем., 1912. 44 с.

Блажес В. В. Фольклор Урала: народная история о Ермаке. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2002. 186 с.

Гладышев В. Ф. Нас посетила святая. Неизвестные подробности приезда православной святой на Пермскую землю. URL: <http://www.ip-ro.ru/old/history/pred/ef/6/4/index.html> (дата обращения: 09.09.2018).

Зорина Л. И. Уральское общество любителей естествознания 1870–1929 гг. Екатеринбург: Банк Культурной Информации, 1996. 208 с.

Королёва С. Ю. Чудь с русскими именами: кого и как поминают на чудских могильниках? (материалы Верхнего Прикамья) // Социо- и психолингвистические исследования. 2014. № 2. С. 156–170.

Криничная Н. А. Предания Русского Севера. СПб.: Наука, 1991. URL: <https://www.booksite.ru/fulltext/pre/dan/ya/> (дата обращения: 01.10.2018).

Кругляшова В. П. По следам А. С. Пушкина // Фольклор Урала. Вып. 7: Бытование фольклора в современности. Свердловск, 1983. С. 52–59.

Кругляшова В. П. Предания и легенды Урала. Свердловск: Урал. кн. изд-во, 1991. 288 с.

Куприянов П. С. Ныробский узник: исторический персонаж как «гений места» // Фольклор

XXI века: Герои нашего времени. М., 2013. С. 39–54.

Куручкина М. В. Устные истории прикамских сел и деревень в системе локального и семейного фольклора (на материале современных записей) // Дергачевские чтения – 2011: Русская литература: национальное развитие и региональные особенности / сост. А. В. Подчинов. Екатеринбург, 2012. Т. 3. С. 111–120.

Кустов В. А. Фольклорно-этнографические материалы в газете «Пермские губернские ведомости» 1870-х гг. // Ученые записки Пермского государственного педагогического университета. Т. 90: Фольклор и литература Урала: материалы науч. конф. Пермь, 1971. С. 136–138.

Кустова Е. В. Верхъязвинская (Обвинская) Успенская пустынь: из истории основания и возрождения пермской обители // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики: в 2 ч. / под ред. А. И. Демченко. Тамбов: Грамота, 2014. № 11(49), Ч. II. С. 107–109.

Кустова Е. В. Строгановы и монастырское строительство в Приуралье в середине XVI–XVII вв. // Вестник Томского государственного университета. 2016. № 402. С. 71–78.

Лимеров П. Ф. Образ св. Стефана Пермского в письменной традиции и в фольклоре народа коми. М.: Наука, 2008. 256 с.

Макарий, архимандрит. Сказание о жизни и трудах святого Стефана, епископа Пермского. СПб.: тип. Эдуарда Веймара, 1856. 67 с.

Моряхина К. В. К вопросу о классификации легенд о Пермской чуди // Труды Камской археолого-этнографической экспедиции / под ред. А. М. Белавина. Пермь, 2014. № 9. С. 81–86.

Мороз А. Б., Петров Н. В. Между мифом и историей. М.: ФОРУМ: НЕОЛИТ, 2016. 496 с.

Неклюдов С. Ю. Фольклор: типологический и коммуникативный аспекты. URL: <http://www.ruthenia.ru/folklore/neckludov15.htm> (дата обращения: 09.09.2018).

Приказчикова Ю. В. Устная историческая проза Вятского края: Материалы и исследования. Ижевск: Удмуртский ин-т истории, яз. и лит. УрО РАН, 2009. 392 с.

Соколова В. К. Русские исторические предания. М.: Наука, 1970. 289 с.

Чагин Г. Н., Климов В. В., Ратегова А. П. Парма – земля чуди: правда и мифы. Кудымкар: Коми-Пермяцкое кн. изд-во, 2009. 144 с.

Чагин Г. Н. История в памяти русских крестьян Среднего Урала в середине XIX – начале XX века: учеб. пособие. Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 1999. 163 с.

Чагин Г. Н. Города Перми Великой Чердынь и Соликамск. Пермь: Кн. мир, 2004. 256 с.

Чагин Г. Н. Святые и древности Ныробской земли. Пермь: Пушкина, 2013. 173 с.

References

- Abashev V. V. *Perm' kak tekst. Perm' v russkoy kul'ture i literature 20 veka* [Perm as a text. Perm in the Russian culture and literature of the 20th century]. Perm, Perm State University Press, 2000. 404 p. (In Russ.).
- Beldytskiy N. P. *Nyrobkiy uznik i drevnosti sela Nyroba, Cherdynskogo uyezda* [The Nyrob prisoner and antiquities of the village Nyrob of the Cherdyn region]. Perm, Electronic Publishing House of the Governorate, 1912. 44 p. (In Russ.).
- Blazhes V. V. *Fol'klor Urala: narodnaya istoriya o Ermake* [Ural folklore: folk tale about Ermak]. Yekaterinburg, Ural Federal University Press, 2002. 186 p. (In Russ.).
- Gladyshev V. F. *Nas posetila svyataya. Neizvestnye podrobnosti priezda pravoslavnoy svyatoy na Permskuyu zemlyu* [The saint has visited us. Unknown details of the Orthodox Saint's visit to the Perm region]. Available at: <http://www.ippo.ru/old/history/pred/ef/6/4/index.html> (accessed 09.09.2018). (In Russ.).
- Zorina L. I. *Ural'skoe obshchestvo lyubiteley estestvoznaniya 1870–1929 gg.* [The Ural society of lovers of natural science 1870–1929]. Ekaterinburg, Bank Kul'turnoy Informatsii Publ., 1996. 208 p. (In Russ.).
- Koroleva S. Yu. *Chud' s russkimi imenami: kogo i kak pominayut na chudskikh mogil'nikakh? (materialy Verkhnego Prikam'ya)* [Chudes with Russian names: who and how are commemorated on Chude's burial grounds? (North Prikamye tradition)] *Sotsio- i psikholingvisticheskie issledovaniya* [Socio and Psycholinguistic Research], 2014, issue 2, pp. 156–170. (In Russ.).
- Krinichnaya N. A. *Predaniya Russkogo Severa* [Stories of the Russian North]. St. Petersburg, Nauka Publ., 1991. Available at: <https://www.booksite.ru/fulltext/pre/dan/iya/> (accessed 01.10.2018). (In Russ.).
- Kruglyashova V. P. *Po sledam A. S. Pushkina* [In the footsteps of A. S. Pushkin]. *Fol'klor Urala. Vyp. 7: Bytovanie fol'klora v sovremennosti* [Ural Folklore. Issue 7: Existence of folklore in modernity]. Sverdlovsk, 1983, pp. 52–59 (In Russ.).
- Kruglyashova V. P. *Predaniya i legendy Urala* [Tales and legends of the Ural]. Sverdlovsk, Ural'skoe knizhnoe izdatel'stvo Publ., 1991. 288 p. (In Russ.).
- Kupriyanov P. S. *Nyrobkiy uznik: istoricheskiy personazh kak 'geniy mesta'* [Nyrob Prisoner: historical character as 'genius of the place']. *Fol'klor 21 veka: Geroi nashego vremeni* [Folklore of the 21st century: heroes of our time]. Moscow, 2013, pp. 39–54. (In Russ.).
- Kurochkina M. V. *Ustnye istorii prikamskikh sel i dereven' v sisteme lokal'nogo i semeynogo fol'klora (na materiale sovremennykh zapisey)* [Oral stories of Prikamye's settlements and villages in the system of local family's folklore (based on modern records)]. *Dergachevskie chteniya – 2011: Russkaya literatura: natsional'noe razvitiye i regional'nye osobennosti* [Dergachev's Readings – 2011: national development and regional particularities]. Ed. by A. V. Podchinenov. Yekaterinburg, 2012, vol. 3, pp. 111–120. (In Russ.).
- Kustov V. A. *Fol'klorno-etnograficheskie materialy v gazete "Permskie gubernskie vedomosti" 1870-kh gg.* [Folk-ethnographic materials from the newspaper "Perm region gazette" of 1870]. *Uchen. zapiski Gos. ped. un-ta. Tom 90: Fol'klor i literatura Urala: mater. nauch. konf.* [Scientist's notes of State Pedagogical University. Vol. 90: Folklore and literature of the Ural: proceedings of scientific conference]. Perm, 1971, pp. 136–138. (In Russ.).
- Kustova E. V. *Verkh'yazvinskaya (Obvinskaya) Uspenskaya pustyn': iz istorii osnovaniya i vrozhdeniya permskoy obiteli* [Upper-Yazva (Obvinsk) Uspensky hermitage: from history of Perm cloister formation and revival]. *Istoricheskie, filosofskie, politicheskie i yuridicheskie nauki, kul'turologiya i iskusstvovedenie. Voprosy teorii i praktiki. V 2 ch.* [Historical, Philosophical, Political and Law Sciences, Culturology and Study of Art. Issues of Theory and Practice. In 2 pts]. Ed. by A. I. Demchenko. Tambov, Gramota Publ., 2014, issue 11(49), pt. 2, pp. 107–109. (In Russ.).
- Kustova E. V. *Stroganovy i monastyrskoe stroitel'stvo v Priural'e v seredine 16–17 vv.* [The Stroganovs and monastery construction in the Urals in the mid-16th and 17th centuries] *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta* [Tomsk State University Journal], 2016, issue 402, pp. 71–78. (In Russ.).
- Limerov P. F. *Obraz sv. Stefana Permskogo v pis'mennoy traditsii i v fol'klоре naroda komi* [Image of the Saint Stefan of Perm in the writing tradition and folklore of the Komi people]. Moscow, Nauka Publ., 2008. 256 p. (In Russ.).
- Makariy, arhimandrite. *Skazanie o zhizni i trudakh svyatogo Stefana, episkopa Permskogo* [Legend about life and works of Saint Stefan of Perm]. St. Petersburg, Publishing House of Eduard Veymar, 1856. 67 p. (In Russ.).
- Moryakhina K. V. *K voprosu o klassifikatsii legend o Permskoy chudi* [To the issue of classification of legends about the Perm Chud]. *Trudy Kamskoy arkheologo-etnograficheskoy ekspeditsii* [Works of the Kama archaeological and ethnographic expedition]. Ed. by A. M. Belavin. Perm, 2014, issue 9, pp. 81–86. (In Russ.).
- Moroz A. B., Petrov N. V. *Mezhdumifom i istoriei* [Between the myth and history]. Moscow, FORUM: NEOLIT Publ., 2016. 496 p. (In Russ.).
- Neklyudov S. Yu. *Fol'klor: tipologicheskiy i kommunikativnyy aspekty* [Folklore: typological

and communicative aspects]. Available at: <http://www.ruthenia.ru/folklore/neckludov15.htm> (accessed 09.09.2018). (In Russ.).

Prikazchikova Yu. V. *Ustnaya istoricheskaya proza Vyatskogo kraja: Materialy i issledovaniya* [Oral historical prose of the Vyatka region: materials and studies]. Izhevsk, Udmurt Institute of History, Language and Literature, UB RAS Press, 2009. 392 p. (In Russ.).

Sokolova V. K. *Russkie istoricheskie predaniya* [Russian historical tales]. Moscow, Nauka Publ., 1970. 289 p. (In Russ.).

Chagin G. N., Klimov V. V., Rategova A. P. *Parma – zemlya chudi: pravda i mify* [Parma – territory of the Chud: truth and myths]. Kudymkar, Ko-

mi-Permyatskoe knizhnoe izdatel'stvo Publ., 2009. 144 p. (In Russ.).

Chagin G. N. *Istoriya v pamyati russkikh krest'yan Srednego Urala v seredine 19 – nachale 20 veka* [History in memory of Russian peasants of the Middle Urals in the middle of the 19th – early 20th centuries]. Perm, Perm State University Press, 1999. 163 p. (In Russ.).

Chagin G. N. *Goroda Per'mi Velikoy: Cherdyn' i Solikamsk* [Towns of Great Perm: Cherdyn' and Solikamsk]. Perm, Knizhnyy mir Publ., 2004. 256 p. (In Russ.).

Chagin G. N. *Svyatyni i drevnosti Nyrobskoy zemli* [Shrines and antiquities of the Nyrob land]. Perm, Pushka Publ., 2013. 173 p. (In Russ.).

HISTORICAL CHARACTERS IN FOLK LEGENDS OF THE PERM REGION (Based on Publications of the 19th Century)

Oksana A. Kolegova

Teacher of Russian as a Foreign Language

Saint-Petersburg State Institute of Technology

26, Moskovskiy prospekt, St. Petersburg, 190013, Russian Federation. okko.21@yandex.ru

SPIN-code: 7596-9696

ORCID: <http://orcid.org/0000-0001-6908-0940>

ResearcherID: S-4036-2018

Submitted 16.10.2018

The study of legendary and historical folklore makes us acquainted with the verbal version of history which has developed in a particular territory and which is to a great extent different from the official history. The article considers stories and legends concerning the Perm region, found in publications of the 19th century and centering around real historical persons, being the main characters of these stories. Analysis of their plots shows many aspects: how the local people comprehended their contacts with representatives of other ethnic groups; what information concerning the foundation of towns, villages and erection of churches became a part of the local tradition; how the figures of rulers, religious figures, rioters and etc. were presented in the people's consciousness. The folk tradition of the Perm region includes the names of historical characters who had a major impact on the national and local history (Ivan IV, Peter I), or visited this territory (Alexander I). Among the historical characters being popular in Perm historical folklore are Stefan Permsky, Cossack chieftain Ermak, rioter Pugachev. These persons visited the Perm region and had a particular effect on the local life (for example, Stefan Permsky preached orthodoxy and created the first alphabet for the Komi). Some of the characters and plots are common with other regional traditions. However, there are also found local characters peculiar to the region ('Nyrob's prisoner' Mikhail Romanov, abbots Dalmat and Pafnutiy) and rare motifs (Ermak's marriage to a Stroganov's daughter). Mikhail Romanov is still remembered and honored by the local people; folklore consciousness discovered some features of a saint and a hero in his personality. The identified historical characters and plots allow us to get acquainted with the Perm verbal tradition of the 19th century, though not to the full extent. It is noteworthy that due to the censorship rules many texts were not published in Perm periodicals.

Key words: historical folklore; 19th-century periodicals; story; legend; historical character; Ivan IV; Peter I; Stefan Permsky; Dalmat Isetsky; Ermak; Pugachev.

УДК 81'27
doi 10.17072/2037-6681-2019-1-37-47

РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ КАК СРЕДСТВО ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ И ПСИХИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ИНДИВИДА (на материале фронтовых писем Т. В. Антипина)¹

Наталья Васильевна Логунова

к. филол. н., доцент кафедры социальных и гуманитарных дисциплин

Соликамский государственный педагогический институт (филиал)

Пермского государственного национального исследовательского университета

618547, Россия, г. Соликамск, ул. Северная, 44. logunovaN@yandex.ru

SPIN-код: 9340-4540

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-5772-6385>

ResearcherID: C-3711-2016

Лариса Львовна Мазитова

к. филол. н., доцент кафедры социальных и гуманитарных дисциплин

Соликамский государственный педагогический институт (филиал)

Пермского государственного национального исследовательского университета

618547, Россия, г. Соликамск, ул. Северная, 44. mazitova-larisa@rambler.ru

SPIN-код: 2119-2981

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-6775-8233>

ResearcherID: C-3710-2016

Статья поступила в редакцию 09.11.2018

Просьба ссылаться на эту статью в русскоязычных источниках следующим образом:

Логунова Н. В., Мазитова Л. Л. Речевые жанры как средство характеристики языковой личности и психического состояния индивида (на материале фронтовых писем Т. В. Антипина) // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2019. Т. 11, вып. 1. С. 37–47. doi 10.17072/2037-6681-2019-1-37-47

Please cite this article in English as:

Logunova N. V., Mazitova L. L. Rechevye zhanry kak sredstvo kharakteristiki yazykovoy lichnosti i psikhicheskogo sostoyaniya individa (na materiale frontovykh pisem T. V. Antipina) [Speech Genres as a Means of Characterizing the Linguistic Personality and Mental State of a Person (Based on the Material of Frontline Letters of T. V. Antipin)]. *Vestnik Permskogo universiteta. Rossiyskaya i zarubezhnaya filologiya* [Perm University Herald. Russian and Foreign Philology], 2019, vol. 11, issue 1, pp. 37–47. doi 10.17072/2037-6681-2019-1-37-47 (In Russ.)

На основе анализа 154 эпистолярных текстов участника Великой Отечественной войны Тимофея Васильевича Антипина представлено описание элементарных речевых жанров для реконструкции портрета исторической языковой личности, а также для выявления ее эмоционально-психологического состояния в момент порождения текста. Для реализации данного замысла используются методы лингвистической персонологии с целью применения полученных результатов в исследованиях по военно-исторической антропологии. В основе классификации речевых жанров лежит типология И. Н. Борисовой. Установлено, что в письмах Т. В. Антипина представлен весь спектр элементарных речевых жанров, притом что их частотность не одинакова. Среди них есть речевые жанры, которые можно отнести к числу облигаторных – репрезентативы (не являются предметом рассмотрения данной статьи), директивы и социально-этикетные экспрессивы. Остальные жанровые разновидности вариативны. Наиболее информативными как для изучения черт личности, так и для установления ее эмоционально-психологического состояния являются валюативы и эмоционально-личностные экспрессивы – эмотивы. Наряду с этим существенную информацию для реконструкции

портрета личности адресанта дают также директивы и такая разновидность комиссивного жанра, как обязательство. Об эмоционально-психическом состоянии адресанта позволяет судить один из социально-этикетных экспрессивов – приветствие. Длительность переписки (1941–1945) дает достаточный материал для выявления динамических процессов в психофизиологическом состоянии комбатанта.

Ключевые слова: лингвистическая персонология; военно-историческая антропология; историческая языковая личность; эпистолярный текст; речевой жанр.

В статье реализуется лингвоперсонологический подход к описанию речевого поведения исторической языковой личности участника Великой Отечественной войны Тимофея Васильевича Антипина. Это предполагает комплексное исследование речевой продукции индивида с использованием методов, разработанных в последние десятилетия рядом лингвистов, изучающих язык в коммуникативно-прагматическом аспекте [Мельник]; [Нерознак 1996: 112–116; Плесовских 2014: 173–179]. Лингвоперсонологическое описание эпистолярия фронтовика предпринимается для решения задач, поставленных военно-исторической антропологией [Сенявская 1997, 2002]. Один из перспективных способов воссоздания портрета исторической языковой личности – анализ ее речевой продукции с точки зрения отражения речевых компетенций (что было предпринято ранее в ряде статей [Логунова, Мазитова 2017, 2018]), а также с точки зрения реализации в текстах речевых жанров, что является предметом рассмотрения в данной статье.

Вслед за В. А. Салимовским, под речевым жанром будем понимать «относительно устойчивый тематический, композиционный и стилистический тип высказываний (текстов)» [Салимовский 2003: 352]. Очевидно, что речевой жанр связан со стереотипизацией определенных коммуникативных ситуаций в самых разных сферах коммуникативной и практической деятельности человека и с иллокуцией – типовой целью речевого акта. М. М. Бахтин [Бахтин 1979] в своих исследованиях предложил использовать такие понятия, как *первичный*, *комплексный* и *элементарный* речевой жанр. Под *первичными* понимаются жанры, которые образовались в условиях непосредственного речевого общения. *Элементарными* речевыми жанрами считаются тематические, композиционные и стилистические типы текстов, отличающиеся однородностью интенции. *Комплексные* речевые жанры образуются в результате соединения нескольких элементарных.

Следует отметить, что в современной лингвопрагматике, наряду с теорией речевых жанров [Арутюнова 1992: 52–56; Бахтин 1979; Вежицка 1997: 99–111; Дементьев 1997: 109–121; Федосюк 1997: 102–120; Шмелева 1997: 88–98 и др.], по мнению И.Н. Борисовой, существуют и другие научные парадигмы, исследующие элементарные речевые действия: теория речевых актов

(Дж. Р. Серль, Дж. Остин и др.), теория коммуникативных стратегий и тактик (О. С. Иссерс, Е. М. Верещагин, М. В. Китайгородская, Н. Н. Розанова, И.П. Сусов и др.) [Борисова 2014: 88–97]. И.Н. Борисова отмечает, что «общим для всех этих теорий является функционально-прагматический подход к описанию речевых действий. Основой выделения элементарного речевого действия является категория интенции (коммуникативного намерения)» [там же: 89]. Для учета «прагматических оснований коммуникативной компетентности (реальных ориентиров, которыми руководствуется говорящий при речепроизводстве)» исследователь вводит понятие «речевой поступок», предлагает и обосновывает оригинальную формулу его динамической структуры [там же: 89–91].

Поскольку, по ее мнению, речевой жанр является одним из структурных компонентов речевого поступка [там же: 91], постольку типологию речевых жанров, по-видимому, можно строить на основе предложенной И.Н. Борисовой типологии речевых поступков. В соответствии с этим целесообразно рассматривать следующие речевые жанры:

1. **Директивные**, которые выражают попытку адресанта побудить адресата к действию или бездействию, повлиять на мировоззрение, установки, эмоции, например: *команда, запрет, поручение, призыв, приказ, просьба* различной степени интенсивности, *совет, убеждение, увещевание, утешение* и под.
2. **Комиссивные**, связанные с принятием на себя обязательств. К ним можно отнести *обещание, обязательство, согласие* или *отказ выполнить просьбу* и под.
3. **Экспрессивные**, которые ориентированы на самовыражение адресанта и делятся на два подкласса в зависимости от степени социально-этикетной обусловленности экспрессивного проявления, а именно:
 - А) *эмоционально-личностные экспрессивы* (выражают чувства, эмоциональные оценки и эмоционально окрашенные отношения): *радость, печаль, гнев, удовольствие, недовольство, досада, заинтересованность, симпатии, антипатии* и др.;
 - Б) *социально-этикетные экспрессивы* (регулируют эмоциональные проявления в социально регламентированных этикетных и

ритуализованных ситуациях): *благодарность, приветствие, прощание, прощение, поздравление, пожелание, сочувствие* и др.

4. **Вердиктивные** (оценочные), подразделяющиеся:

А) на *валюативы* (выражают оценочное мнение и мнение-суждение): *возражение, сомнение, сетование, инвективы* различной степени интенсивности, *комплимент, обвинение, похвала, одобрение, сожаление, упрек, оценочная интерпретация* и др.;

Б) *суппозитивы* (выражают мнение-предположение): *допущение, опасение, предостережение, предсказание* и др.

5. **Репрезентативные**, которые связаны с оперированием информацией и весьма разнообразны: *выяснение, описание, констатация существования факта, намек, напоминание, повествование, ответ на вопрос, запрос информации, сообщение, рассуждение, объяснение* и под.

6. **Коммуникативные регулятивы**, обусловленные «организационными» аспектами взаимодействия: *тематическая инициатива, отказ от темы, мена темы, заполнители пауз* и под. [Борисова 2007: 158].

Отметим, что квалификация отдельных жанров у разных исследователей не совпадает. В представленной типологии *вопрос* отнесен к группе репрезентативов на основе того, что связан с оперированием информацией (а именно с запросом на нее). Однако интенция адресанта заключается в том, чтобы побудить адресата соответствующую информацию представить, что позволяет квалифицировать вопрос как разновидность директивных жанров. На наш взгляд, в ситуации с вопросом иллюкутивной целью в большей степени является побуждение, а не оперирование информацией, поэтому мы будем включать вопрос в группу директивных жанров.

Наряду с этим следует учитывать, что отнесенность того или иного высказывания к определенному элементарному жанру нередко обусловлена контекстом. Так, например, вопрос может быть включен в директивные жанры (если он содержит запрос информации) или в экспрессивные (если носит риторический характер).

Рассматривая набор, соотношение и способы языкового воплощения элементарных речевых жанров, встречающихся в эпистолярных текстах языковой личности, можно выявить ее характерные черты и особенности психического состояния и поведения в той или иной ситуации.

Можно предположить, что набор речевых жанров и их разновидностей, представленных в эпистолярной, обусловлен различными факторами (межличностными отношениями, событиями

прошлого и настоящего), формирующими интенции языковой личности. Ряд жанров ориентирован на текущие события на фронте и в тылу, а также на состояния адресанта. К ним относятся, например, *репрезентативы* (как информативно-центричный жанр) и *валюативы* (ориентированные на оценку ситуации и состояния). Другие, в частности, *директивы* и *экспрессивы* (прежде всего социально-этикетные), обусловлены в значительной степени межличностными отношениями коммуникантов и лишь отчасти событиями, происходящими в тылу (и в особенности в семье). Наиболее разнообразны мотивы, порождающие эмоционально-личностные экспрессивы.

Письмо как первичный комплексный речевой жанр реализует различные комбинации перечисленных выше элементарных речевых жанров в зависимости от совокупности факторов, которые влияют на адресанта в момент создания текста.

Материалом исследования стали письма жителя Соликамска участника Великой Отечественной войны Тимофея Васильевича Антипина, уроженца Красновишерского района, сотрудника электролаборатории Соликамского калийного комбината [Архив]. Он был призван в действующую армию в начале ноября 1941 г. Из эпистолярного архива (переписки Т. В. Антипина с женой Марией) рассматриваются в заявленном аспекте 154 текста, относящиеся к периоду с ноября 1941 по август 1945 г².

Набор элементарных жанров в изучаемых текстах неодинаков и колеблется от *трех* (это всегда *экспрессив, репрезентатив* и *директив*) до *шести*, представленных всем потенциальным спектром элементарных речевых жанров. Таким образом, обязательными для любого письма Т. В. Антипина жанрами являются *экспрессив, репрезентатив* и *директив*.

Наличие *репрезентатива* обусловлено тем, что письмо непременно связано с оперированием той или иной информацией, что реализует конституирующую интенцию эпистолярного жанра. Репрезентативы представлены в каждом письме обширными контекстами, очень разнообразны и разноплановы – тематически и с точки зрения обуславливающих их факторов, поэтому их описанию целесообразно посвятить отдельную статью. В данном исследовании из трех обязательных речевых жанров будут рассмотрены только экспрессивы и директивы.

Из двух разновидностей *экспрессивного жанра* – *эмоционально-личностной* и *социально-этикетной* – вторая является постоянным компонентом любого письма, что связано с необходимостью вербального воплощения таких облигаторных элементов эпистолярного формуляра, как приветствие и прощание.

При анализе форм приветствия в письмах Т. В. Антипина выявлены наиболее типичные и частотные для него формулы: *Здравствуй, Маруся. Привет и наилучшие пожелания* (в письмах от 12.10.43, 20.12.43, 5.1.44, 9.1.44 и в др.); *Здравствуй, Манечка! Привет и наилучшие пожелания* (20.7.43, 30.10.43).

Регулярный повтор в письмах разных лет подобных стереотипных формул, возможно, свидетельствует об отсутствии каких-либо видимых сдвигов в эмоциональном состоянии Т. В. Антипина.

Другие формулы приветствия, которые он использует, выражают ту или иную эмоцию и обнаруживают смену эмоционального состояния адресанта в момент порождения текста. Даже сами формулы обращения к адресату в отрыве от содержания писем свидетельствуют о том, что в одних случаях он испытывает яркие положительные эмоции: *Здравствуй, Марусенька! Привет тебе, моя голубка, пожелания здоровья и всевозможных успехов в делах твоих* (20.4.45); *Привет тебе, моя радость! Привет и пожелания доброго здоровья и успехов* (16.8.44); *Добрый вечер, ночь или утро, моя крошка! Привет тебе и пожелания успехов, радостей и доброго здоровья на многие годы!* (5.7.44); *Здравствуй милая Манечка. Шлю я тебе свой любящий привет и желаю всего наилучшего* (15.10.42), а в других – эмоционально-психическое напряжение: *Здравствуй, Мария! Привет тебе и пожелания успехов и здоровья* (10.7.44, 24.7.44, 3.8.44); *Здравствуй, Мария Якимовна! Привет и наилучшие пожелания!* (31.12.43).

Что касается формул прощания, то только в одном письме (18.4.43) использована форма *Пока досвидания*, тогда как большинство текстов вообще не имеют прощальной формулы. После рождения у Антипиных сына формулу прощания замещает фраза типа *Целую тебя и сына* (10.5.42), а с 1943 г. появляются варианты *Целую* (17.2.43, 27.2.43, 14.3.43, 18.4.43), *Крепко целую* (30.12.42, 28.1.43 и др.). В единичных случаях присутствуют прощальные пожелания: *Желаю вам всем всего наилучшего* (18.4.43). Зато практически в каждом письме сигналом окончания коммуникации являются коммуникативные регулятивы *Пока все* (в подавляющем большинстве посланий) и как варианты *У меня пока все* (4.6.42); *Ну Маня у меня пока все* (27.5.42), <...> *на этом заканчиваю* (15.6.42).

Среди директивных жанров в письмах Т. В. Антипина самым распространенным можно считать *просьбы*, среди которых много стереотипных повторяющихся типа *Пиши. Пиши чаще*, но встречаются и другие просьбы, разной силы интенсивности, например: ... *я прошу тебя:*

сфотографируйся во весь рост в настоящее время <...> И пожалуйста сфотографируй ребенка (26.2.42); *Прошу тебя, пиши обо всем и дай ответ на те старые письма и вообще опиши последовательно свою жизнь, работу, здоровье, взаимоотношения с родными, условия в Соликамске и т. д.* (3.2.42); *Маруся, убедительно прошу тебя – всеми силами сохраняй свое здоровье и будущего ребенка, ничего не жалея* (14.1.42); ... *я настаиваю на том, чтобы ты не теряла с ними письменной связи и наталкивала бы их, а особенно папашу на то чтобы он писал мне почаще* (10.6.42).

Анализ представленных контекстов позволяет считать доминирующими интенциями адресанта сохранение и укрепление семейных отношений и заботу о здоровье жены и будущего, а затем родившегося ребенка.

Довольно распространенными в письмах Т. В. Антипина являются жанры *призыва* и *увещевания*, порой очень близкие своей содержательной стороной, – чаще всего это стремление повлиять на настроение и эмоционально-психическое состояние жены. Дифференцировать эти два жанра можно лишь по формальному основанию – наличию форм повелительного наклонения в призывах и их отсутствию в увещеваниях, например: *Давай, Маня, расти сына здорового, сильного, умного, да выздоравливай сама скорей* (10.5.42); *Главное не падай духом, не унывай* (23.5.42); *Не скучай, подбодрись* (6.11.41); *Пожалуйста поспокойней держи себя, не волнуйся, не горячись, крепись, чтобы не влияли все эти тяготы на Геню* (7.8.42); *Зачем это нужно. Ты портишь здоровье себе и будущему ребенку и только. Слезами не поможешь. Если трудно, то и всем Маруся трудно, надо терпеть, пережить* (30.1.42); *Досуг же твой при желании можно использовать не менее полезно. В твоём распоряжении достаточно литературы по специальности и пособий по другим предметам. Трудность самостоятельных занятий вполне окупится – тем, что раз добившись самостоятельного разбора или решения того или иного вопроса будешь помнить долгое время. <...> Чтение книг с легкой художественной литературой без какой либо системы – бесполезно. Нужно чередовать художественную с научной, прежде составив для этого определенный план. Это было бы очень полезно. Продуманный отдых облегчает труд* (24.1.44).

Последний отрывок демонстрирует намерение Тимофея сформировать у Марии установку на целенаправленное систематическое саморазвитие и самообразование.

В ряде контекстов наблюдается совмещение жанров – в увещевания вpletаются призывы,

например: ... *особенно расстраиваться тебе, Маня, не следует, возьми себя в руки* (8.9.42); *Старайся и добивайся ибо под лежащий камень и вода не течет* (10.6.42).

В письмах Т. В. Антипина довольно много *вопросов*, требующих ответа, – запросов информации (причисляемые нами к директивным жанрам). Интересы адресанта касаются того, в каких условиях живет его семья и как в целом протекает тыловая жизнь: ... *чем ты питаешься как из-за продуктов у вас Помогают нет мои родители и что ты думаешь делать как будет ребенок* (30.1.42); *Как ты думаешь с работой быть после родов и вообще какие условия сейчас для матерей с грудным ребенком на производстве, сколько часов нужно работать и разрешаются ли ночные смены. Как насчет молока, можно или нет будет покупать и сколько оно стоит* (17.2.42).

Текстов, реализующих жанр *совета*, в письмах Т. В. Антипина немного, и они, в основном, касаются бытовой тематики: *Сади хотя и то что есть. Желательно бы, конечно, картошку. Проси отпуск и весну используй так, чтобы осень была для тебя и семейства не голодной* (23.5.42); *Насчет обуви Маруся обратись к моему папаше или к сестре Нюре, может у них чтонибудь найдется на первый раз* (16.10.43); *Обратись за пособием в соответствующие организации, может скольконибудь ссудят* (23.5.42).

Жанр *утешения* представлен единичным контекстом и вызван желанием адресанта успокоить жену после смерти сына: *Раз случилось уже такое несчастье то ничего не попишешь, ничем не поможешь, а поэтому особенно расстраиваться тебе, Маня, не следует <...> Трудностей впереди еще много будет, а поэтому тебе надо уметь держать себя покрепче* (8.9.42).

Таким образом, на основе анализа обязательных жанров (исключая репрезентатив) можно выявить доминирующую во фронтовых письмах Тимофея Антипина интенцию – тревога и забота о близких. Вербальное воплощение социально-этикетных экспрессивов и выбор разновидностей директивных жанров позволяют составить представление о личностных особенностях адресанта: сдержанность в проявлении интимных чувств, стремление сохранять позитивный настрой в экстремальных условиях. Реализация Тимофеем Антипиным директивных жанров указывает на его доминирующую роль в отношениях с женой: в письмах он пытается руководить ею в различных бытовых ситуациях и передать ей свою установку на преодоление трудностей.

Среди жанров, которые не являются обязательными, Антипин чаще всего использует *вердиктивы* (особенно *валюативы*) и *экспрессивы*

(включая эмоционально-личностные), а комиссивы и коммуникативные регулятивы в его письмах относительно редки.

Вердиктивы, ориентированные на оценку, представлены в письмах и валюативами (наиболее частотными), и суппозитивами. *Валюативы* зачастую выражают мнения-суждения различного характера:

- об окружающей обстановке и жизни солдата в условиях войны: ... *где бы ты и кем бы ты ни был, везде одинаково – одни и те же условия – условия войны, трудностей очень много, а радостей почти совсем нет* (1942); *Только что пришел с бани, помылся замечательно, как только можно в фронтовых условиях* (13.1.44); *Скучные лица дневальных стоящих у дверей комнат, бестолковая проповедь какогонибудь сержантика из недоучек – все это казались бесцельным и надоевшим до боли в печенках* (20.8.45);
- о своем состоянии и настроении в различных обстоятельствах: *За один день я ничему не научился, а наоборот нуще отупел <...> да в голове такой хаос, что мысли прыгают как у зайца и не могу себя заставить последовательности* (8.11.41); *Легко-ли переломать себя, когда весь организм, все мысли упрямо, настойчиво преследуют демобилизационные цели. <...> Нервы ослабли значительно по сравнению с тем временем, когда я не знал что такое война* (29.8.45);
- о ситуации в зоне боевых действий и в тылу: *Тяжела война там в тылу, но что видели и вытерпели эти мученики по сравнению с тем что приходится на долю глубокого тыла, никак не сравнить* (23.5.42);
- об особенностях западной бытовой культуры и ментальности: *Здесь нет уголка, где бы человек не приложил рук, все приспособлено для интересов хозяйства, все ограничено в рамки экономики и вместе с тем какой-то солидной прочности на большое время. Невольно ощущаешь себя замурованным при виде множества кирпича, камня и железа* (15.8.45); *Меня особенно удивляет то, что рельсы железных дорог на всем протяжении через определенные промежутки подорваны. Чорт их знает, как хватает на это терпения. Даже в своих варварских поступках они точны, как немцы. Вероятно также аккуратно и хладнокровно они насилуют девушек, вырезают им груди убивают стариков и детей* (30.1.44);
- о людях (выражающие как симпатии, так и антипатии): *Какие славные ребята!* (о сослуживцах – 22.11.43); *Она хорошая женщина, но несчастна внешностью* (16.2.44); *Эх, Георгий, Георгий! Я так считаю, что, если бы ему*

пришлось хоть один день хлебнуть фронтовой жизни, то он бы не рыпался там... Кто бы уж про фронт не поминал, только не Георгий. Знаю, какой он вояка, около Пани – пьяный (12.8.42); в окопах сидят существа, проклятые стариками, детьми, девушками, называющие себя арийцами – людьми высшей расы, освободителями (кого и от чего?) (30.7.43);

- о большой и малой Родине: Как велика наша Родина и как много в ней хорошего, чудесного, что постичь одним человеческим веком невозможно (30.1.44); Соликамск, Соликамск! ведь и место то неказистое песок, да ветры, грязь и вонь рудничная и заводская, а вьелся он мне в сердце как образ любимой и кажется нет милее и желаннее этого городишка нигде (21.7.42); Пейзаж природы даже нашей суровой уральской – красивей чем любой, искусственно созданный (15.8.45).

В письмах Т. В. Антипина неоднократно встречается такая разновидность валкуатива, как оценочный метавывод. Он следует за контекстами репрезентативного характера или вердиктивными суждениями и представляет собой некое итоговое заключение типа: *Все это чепуха* (30.11.41); *Это сейчас самое важное, главное* (17.2.42); *Ну Маня все это пустое* (27.5.42); *Такие вечера у нас, конечно, бывают редко, а поэтому они особенно приятны* (9.2.43).

Так же не редки в письмах Т. В. Антипина обращения к жанру сетования: *Первые 2 года с половиною пролетели быстро, а последние полтора тянутся невероятно долго* (16.4.43); *<...> трудно было заставить себя снова подчинить раз установленному и требующему беспрекословного и добросовестного выполнения распорядку военного лагеря* (20.8.45).

Реже встречаются такие разновидности оценочных мнений, как:

- сожаление: *Как жаль, что мы с тобой не вместе и не можем отметить эту дату, даже не можем знать друг о друге – чем заняты в этот день* (7.3.42); *<...> жалко расставаться с товарищами, с которыми я уже свыкся за 8 месяцев* (25.11.42);
- упрек: *Почему мне ни они ни Никандр не пишут – 3.6.42; Ругаю тебя за то, что не пишешь* (19.5.42);
- жалоба: *... мне было не легко тогда, как не легко и сейчас, даже думаю, что тяжелее чем тебе. <...> В последнее время особенно нетерпима погода, просто доводит до точки кипения. Уже с 10 июня как полили дожди и сырые холодные ветры, до сих пор не кончаются, а в каких условиях это просто мучка. Ведь я тебе уже писал, что мы не в дворцах, а в обыкновенном лесу или поле и занимаемся*

и работаем и едим и спим. Удовольствие ни же гораздо среднего, когда ты мокрый как щенок (26.6.42);

- оправдание: *В оправдание своего резкого предыдущего письма хочу объяснить в этом. Вина всему состояние моего здоровья. Каждая маленькая неприятность сильно раздражает меня. Поверь, что я просто достоин сожаления в настоящий период* (27.8.45);
- похвала (*Одним словом молодец ты у меня* (26.6.42)).

Анализ содержательной стороны валкуативных жанров позволяет наблюдать смену психического настроения адресанта на протяжении 1941–1945 гг. Заметно преобладание суждений с отрицательной оценкой – контексты с положительной оценкой единичны – в письмах конца 1941 и первой половины 1942 г. (что связано с болезненной адаптацией Тимофея к непривычным для него экстремальным условиям) и в письмах второй половины 1945 г. (когда не состоялась ожидаемая адресантом быстрая демобилизация). В интервале между этими временными точками положительные оценки в письмах Антипина регулярно чередуются с отрицательными. На основании этого можно составить представление о динамике психического состояния комбатанта: от неуверенности и растерянности первых месяцев пребывания в действующей армии – к обретению внутренней психической устойчивости в период 1943–1944 гг. – до состояния непроходящей раздражительности и тоскливого ожидания после завершения боевых действий.

Вторая разновидность вердиктивов – *суппозитивы*, носящие характер мнений-предположений, представлена несколькими разновидностями:

- предсказание-прогноз: *... разговоры наши будут вестись когда-нибудь еще не на бумаге* (30.11.41); *... впереди еще очень много испытаний* (14.1.42); *Разобьем немца – будем снова жить по настоящему* (30.1.42);
- предположение: *<...> но вероятно не далек тот день, когда придется сражаться* (14.1.42); *Я полагаю, что все же как никак, а в деревне хоть картошки да капуста в досталь* (23.5.42);
- допущение: *<...> может быть меня твое письмо еще и достанет, хотя не уверен в этом* (8.11.41); *<...> мне кажется, если придется побывать на передовых позициях, а побывать придется, то я буду не хуже всех* (17.11.41);
- опасение – порой скрытое: *... можно было найти няньку вроде твоей сестренки, но чем ее кормить? дадут ли для нее паек?* (30.1.42); *Не знаю как буду привыкать к службе* (8.11.41).

В некоторых случаях перечисленные жанры контаминируются.

Таким образом, суппозитивные жанры – это всегда апелляция к предполагаемому будущему, касающаяся либо каких-то обстоятельств жизни семьи, от которой Антипин оторван войной, либо его собственных перспектив – ближайших или отдаленных.

К вариативной части *экспрессивных жанров* относятся некоторые из социально-этикетных экспрессивов (благодарность, извинение, поздравление, сочувствие и др.) и все эмоционально-личностные.

Среди *социально-этикетных экспрессивов* в письмах Тимофея наиболее частотными и вместе с тем нередко стереотипными являются жанры благодарности и извинения. *Благодарность* чаще всего выражается по поводу полученной от жены корреспонденции:

А тебя я благодарю за частую информацию меня (10.7.42); *Большое спасибо тебе за эти письма* (17.2.43).

Наиболее эмоциональны слова благодарности жене за ее преданность и верность: *... я не знаю как благодарить тебя. Спасибо, тебе моя дорогая подруга, спасибо за твою преданность, за твою верность, спасибо за посылку <...> нет слов выразить благодарность тебе, Манечка, моя дорогая подруга!* (6.1.43). Благодарности по разным поводам порой могут быть обращены не только к жене, но и к другим людям: *Спасибо за привет теще* (28.1.43); *Пусть примет от меня за хорошую помощь благодарность* (6.6.42); *Очень благодарен за ту помощь продуктами, которую они тебе оказали зимою* (23.5.42).

Большинство контекстов с извинениями касаются оформления, а иногда содержания собственных писем: *Извини что на лоскутках писал* (30.12.42); *Извиняюсь, что вышло грязно!* (9.2.43); *Извиняюсь, Маруся, пишу ерунду всякую* (30.11.41); *... ты написала мне, что мое письмо послужило источником нервной болезни. Очень сожалею что так получилось* (25.11.42); *Еще раз прошу извинения за резкости, которые были результатом раздражения в период плохого состояния здоровья моего и душевного неравновесия* (29.8.45).

Поздравления с сопровождающими их иногда пожеланиями связаны с календарными праздниками или семейными событиями: *Поздравляю, с праздником 1-е МАЯ! Желаю тебе в этот день всевозможных радостей весело и интересно провести время!* (18.4.43); *Поздравляю, Маруся, с благополучным разрешением, с сыном* (10.5.42).

Анализируя эмоциональную составляющую в таких социально-этикетных экспрессивах, как благодарность, извинение и поздравление, отме-

тим, что она не одинакова: одни жанровые реализации, являясь формально-этикетными, практически лишены эмоций, другие, окрашенные личностными переживаниями, имеют отчетливую эмоциональную коннотацию. При этом их объединяет общее назначение – соблюдение речевого этикета и норм межличностного общения.

В отличие от этих трех жанров, *сочувствие* всегда является попыткой адресанта поддерживать эмоциональную связь с родными, от которых он оторван войной: *Я вполне сочувствую и понимаю все что ты пишешь* (14.1.42); *Весьма сочувствую твоим хозяйственным заботам, но помочь не могу* (24.5.43); *... бедному старика, очень тяжело достается. Я вполне ему сочувствую* (8.9.42) и др.

Набор *эмоционально-личностных экспрессивов (эмотивов)* довольно разнообразен, а некоторые из жанровых разновидностей отличаются высокой частотностью. К тому же именно эмотивы отражают реальное психическое состояние адресанта в тот или иной период и под влиянием тех или иных факторов.

Регулярный в письмах Т. В. Антипина жанр *выражения желания* выявляет доминирующее стремление адресанта быть в курсе семейной жизни и как можно скорее вернуться домой, на родину: *Хочу знать о тебе и о родных и, вообще, о вашей жизни* (30.11.41); *Очень хочу знать как живут мои родители* (23.5.42); *... ужасно сильно хочу видеть каков сын* (4.7.42); *... хочется на завод, одеть промасленную спецовку, взять в руки отвертку, плоскогубцы и быть снова рабочим, снова ломать голову над каким нибудь прибором и т. д.* (17.2.42); *Я не дожидусь кажется минуты, когда б можно было стрелой помчаться туда, на свой родной Урал, побродить по дебрям северных лесов, по речушке Язве, забраться где нибудь в малинник или за грибами* (15.8.45).

Жанр «выражение желания» с содержательной стороны отчетливо коррелирует с другим эмотивным жанром – *беспокойство*: *Теперь же ты одна, да при том не обеспечена полностью необходимым и это сильно беспокоит меня* (22.11.41); *... я не найду ни минуты душевного спокойствия, ... ведь уже около 3 х месяцев я не получал от тебя ни строчки* (3.4.42) и др.

Невозможность достичь желаемого в совокупности с беспокойством о родных порой приводит к состоянию тоски, что реализуется в соответствующей (выражение тоски) разновидности эмотивного жанра: *... меня взяла тоска по тебе Маруся, по родителям и по старой работе на заводе* (17.2.42); *Воспоминания наводят такую грусть, такую тоску, что сердце давит невыносимо* (15.10.42).

Два таких эмотивных жанра, как *радость* и *удовлетворенность*, тематически близки друг другу, но различаются эмоционально-экспрессивной окрашенностью, что подтверждается следующими контекстами: *Я счастлив, Маруся, что ты дала мне сына и рад, что все это прошло благополучно* (10.5.42); *... я счастлив, что имею такую подругу жизни, на которую можно положиться во всем* (26.6.42); *... сумели вы везти дрова из лесу – радуюсь за тебя* (8.9.42); *Наконец-то, я удовлетворен твоими сообщениями!* (23.5.42); *Я доволен, что ты дала сыну такое имя* (23.5.42).

Все процитированные контексты ограничены внутрисемейной тематикой и не затрагивают военных событий. Естественной и ожидаемой была бы положительная эмоциональная реакция адресанта на победу в войне, но, к сожалению, письма, относящиеся к периоду между 4 и 20 мая 1945 г., в эпистолярном архиве Т. В. Антипина отсутствуют.

Негативная эмоциональная окрашенность сближает жанры *досады* и *недовольства*. Соответствующие чувства почти всегда вызваны у адресанта либо длительным отсутствием писем из дома: *Досадно, что так долго ходят письма* (30.11.41); *От Никандра и родителей ни одного письма не получал, просто берет досада <...> Такая досада, что ты не можешь сфотографировать его [сына. – Н. Л., Л. М.]* (11.6.42), либо тем, что его демобилизация затягивается, несмотря на завершение боевых действий: *Еще раздражает то, что не знаешь всему этому срока* (20.8.45); *... но мне надоело сидеть и ждать <...> Порою становится противным все* (15.8.45).

Негативная характеристика противника, чаще всего выражаемая оценочными суждениями в валлоативных жанрах, иногда реализуется через эмотивный жанр *гнева*: *... такая злоба берет на фашистских гадов, что нисколько бы не пожалел себя и случись быть в бою дрался бы сколько есть сил* (21.7.42).

Таким образом, рассмотрение эмоционально-личностных экспрессивов выявляет факторы, влияющие на настроение адресанта, и позволяет утверждать, что эмотивы, так же, как и валлоативы, отражают динамику его психического состояния. Причем одним из факторов, меняющих эмоционально-психическое состояние комбатанта (помимо эмоциогенных событий), является сам факт смены обстановки, ставшей на какое-то время для него привычной, о чем Тимофей Антипин заявляет в одном из своих писем: *Резкая перемена обстановки так разволновала, что воспоминания прошлого роем нахлынули на меня* (20.8.45).

Коммиссивные жанры представлены далеко не во всех письмах Т. В. Антипина. При этом доминирующей разновидностью коммиссивов можно признать *обещание*, связанное чаще всего с заверениями в отношении переписки: *Выберу время – напишу* (17.12.41); *Как буду определен в часть напишу* (26.2.42); *если будет возможность то какнибудь напишу получше* (14.1.42) и под.

Обещание сопряжено с рядом других очень близких ему по интенции жанров, таких как:

- *заявление о намерениях* (то же обещание, выполнение которого не во всем зависит от адресанта, или обещание, адресованное не собеседнику, а третьим лицам): *Если все будет благополучно то займусь на следующем отдыхе* (24.1.44); *Надеюсь, что скоро вышлю* (10.7.42); *Если после этого не будут мне они писать, то я просто на них рассержусь и не напишу ни слова больше* (11.6.42); *Брату напишу на днях* (3.6.42) и др.;
- *обязательство* (обещание следовать долгу в соответствии со своими убеждениями): *Кончим с Гитлером – будем восстанавливать жизнь сызнова <...> Будем выгнывать гитлеровцев* (17.2.42); *Не допускай мысли, что я могу обмануть тебя или сделать подобное, как муж Нины Шипулиной. Такого не будет никогда* (26.2.45); *... а я обязан привыкнуть в этой обстановке* (6.11.41) и др.;
- *согласие выполнить просьбу* (обещание, являющееся ответом на просьбу): *Ты просишь, чтобы я попросил сам родителей в отношении продуктов, ладно, как буду сам писать, пропишу и про это* (28.7.42); *Марусенька, передай Совве, что я ее просьбу выполню* (4.6.45) и др.

В письмах Т. В. Антипина обнаружен лишь единичный случай реализации коммиссивного жанра *признание вины*: *Милая, огорчив тебя своей несдержанностью в предыдущих письмах я раскаиваюсь в своем необдуманном поступке и с чувством стыда берусь за это* (29.8.45). По выражаемой интенции этот жанр близок к одному из рассмотренных выше социально-этикетных экспрессивов – извинению, которому Тимофей и отдает предпочтение в письмах.

Относительное однообразие регулятивов (наряду с уже рассмотренными выше частотными формулами, указывающими на завершение коммуникации, выявлены три контекста с реализацией жанров *тематическая инициатива* и *отказ от темы*) в письмах Т. В. Антипина объясняется, вероятно, спецификой общения в письменной форме, которая в меньшей степени, по сравнению с устной, нуждается в регулировании процесса коммуникации.

Таким образом, анализ набора и содержательной стороны элементарных речевых жанров в составе комплексного речевого жанра частного письма позволяет наблюдать языковую личность и ее психическое состояние. При этом лингвоперсоналогическая информативность различных элементарных речевых жанров не одинакова. Самыми репрезентативными для воссоздания портрета исторической языковой личности можно признать четыре речевых жанра: валюативы, эмотивы, директивы и одну из разновидностей комиссивов – обязательство.

Валюативы и эмотивы содержат оценки, обнаруживающие черты характера и систему ценностей индивида. Директивы как жанр, нацеленный на взаимодействие с партнером, выявляют характер отношений между коммуникантами и свойства личности адресанта. Обязательство как разновидность комиссивов, основанная на системе нравственных установок человека, высвечивает аксиологическую составляющую языковой личности.

Наиболее информативными для выявления психического состояния адресанта в момент порождения текста можно считать валюативы, а также разнообразные эмотивы и одну из социально-этикетных разновидностей экспрессивов – приветствие. Анализ этих жанров на протяжении длительной переписки позволяет квалифицировать психическое состояние адресанта в тот или иной момент, наблюдать изменения в восприятии окружающего мира под влиянием определенных факторов, а в отдельных случаях обнаружить динамику психофизиологического состояния комбатанта, обусловленную адаптационными процессами в экстремальных условиях войны. Содержательная сторона валюативов и эмотивов высвечивает факторы, вызывающие смену настроения и душевного состояния фронтовика.

Примечания

¹ Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 18-012-00136.

² При цитировании контекстов в данной статье во всех случаях сохраняется авторская орфография и пунктуация.

Список литературы

Арутюнова Н. Д. Жанры общения // Человеческий фактор в языке. Коммуникация, модальность, дейксис. М., 1992. С. 52–56.

Архив Т. В. Антипина. Фонды Музейно-выставочного центра ПАО «Уралкалий» г. Соликамска.

Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1979. 424 с.

Борисова И. Н. Речевой поступок как единица коммуникативной практики // Вестник гуманитарного университета. 2014. № 4(7). С. 88–97.

Борисова И. Н. Русский разговорный диалог: Структура и динамика. Изд 2-е. М.: URSS, 2007. 317 с.

Вежбицка А. Речевые жанры // Жанры речи. Саратов, 1997. С. 99–111.

Дементьев В. В. Изучение речевых жанров. Обзор работ в современной русистике // Вопросы языкознания. 1997. № 1. С. 109–121.

Логунова Н. В., Мазитова Л. Л. Речевой портрет провинциалки предреволюционной России // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2017. Т. 9, вып. 1. С. 38–45. doi 10.17072/2037-6681-2017-1-38-45.

Логунова Н. В., Мазитова Л. Л. Портрет исторической языковой личности жителя уральской провинции Ивана Мальцева (на материале частных писем дореволюционного периода) // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2018. Т. 10, вып. 1. С. 27–36. doi 10.17072/2037-6681-2018-1-27-36.

Мельник Н. В. Языковая личность и текст как предмет лингвоперсоналогии русского языка. URL: http://www.philology.nsc.ru/journals/spj/pdf/2011_1/2011_1_Mel%27nik.pdf (дата обращения: 13.10.2017).

Нерознак В. П. Лингвистическая персоналогия: к определению статуса дисциплины // Язык. Поэтика. Перевод: сб. науч. тр. М.: Моск. гос. лингв. ун-т, 1996. С. 112–116.

Плесовских Т. С. Лингвоперсоналогия в контексте антропологического подхода // Science Time. 2014. Вып. 4(4). С. 173–179.

Салимовский В. А. Речевой жанр // Стилистический энциклопедический словарь русского языка / под ред. М.Н. Кожинной. М.: Флинта, Наука, 2003. С. 354–358.

Сенявская Е. С. Военно-историческая антропология как новая отрасль исторической науки // Военно-историческая антропология. Ежегодник, 2002. Предмет, задачи, перспективы развития / отв. ред. и сост. Е. С. Сенявская. М.: РОССПЭН, 2002. С. 5–22.

Сенявская Е. С. Человек на войне. Историко-психологические очерки. М.: Изд. центр ИРИ РАН 1997. 209 с.

Шмелева Т. В. Модель речевого жанра // Жанры речи. Саратов, 1997. С. 88–98.

Федосюк М. Ю. Нерешенные вопросы теории речевых жанров // Вопросы языкознания. 1997. № 5. С. 102–120.

References

- Arutyunova N. D. Zhanry obshcheniya [Genres of communication]. *Chelovecheskiy faktor v yazyke. Kommunikatsiya, modal'nost', deysis* [The human factor in language. Communication, modality, deixis]. Moscow, 1992, pp. 52–56. (In Russ.)
- Archive of T. V. Antipin. The Funds of *Museum and Exhibition Center of OJSC 'Uralkali'* in the town of Solikamsk. (In Russ.)
- Bakhtin M. M. Estetika slovesnogo tvorchestva [Aesthetics of verbal creativity]. Moscow, Iskustvo Publ., 1979. 424 p. (In Russ.)
- Borisova I. N. Rechevoy postupok kak edinita kommunikativnoy praktiki [Speech Acting as a Unit of Communicative Practice]. *Vestnik gumanitarnogo universiteta* [The Review of the Liberal Arts University], 2014, issue 4(7), pp. 88–97. (In Russ.)
- Borisova I. N. Russkiy razgovornyy dialog: Struktura i dinamika [Russian colloquial dialogue: Structure and dynamics]. 2nd edition. Moscow, Editorial URSS Publ., 2007. 317 p. (In Russ.)
- Wierzbicka A. Rechevye zhanry [Speech genres]. *Zhanry rechi* [Speech Genres]. Saratov, 1997, pp. 99–111. (In Russ.)
- Dement'ev V. V. Izuchenie rechevykh zhanrov. Obzor rabot v sovremennoy rusistike [The study of speech genres. Review of works in modern Russian studies]. *Voprosy yazykoznaniiya* [Topics in the Study of Language], 1997, issue 1, pp. 109–121. (In Russ.)
- Logunova N.V., Mazitova L.L. Rechevoy portret provintsialki predrevolyutsionnoy Rossii [A provincial women in pre-Revolutionary Russia: speech portrait]. *Vestnik Permsko gouniversiteta. Rossiyskaya i zarubezhnaya filologiya* [Perm University Herald. Russian and Foreign Philology], 2017, vol. 9, issue 1, pp. 38–45. (In Russ.)
- Logunova N. V., Mazitova L. L. Portret istoricheskoy yazykovoy lichnosti zhitelya ural'skoy provintsii Ivana Mal'tseva (na material chastnykh pisem dorevol'yutsionnogo perioda) [Portrait of the historical language personality of the inhabitant of the Ural province Ivan Maltsev (based on the private letters of the pre-revolutionary period)]. *Vestnik Permskogo universiteta. Rossiyskaya i zarubezhnaya filologiya* [Perm University Herald. Russian and Foreign Philology], 2018, vol. 10, issue 1, pp. 27–36. (In Russ.)
- Mel'nik N. V. Yazykovaya lichnost' i tekst kak predmet lingvopersonologii russkogo yazyka [Linguistic personality and text as a subject of linguo-personology of the Russian language]. Available at: http://www.philology.nsc.ru/journals/spj/pdf/2011_1-/2011_1_Mel%27nik.pdf (accessed 13.10.2017). (In Russ.)
- Neroznak V.P. Lingvisticheskaya personologiya: k opredeleniyu statusa distsipliny [Linguistic personology: to determining the status of the discipline]. *Yazyk. Poetika. Perevod. Sbornik nauchnykh trudov* [Language. Poetics. Translation. Collection of scientific papers]. Moscow, Moscow State Linguistic University Press, 1996, pp. 112–116. (In Russ.)
- Plesovskikh T.S. Lingvopersonologiya v kontekste antropologicheskogo podkhoda [Linguistic Personology in the Context of the Anthropological Approach]. *Science Time*, 2014, issue 4(4), pp. 173–179. (In Russ.)
- Salimovskiy V.A. Rechevoy zhanr [Speech genre]. *Stilisticheskii entsiklopedicheskii slovar' russkogo yazyka* [The Stylistic Encyclopedic Dictionary of the Russian language]. Ed. by M. N. Kozhina. Moscow, Flinta, Nauka Publ., 2003, pp. 354–358. (In Russ.)
- Senyavskaya E. S. Voенно-istoricheskaya antropologiya kak novaya otrasl' istoricheskoy nauki [Military-historical anthropology as a new branch of historical science]. *Voенно-istoricheskaya antropologiya. Ezhegodnik. Predmet, zadachi, perspektivy razvitiya* [Military-historical anthropology. Yearbook. Subject, objectives, development prospects]. Ed. by E. S. Senyavskaya. Moscow, ROSSPEN Publ., 2002, pp. 5–22. (In Russ.)
- Senyavskaya E.S. *Chelovek na voyne. Istoriko-psikhologicheskie ocherki* [Man at war. Historical and psychological essays]. Moscow, IRH RAS Publ., 1997. 209 p. (In Russ.)
- Shmeleva T.V. Model' rechevogo zhanra [Model of speech genre]. *Zhanry rechi* [Speech Genres]. Saratov, 1997, pp. 88–98. (In Russ.)
- Fedosyuk M. Yu. Nereshennyye voprosy teorii rechevykh zhanrov [Unsolved problems of the theory of speech genres] *Voprosy yazykoznaniiya* [Topics in the Study of Language], 1997, issue 5, pp. 102–120. (In Russ.)

**SPEECH GENRES AS A MEANS OF CHARACTERIZING
THE LINGUISTIC PERSONALITY AND MENTAL STATE OF A PERSON
(Based on the Material of Frontline Letters of T. V. Antipin)**

Natalia V. Logunova

**Associate Professor in the Department of Social Disciplines and the Humanities
Solikamsk State Pedagogical Institute (the branch of Perm State University)**

44, Severnaya st., Solikamsk, 618547, Russian Federation. logunovaN@yandex.ru

SPIN-code: 9340-4540

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-5772-6385>

ResearcherID: C-3711-2016

Larisa L. Mazitova

**Associate Professor in the Department of Social Disciplines and the Humanities
Solikamsk State Pedagogical Institute (the branch of Perm State University)**

44, Severnaya st., Solikamsk, 618547, Russian Federation. mazitova-larisa@rambler.ru

SPIN-code: 2119-2981

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-6775-8233>

ResearcherID: C-3710-2016

Submitted 09.11.2018

This article is based on the analysis of 154 epistolary texts of the Great Patriotic War participant Timofey Vasilyevich Antipin. It presents a description of elementary speech genres for the reconstruction of the portrait of the historical linguistic personality, as well as for the identification of its emotional and psychological state during the text generation. To implement this idea, we use the methods of linguistic personology in order to apply the obtained results in studies of military-historical anthropology. The classification of elementary speech genres is based on the typology proposed by I. N. Borisova. It is established that T. V. Antipin's letters represent a whole spectrum of elementary speech genres, however their frequency is different. Among the speech genres, there are those that can be attributed to obligatory ones – representatives (are not the subject of this article), directives and socio-etiquette expressives. The rest of the genres – commissives, valuatives, emotional-personal expressives, and communicative regulators – are variable. The genres most informative in the study of personality traits and in establishing the emotional-psychological condition of a person are valuatives and emotional-personal expressives. Essential information for the reconstruction of the sender's personality portrait is also provided by the genre of directives and such type of the commissive genre as commitment. The emotional and mental state of the addresser can be characterized based on one of the socio-etiquette expressive genres – greeting. The duration of correspondence (1941–1945) provides sufficient material to identify the dynamic processes in the psycho-physiological state of the combatant.

Key words: linguistic personology; military-historical anthropology; historical linguistic personality; epistolary text; speech genre.

УДК 811.161.1'367

doi 10.17072/2037-6681-2019-1-48-58

О СИМБИОЗЕ РУССКОГО И ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ СИНТАКСИСЕ

Валерий Александрович Мишланов

д. филол. н., профессор кафедры теоретического и прикладного языкознания

Пермский государственный национальный исследовательский университет

614990, Россия, г. Пермь, ул. Букирева, 15. vmishlanov@yandex.ru

SPIN-код: 3114-9260

ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-0417-8255>

ResearcherID: K-6061-2018

Статья поступила в редакцию 04.12.2018

Просьба ссылаться на эту статью в русскоязычных источниках следующим образом:*Мишланов В. А. О симбиозе русского и церковнославянского в современном русском синтаксисе // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2019. Т. 11, вып. 1. С. 48–58. doi 10.17072/2037-6681-2019-1-48-58***Please cite this article in English as:**Mishlanov V. A. O simbioze russkogo i tserkovnoslavjanskogo v sovremennom russkom sintaksise [On the Symbiosis of the Russian and Church Slavonic Components in the Contemporary Russian Syntax]. *Vestnik Permskogo universiteta. Rossiyskaya i zarubezhnaya filologiya* [Perm University Herald. Russian and Foreign Philology], 2019, vol. 11, issue 1, pp. 48–58. doi 10.17072/2037-6681-2019-1-48-58 (In Russ.)

В статье вновь поднимается ключевой для русистики вопрос о соотношении в литературном языке генетически русского и церковнославянского. Отмечая, что проблема выявления церковнославянизмов в синтаксисе книжных стилей русского языка до сих пор не решена, автор обосновывает мнение о церковнославянской природе значительной части явлений русского полипредикативного синтаксиса. В частности, приводятся новые доводы в пользу гипотезы о том, что относительные конструкции с постпозицией придаточного предложения формируются в книжных стилях русского языка под структурным влиянием конструкций с местоимением *йже*; выдвигается предположение, что сложноподчиненные предложения с союзом *когда*, сменившим в старорусский период церковнославянский союз *ѣгда*, также являются синтаксическими кальками с церковнославянского языка; обосновывается гипотеза о церковнославянской природе деепричастных оборотов, усвоенных русским книжным языком в их исконной (таксисной) функции, что позволяет сделать вывод о церковнославянских корнях ядра функционально-семантического поля таксиса в русском литературном языке. Решая проблему происхождения средств межфразовой связи в повествовательных текстах, автор исходит из убеждения, что нарративный синтаксис книжных стилей русского языка не мог не испытывать воздействие со стороны языка славянской Библии. Обосновывается, в частности, предположение, что энклитика *же* и присоединительный союз *и* в функции межфразовых коннекторов утвердились в книжных стилях русского языка под церковнославянским влиянием. Все это позволяет сделать вывод, что полипредикативный синтаксис русского литературного языка в значительной мере сохраняет церковнославянскую основу, а следовательно, сохраняется – пусть и в трансформированном виде – ситуация славяно-русской диглоссии, характерная для всех предшествующих этапов истории русского языка.

Ключевые слова: славяно-русская диглоссия; исторический синтаксис русского языка; синтаксис сложного предложения; таксис; синтаксис текста.

1. Уже многие десятилетия не утихают споры о месте и роли церковнославянского (старославянского в истоке) компонента в русском литературном языке. Б. О. Унбегаун заметил по это-

му поводу, что «главной и, в сущности, единственно серьезной проблемой русского литературного языка, в его прошлом и в его настоящем, является соотношение в нем русской и церков-

нославянской стихий. Это специфическая проблематика русского литературного языка, которой он отличается от всех остальных славянских языков» [Унбегаун 1971: 329].

В принципе возможны три ответа на вопрос о языковой (генетической) природе книжных стилей русского языка, и все три имеют в русистике своих сторонников (см.: [Шахматов 1941: 60; Обнорский 1946: 79; Виноградов 1956: 10]).

А. А. Шахматов, как известно, пришел к своему выводу, принимая во внимание наличие в текстах книжной письменности определенного множества славянизмов, но мог сделать его и априори – опираясь на тот непреложный факт, что древнерусская книжная письменность была церковнославянской. Из 14 слоев жанровой пирамиды древнеславянской и «примыкающей к ней» древнерусской письменности, выделяемых Н. И. Толстым, лишь в двух «нижних» жанрах – в деловой и бытовой письменности... «церковнославянский язык почти отсутствовал» [Толстой 2002: 86]. Все прочие жанры либо всецело принадлежали церковнославянскому (далее – ц.-сл.) языку (тексты церковно-религиозной тематики), либо в той или иной мере открывали «доступ “простому” русскому языку», возраставшему с каждым веком [там же].

Гипотеза С.П. Обнорского не получила единой поддержки даже в советское время – слишком заметно для объективного исследователя церковнославянское наследие в русском языке. Впрочем, ее критика, по мнению Ф. П. Филина, оказалась малоаргументированной: «настоящего ее критического разбора, основанного на привлечении большого фактического материала, пока не имеется» [Филин 1972: 639]. Но столь же неосновательной представляется, на наш взгляд, и критика другой «крайней точки зрения» – Б. О. Унбегауна, по мнению которого «русский литературный язык является в своей основе старославянским (церковнославянским) не только по происхождению, но в некоторых своих сторонах (в синтаксисе и в значительной степени в лексике) остается старославянским и теперь» [там же].

Возможно, по этой причине в трудах многих ученых (Н. С. Трубецкого, В. В. Виноградова, Н. И. Толстого, Б. А. Успенского и др.) была развита «концепция симбиоза» церковнославянского и русского в книжных стилях литературного языка. Прототип такого симбиоза можно обнаружить уже в древности. «Древнерусская народность обладала тремя типами письменного языка, один из которых – восточнославянский в своей основе – обслуживал деловую переписку, другой – собственно литературный церковнославянский, т. е. русифицированный старославянский, –

потребности культа и церковно-религиозной литературы. Третий тип, по-видимому, широко совмещавший элементы главным образом живой восточнославянской народнопоэтической речи и славянизмы... применялся в таких видах литературного творчества, где доминировали элементы художественные» [Виноградов 1956: 10].

Подчеркнем в этой связи, что элементы народного языка проникают – чем дальше, тем больше – в уже сформировавшиеся жанры, искони представленные у нас на ц.-сл. языке. Анализ лексики и синтаксиса как памятников древнейшего этапа развития русской литературы, так и произведений старорусского периода решительно свидетельствует о том, что церковнославянская составляющая является в них доминирующей.

К XVIII в., однако, языковая ситуация изменилась радикально. Церковнославянский язык, обособившись в церковно-религиозном дискурсе, стабилизировался, «закрылся» для инноваций в орфографии, грамматике и – в меньшей мере – в словарном составе. Язык же светских жанров, напротив, стал динамично развиваться и все более отдаляться от южнославянской основы.

2. Сам факт сосуществования русского и церковнославянского в книжных стилях языка сомнению не подвергался и не подвергается. Споры касаются лишь соотношения этих компонентов в лексике и грамматике русского литературного языка. «Для решения проблемы происхождения восточнославянских литературных языков нужны большие исследования с привлечением данных как письменности на протяжении всей ее истории, так и устных разновидностей речи с более или менее точными определениями, что считать церковнославянизмами на всех уровнях языка и каков был их удельный вес в разные исторические эпохи как в отдельных жанрах письменности, так и в языке обиходном» [Филин 1972: 639].

Если относительно множества слов не возникает сомнений в их старославянском происхождении, то в области синтаксиса литературного русского языка церковнославянское наследие не столь очевидно. А между тем вряд ли можно сомневаться, что и в синтаксической системе русского языка церковнославянский компонент также занимает существенное место. Анализ синтаксических конструкций, представленных в древнерусских и старорусских текстах различных жанров, показывает, что ц.-сл. корни имеют гораздо больше синтаксических моделей, чем мы могли бы допустить, опираясь лишь на какие-то видимые приметы.

Можно предположить, что строение простого предложения в той или иной мере отражает церковнославянское влияние, однако надежно обос-

новать это, отделив специфически старославянское от русского или общеславянского, очевидно, весьма непросто, если вообще возможно. Полагаю поэтому, что для решения проблемы ц.-сл. влияния в синтаксисе русского литературного языка необходимо прежде всего исследовать структуру и семантику полипредикативных конструкций и особенности синтаксиса текста.

Считается, например, что конструкции сложноподчиненного (СПП) предложения с союзом *когда*, сменившим в XVIII в. ц.-сл. союзы *ѣгда*, *внегда*, являются уже собственно русскими [Филин 1981: 68]. Так ли это?

В старославянском языке, как известно, система гипотактических показателей (союзов и относительных слов) формировалась на базе т. н. I-местоимений (*ѣже*, *ѣликъ ѡкъ*, *понѣже*, *ѣгда* и др.). K-местоимения (*чтѡ*, *ктѡ*, *какъ*, *коликъ*, *когда* и т. п.)¹ использовались либо в первичной функции (вопросительно-неопределенной), либо в составе изъяснительных конструкций с косвенным вопросом. Совершенно так же распределены K- и I-местоимения и в гипотактической системе ц.-сл. языка. В частности, в роли временного союза и относительного наречия (т. е. показателя подчинительной связи, соотнесенного с сущ. временной семантики) всегда используется скрепа I-местоименного происхождения, как правило, *ѣгда*, в функции вопросительно-неопределенной или в роли изъяснительного союзного слова – наречие *когда*.

Русский гипотаксис, как известно, формируется на базе K-местоимений, а потому квалификация временных конструкций с союзом *когда* как собственно русских, казалось бы, не должна вызывать возражений. И все же многие факты, представленные в древнерусских текстах и в современных говорах, дают определенные основания для вывода о том, что СПП с союзом *когда* являются синтаксическими кальками с ц.-сл. языка. Судя по всему, союз *ѣгда* был заменен в этой конструкции соответствующим K-словом. Произошло это, очевидно, не позднее конца XVII в., когда ускорились, по отмеченным выше причинам, процессы сближения восточнославянского и церковнославянского языковых потоков. Временной союз *когда* (не наречие) следует рассматривать, таким образом, одновременно как русский и церковнославянский.

В обоснование этого предположения обратим внимание на то, что общеславянское *къгда* в древнерусском, как и в старославянском, употреблялось обычно в кванторной функции – вопросительного или неопределенного наречия; в союзной же (таксисной) функции до конца

XVII в. оно встречается редко [Историческая грамматика 1979: 190]. По данным «Частотного словаря второй пол. XVI–нач. XVII века» А. А. Грузберга, *ѣгда* значительно превосходит частотой употребления наречие *когда* (в исследованных автором памятниках частота этих слов 452 и 43 соответственно, при том что в роли временного наречия *ѣгда* не употреблялось) [Грузберг 1974: 12, 25]. Добавим, что в этой функции использовался еще ряд союзов, восходящих к I-местоимениям – *ѣгда*, *внегда*, *ѡкъ*, *ѡкоже*, *дондеже*, *донележе* и др.

3. История временных СПП может быть рассмотрена как часть общего процесса развития функционально-семантической категории таксиса в русском языке². Центр поля таксиса современного русского языка (его книжных стилей), помимо временных СПП с союзами *когда*, *до того как*, *после того как* (*не успел...*, *как*, *стоило...*, *как...* и др.), образуют, как известно, причастные и деепричастные конструкции, формальные особенности которых не оставляют сомнений в их церковнославянской природе.

Анализ синтаксических конструкций с действительными причастиями в русском ц.-сл. языке (копирующем в этом отношении синтаксис старославянских текстов) дает все основания для вывода о таксисной функции именных причастий, согласованных с подлежащим или дательным субъекта (если основное сказуемое представлено инфинитивом); ср.: *И востѡ [расслабленный] ѡбѣ*, *и взѣмъ ѡдръ*, *ѣзыде предъ всѣми: ѡкъ дивѣтисѡ всѣмъ ѣ славити вѣа, глаголющымъ: ѡкъ николиже такъ видѣхомъ* (Мк 2, 12), где причастие прош. вр. *взѣмъ* (согласованно с опущенным подлежащим *ѡнъ*) передает действие, предшествующее действию основного сказуемого (*ѣзыде*), а причастие наст. вр. *глаголющымъ* (в унифицированной форме дат. п. мн. ч., согласованное с дат. субъекта *всѣмъ* при независимом инфинитиве *славити*) выражает значение одновременности.

Анализируя предложения с предикативными причастиями, А. А. Потеня обратил внимание на то, что в них между оборотом с причастием и предикативной единицей со спрягаемым глаголом нередко ставился сочинительный союз; ср.: *Принимъ ѣсъ хлѣбъ и благословѣнь, и прѣломи* (Остр. Ев. Мт. 26, 26) (в греч., замечает Потеня, между аппозитивным причастием и глаголом союза нет): *И се кдинъ отъ сщцихъ съ Исхъсьмъ, простъръ ржжъ, и изблѣче ножъ свои и ударъ раба архiereова, и зрѣза кмъ ххо* (Мт. 26, 51). При этом в случаях с наст. вр. аппозитивного причастия предложения с соч. союзами единич-

ны. Ученый делает вывод о таксисной функции причастия, подчеркиваемой употреблением союза: «Если позволить себе заключение от большинства случаев и противопоставить употреблению союзов *и, а, та* после причастия аппозит. прошедшего то наблюдение, что такого союза обыкновенно не бывает после прич. настоящего... то можно бы подумать, что не только частицы *та, также* в вышеприведенных примерах, но и част. *и, а* в *вставка* и *рече* усиливают отношение последовательности во времени, вытекающее уже из времени причастия: *вставши, потом сказал*» [Потебня 1958: 194, 195].

Стоит в связи с этим подчеркнуть, что предложения с соч. союзом между предикативным причастием и сказуемым встречаются в целом значительно реже, чем аналогичные конструкции без союза. Кроме того, отмеченная А. А. Потебней бóльшая синтаксическая самостоятельность аппозитивного причастия в сравнении с современным русским деепричастием вовсе не предполагает качественных функциональных различий между ними и вряд ли должна свидетельствовать о «полной несостоятельности мнения, что древнейшее причастие и современное деепричастие выполняют в предложении однородные функции» [Борковский, Кузнецов 1963: 350].

Сопоставление текстов различных жанров современного русского языка со всей очевидностью показывает, что деепричастия, совпадающие с ц.-сл. причастиями, отсутствуют в городском просторечии, но весьма употребительны в книжных стилях литературного языка (в том числе в языке художественной литературы). Так, совершенно не свойственны деепричастные обороты языку сказов Павла Бажова (см.: [Мишланов 2003]), отсутствуют они и в диалектных текстах (из более чем 120 таксисных пар, обнаруженных в сборнике текстов «Русское устье», мы не нашли ни одного деепричастия – [Русское устье 2004]).

Собственно русские образования прош. вр. типа *сумевши, сделавши*, восходящие к формам им. п. ед. ч. ж. р. (или к более частотной форме им. п. мн. ч. для м. р. с окончанием *-е* – в результате возможного смещения заударных окончаний), функционируют ныне в живой русской речи как формы прош. вр. (в основном в перфектном значении) [Шапиро 1953: 168, 169; Кузьмина, Немченко 1971: 16–220], в том числе как «предикативный атрибут» при глаголах движения (*Он придет уставши; Пришли все промокли; Сын сделался очень выпивши*), либо как обстоятельства (*Обнявши на горки лезем*). Формы на *-я / -учи* (*принеся, знаячи*) в диалектах встречаются значительно реже, чем формы прош. времени на *-ши*, причем преимущественно за пределами тех

ареалов, где регулярно используются формы на *-ши* [Кузьмина, Немченко 1971: 253].

Кое-где по говорам застывшие формы им. п. ед. ч. м. р. на *-я* (исконные – *ходя, ловя*, – или образованные по аналогии – *неся, принеся* (вм. старых *несы > неса, принесъ*), естественно, сохраняются. Причастия на *-я* в говорах в сочетании со спрягаемыми формами гл. *быть* используются как аналитические формы времен (ср.: *Лавка была затваря; Нончи не будет сельмах атваря*); в других контекстах формы на *-я / -учи* близки по функциям к обстоятельствам (*Не топя печку молотили; Береза прислоня к земле стоит; Она его [глаз] держит зажмуря*); впрочем, изредка собственно русские формы на *-учи* встречаются и в таксисной функции, ср.: *Устала до смерти в бане моючи; Ногу дасадил гряды копаючи* (все примеры из работы: [Кузьмина, Немченко 1971]).

Итак, учитывая тот факт, что в древних текстах, представляющих живую восточнославянскую речь, а также в современной разговорной речи и в диалектах формы, восходящие к именным причастиям, неупотребительны, вполне обоснованной следует считать гипотезу о церковнославянской природе конструкций с деепричастиями, усвоенных русским литературным языком в их исконной (таксисной) функции. Если, далее, принять во внимание, что СПП с союзом *когда* также генетически связаны с ц.-сл. конструкциями с *ѣгда*, вполне закономерным будет вывод о церковнославянском происхождении ядра функционально-семантического поля таксиса в русском литературном языке.

4. В историческом синтаксисе общепризнанным является положение о восточнославянской природе всех относительных конструкций, поскольку в роли гипотактических показателей здесь используются только К-местоимения. Принято считать, что древнейшими являются конструкции с препозитивными придаточными вида *который + суц. ... тотъ + суц. (А которал села покуплена при князи при Александрѣ... на тѣхъ селѣхъ кѣны имати ѿ истьца* – [Грамоты Великого Новгорода и Пскова 1949: 50]). Но в текстах церковно-книжного типа господствуют союзные слова I-местоименного происхождения (*иже, еликъ* и др.).

По поводу происхождения относительных К-местоимений единства во взглядах нет: одни исследователи связывают их с вопросительными местоимениями, другие – с неопределенными. Если, однако, сложные предложения (СП) с относительными придаточными развиваются из паратактических конструкций, в которых употребляются К-местоимения, то семантически

(функционально) мотивированными могут быть только неопределенные местоимения (ср. пример из Смоленской грамоты 1229 г.: *Которы рѣсинъ или латинескыи имьть татѣ. надъ тѣмъ емѣ своѣ бола* [Обнорский, Бархударов 1952: 48], где К-местоимение имеет первичное значение неопределенности и вся конструкция должна быть расценена как бессоюзная с условным отношением).

По подсчетам исследователей, относительные конструкции с *который* в старорусских текстах встречаются значительно реже, чем в старобелорусских и староукраинских. Это объясняется не только большей употребительностью в старорусском языке относительного местоимения *что*, но и тем, что более трети определительных придаточных вводилось ц.-сл. *иже* [Сравнительно-исторический синтаксис восточнославянских языков 1973: 33]. Добавим, что конструкции с К-местоимениями были свойственны памятникам деловой письменности, тогда как в текстах жанров, тяготеющих к церковнославянской традиции, преобладают конструкции с *иже*.

Общепризнано, что относительные местоимения, развившиеся из указательных (типа слав. *иже* или нем. *der*) приобрели гипотактические свойства на базе своей исконной анафорической функции. При этом придаточные с такими гипотактическими показателями «по самой своей сути должны были первоначально следовать за главным, а не предшествовать ему» [Корш 1877: 22, 24]. Собственно русские относительные СПП с препозитивным придаточным подверглись в ходе эволюции значительным структурным изменениям, в результате которых определяемое существительное из придаточной части было устранено, а придаточное закономерно переместилось в интерпозицию. Существенно, однако, что построения с препозицией придаточного в старорусских текстах не книжных жанров совершенно обычны. Определяемое существительное в таких конструкциях вполне ожидаемо повторяется при К-слове (независимо от того, имеется оно во второй части СПП или нет). Препозитивные конструкции без определяемого существительного в придаточном в старорусских памятниках единичны; ср.: *И того же числа котороу привезли в платеж... и тот привозной хлѣбъ я съсыпать не дал; Да приѣхжал з Балахны Федор Ляпин и сказывал которы насад в подряде на Балахнѣ и тѣхъ плотников записали на Воронеж* [Грамотки XVII – нач. XVIII века 1969: № 421, 353].

Логично было бы предположить, что конструкции с опущенным определяемым существительным в препозитивной части заменяются типичными для современного литературного

языка предложениями с постпозитивными (относительно определяемого существительного главной части) придаточными (ср.: *И тот привозной хлѣбъ, которой того же числа привезли в платеж, я съсыпать не дал*) по той очевидной причине, что пропуск существительного при относительном местоимении затрудняет поиск антецедента. Однако с учетом отмеченного выше обстоятельства (что СПП с препозитивным придаточным без определяемого существительного в старорусских памятниках редки) предпочтительней становится другой взгляд на историю русских определительных конструкций. Утвердившиеся в литературном языке относительные конструкции с постпозицией придаточного по отношению к антецеденту точно соответствуют ц.-сл. предложениям с местоимением *иже*. Вполне обоснованным поэтому следует считать предположение о том, что изменение позиции придаточного с относительным К-местоимением было вызвано структурным влиянием аналогичных ц.-сл. предложений (см., например: [Сумкина 1954: 187]).

В то же время в современных говорах и городском просторечии предложения архаического типа (*Который мальчик разбил стекло, тот давно убежал*) употребляются довольно широко [Собинникова 1958: 43, 148; Лаптева 1976: 301–303]. Конечно, и структуры с постпозицией придаточного не чужды теперь разговорной речи, но появились они, вероятнее всего, под влиянием литературного языка.

5. Сопоставление средств межфразовой связи в древнерусских текстах различных жанров с точки зрения выявления их генезиса необходимо проводить с одной оговоркой. Вообще говоря, означенные средства не могут быть едины для всех типов и жанров – для речи монологической и диалогической, для повествования и описания и т. п. В то же время диглоссийное распределение жанров древнего периода нашей словесности дает возможность сравнить, например, нарративный синтаксис церковнославянского типа с собственно русским лишь в той мере, в какой он отражен в устном фольклоре.

Как и в случае с синтаксисом сложного предложения, при изучении процессов развития межфразового синтаксиса необходимо исходить из допущения, что синтаксис текстов книжных стилей русского языка не мог не испытывать воздействие со стороны ц.-сл. языка. Следует, кроме того, учитывать принципиальное для исторического синтаксиса положение, согласно которому синтаксис полипредикативного высказывания и генетически, и в синхронно-дери-вационном плане определяется синтаксисом тек-

ста. Замечено, в частности, что в древнеписьменных текстах и в живой устной речи нет четкой границы между сложным предложением и сверхфразовым единством [Хабургаев 1974: 415].

В историческом синтаксисе традиционно рассматриваются два пути образования СП: объединение самостоятельных простых и развитие структуры простого предложения, в результате которого какой-либо из его членов получает «статус предикативности» [Поспелов 1950: 327]. Я. Бауэр приходит, однако, к выводу, который представляется справедливым и применительно к древнерусскому языку: «Мы обнаруживаем много явлений, свидетельствующих о первоначальной самостоятельности соединенных предложений, но не найдем ни одного убедительного свидетельства, показывающего, что какой-то тип сложного предложения возник в результате того, что определенный член предложения получил значение предложения» [Бауэр 1962: 93]. Отмечается, что в генезисе СП особую роль сыграли текстовые построения, названные «цепным нанизыванием предложений», внутри которых со временем образуются бинарные комплексы, кладущие начало различным типам СП [Ломтев 1956: 486; Стеценко 1960: 10; Коротаяева 1964: 19]. «Если определенные сочетания предложений в речевом акте повторялись более часто, то создавались условия для возникновения типа сложного предложения» [Бауэр 1962: 94].

Уместно, однако, поставить вопрос, почему это происходит, в силу каких причин некоторые предложения образуют устойчивые (воспроизводимые) парные объединения. Как паратактическая структура (со сверхсегментными показателями связи) сложное предложение, очевидно, «панхронично». Но если учитывать только сегментные показатели связи (будущие сочинительные союзы и гипотактические показатели) и выводить различные типы СП из построений «цепного нанизывания», то логично было бы говорить уже о третьем пути становления полипредикативных структур – об упрощении сверхсложных структур³.

На примере любого библейского текста трудно убедиться, что почти каждое самостоятельное высказывание (кроме первого) вводится начинательным союзом или его аналогом (так называемым межфразовым коннектором). Наиболее частотны в ц.-сл. текстах коннекторы *и*, *же*, а также *бо*, *ѿкъ* и *ѿбо* (они в позиции начинательного союза выражают и отношение обусловленности между смежными высказываниями). Коннектор *и*, как и омонимичный соч. союз, имеет соединительное (присоединительное) значение и формирует открытые структуры (ср.: *И рече бѣ:*

да вѣдетъ свѣтъ. И вѣсть свѣтъ. И вѣдѣ бѣ свѣтъ, ѿкъ добрѣ, и различї бѣ междѣ свѣтомъ и междѣ тмоу. И нарече бѣ свѣтъ дѣнь, а тмѣ нарече нощь – Быт 1, 3–6).

Энклитика же и в функции межфразового союза, и в сложносочиненном предложении имеет сопоставительное или противительное значение (*И не ѿбѣйтеса ѿ ѿбивающихъ тѣло, дѣши же не могущихъ ѿвѣити: ѿбѣйтеса же паче могущагѣ и дѣшѣ и тѣло погѣвѣити въ геѣннѣ – Мф 10, 28; Слышасте, ѿкъ речено вѣсть дрѣвнимъ: не прелюбѣ сотвориши. Азъ же глаголю вамъ: ѿкъ всѣкъ, иже воззритъ на женѣ, во ѣже вожделѣти еѣ, ѿже любовѣйствова съ нею въ сѣрдцѣ своемъ – Мф 5, 27 – 28).* Сопоставительное значение коннектора же позволяет использовать его в роли своего рода «тематического модификатора», т. е. маркера некоторого поворота в повествовании (например, появления нового персонажа, новых обстоятельств, перехода к новым действиям и т. п.).

Между тем в живом русском языке функция маркера тематического поворота закреплена за межфразовым союзом *а* [Мишланов 1993], который использовался в этой роли с древнейших времен. Больше того, в древнерусской деловой письменности этот коннектор употреблялся как универсальный начинательный союз (т. е. и в присоединительной функции). Ср. примеры из Псковской судной грамоты XV в.:

ѿ которомъ посадникъ състи на посадниство, ино томъ посадникъ крестъ цѣлобати... а городскими кѣнами не корыстоватиса, а съдомъ не мститса ни на... ѿ князь и посадникъ на вѣчи съдѣ не съдѣтъ, съдѣти имъ ѣ князѣ на сѣнехъ... ѿ не вѣдѣтъ вправдѣ, ино богъ вѣди имъ съдѣа по второмъ пришествїи Христовѣ. ѿ тайныхъ посѣловъ не имати ни князю, ни посадникъ [Обнорский, Бархударов 1952: 206].

Сравнение способов и средств организации связного текста, представленных, с одной стороны, в древнерусских памятниках некнижных стилей и в современной разговорной речи, а с другой стороны, в ц.-сл. текстах, дает основания для вывода о том, что, по крайней мере, энклитика *же* и присоединительный союз *и* в функции межфразовых коннекторов, будучи общеславянскими средствами, утвердились в книжных стилях русского языка под церковнославянским влиянием. Стоит заметить в этой связи, что и в роли сочинительного союза частицу *же* логично рассматривать как след церковнославянского влияния.

Анализ старорусских текстов, тяготеющих к церковно-книжному типу языка, а также текстов

XVIII в. (когда ц.-сл. язык в светских литературных жанрах был замещен высоким «штилем» русского языка) довольно наглядно показывает, как формировался славяно-русский симбиоз в нарративном синтаксисе. Сопоставим в этом аспекте фрагменты повествовательных текстов из литературы XV–XVI вв. и из сочинений Феофана Прокоповича (полужирным шрифтом выделены межфразовые коннекторы и соч. союзы; подчеркнуты собственно русские средства выражения анафорических связей):

И по малѣ времени царю Беркѣ умрѣшу. Ордѣ мятуцися и искания отроку не бѣ [в Орде начались раздоры, и отрока никто не искал], крести сего отрока святыи владыка и нарече имя ему Петръ. **И** бѣ Петръ в учении господни по вся дни въ святилище у владыкы. **И** преставися святыи владыка Кирилъ, **и** погребоша его честно с пѣсньми; <...> Петр же, яко навиче у владыкы, молитвы плачевныа дневныа и ноцныа приносити къ Богу и непрестанного поста не оставаяся («Повесть о Петре, царевиче ордынском») [Памятники литературы Древней Руси 1984: 22].

Се убо в Русийстей земли град, нарицаемый Муром. В нем же бѣ самодержьстивуяи благовѣрный, яко повѣдашу, именем Павел. Искони же ненавидяи добра роду человеку дьявол всели неприязненаго летящаго змия к женѣ князя того на блуд. **И** являешся ей своими мечты [наваждением, волшебством], яко же бяше и естеством; приходящим же людемъ являешся, яко же князь сам сѣдоше с женою своею. Тѣми же мечты многа времена преидоша. Жена же сего не таяше, но повѣдаше князю, мужевеи своему, вся ключающаяся ей... (Ермолай-Еразм. Повесть о Петре и Февронии Муромских) [там же: 628, 630].

В Российских Европях некоторый живяше дворянин, имяше имя ему Иоанн, по малой фамилии Кариотской. Имел у себя сына Василия, лицом зело прекрасна. А оный дворянин [ц.-сл. дворянин же сей] в великую скудость прииде и не имяше у сябя пищи. Во едино же время оный его сын рече отцу своему: «Государь мой батюшко! Прошу у тебя родительского благословения, изволь меня отпустить в службу... Выслушав же отец его **и** даде ему благословение, отпустя от себя. Василий же, взяв от отца своего благословение, прииде в Санктпетербурх и записался в морской флот в матросы. **И** отослали его на корабль по определению... **И** слава об нем велика прошла за его науку и услугу, понеже он знал в науках матросских вельми остро, по морям, где острова, и пучины морские... **И** за ту науку на кораблях старшим пребывал и от всех старших матросов в великой славе прославлялся.

<...> В Галандии учинили им квартиры, **и** поставлены были все младшие матросы по домам

купецким, **а** ему, Василию [ц.-сл. Василию же], за его услуги и за старшинство – к знатному и богатому гостю в дом поставили равно со шта-тами.

<...> Слышав же он, Василий, от него зело прослезился **и** любезно просился, чтоб его ко отцу в Россию отпустил взять благословение, и обратно быть. Видев же гость непреклонную его просьбу **и** просил его, чтоб он во Францию сходил с товарами **и** когда возвратится, то обещал его в дом отпустить, - по которому прошению [ц.-сл. **и** по тому прошению] он, Василий, не ослушался оного гостя, взяв корабли **и** убрался с товары **и** отыде во Францию...

<...> Тогда Василий вышел из судна **и** все имение выбрав **и** тем рыболовам дал едину суму злата, **и** они, рыболовы, той казне вельми были рады **и** обещались рыбы по морю не ловить **и** к тому острову разбойническому не ездить. А Василий нанял почтовое судно до Цесарицы, в которое убрался **и** с королевною Ираклией, **и** поехали морем до Цесари (Феофан Прокопович. Гистория о российском матросе Василии Кориотском и о прекрасной королевне Ираклии Флоренской земли) [Русская литература XVIII века 1970: 50, 51, 54].

Нетрудно заметить, как резко отличаются по языку сочинения Феофана Прокоповича от произведений XV–XVI вв., в которых лексика и грамматика (включая синтаксис текста) всецело церковнославянские. В тексте же «Гистории о российском матросе Василии Кориотском» на всех уровнях довольно наглядно представлена борьба русского и церковнославянского. Причем в оформлении анафорических связей, гипотактических конструкций, в выборе межфразовых коннекторов автор ориентируется более на собственно русские деривационные модели и средства, чем на церковнославянские. Так, подчинительные союзы и относительные слова представлены в основном К-местоименными скрепами (как вместо *яко*, *который* вместо *иже* и др.). Любопытно, что русские способы оформления анафорических отношений в последующей истории книжного синтаксиса не получили развития, уступив место моделям, характерным для церковнославянского текста.

Итак, в русском литературном языке церковнославянские корни имеет не только базовый слой книжной лексики (естественно, за вычетом заимствований из европейских языков), но и значительная часть явлений русского полипредикативного синтаксиса, а также основные средства и способы оформления межфразовых связей. Если принять во внимание, что вне книжной сферы общения (в город-

ском просторечии и в говорах) церковнославянизмы относительно немногочисленны, вполне логичным представляется вывод о сохранении в нашем коммуникативном пространстве, пусть и в неявном виде, славяно-русской диглоссии, характерной для всех предшествующих этапов развития русской словесности.

Примечания

¹ I-местоимения восходят к индоевропейскому корню *i-, *je-, K-местоимения (вопросительные, неопределенные и относительные) – к корню *k^wi-, k^wo- (см, в частности: [Мейе 1951: 351, 355; Семенин 1980: 220, 222]).

² Как известно, понятие таксиса получило широкое распространение после выхода в 1957 г. статьи Р. О. Якобсона [Якобсон 1972]. По синтаксическим основаниям таксис делят традиционно на зависимый и независимый. Независимый таксис выражается средствами полипредикативного синтаксиса (в старославянском в т. ч. конструкциями с оборотом «дат. самостоятельный»), что позволяет соотносить «в рамках целостного периода времени» [Теория функциональной грамматики 1987: 237] действия, выполняемые разными субъектами. Формальное ядро зависимого таксиса в русском языке представлено деепричастиями, а периферия – причастиями и девербаливами (подробнее о таксисе и истории его изучения см.: [Храковский 2003; Семенова 2004]).

³ Ж. Одри в связи с этим пишет: «Сложное предложение не могло произойти в результате расширения простого предложения или посредством соединения нескольких последовательных простых предложений. Языковые структуры образуются не путем присоединения независимых элементов, случайно вступивших в контакт, а в ходе реорганизации, обновления существующих структур, и чаще всего в связи с сокращением этих структур... Причину происхождения сложного предложения следует искать или в перестройке структуры существовавшего ранее сложного предложения, или в сокращении структуры более высокого порядка, т. е. структуры текста» [Одри 1988: 109].

Список литературы

Бауэр Я. К вопросу о возникновении и развитии типов сложного предложения (на материале чешского языка) // Вопросы славянского языкознания. М.: Изд-во АН СССР, 1962. Вып. 6. С. 89–111.

Борковский В. И., Кузнецов П. С. Историческая грамматика русского языка. М.: АН СССР, 1963. 512 с.

Виноградов В. В. Вопросы образования русского национального литературного языка // Вопросы языкознания. 1956. № 1. С. 3–25.

Грамотки XVII – нач. XVIII века. М.: Наука, 1969. 415 с.

Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.; Л.: АН СССР, 1949. 408 с.

Грузберг А. А. Частотный словарь русского языка второй пол. XVI – нач. XVII века. Пермь: ПГПИ, 1974. 462 с.

Историческая грамматика русского языка. Синтаксис. Сложное предложение. М., 1979. 459 с.

Корш Ф. Е. Способы относительного подчинения. Глава из сравнительного синтаксиса. М., 1877. 110 с.

Коротаева Э. И. Союзное подчинение в русском литературном языке 17 в. М.; Л.: Наука, 1964. 250 с.

Кузьмина И. Б., Немченко Е. В. Синтаксис причастных форм в русских говорах. М.: Наука, 1971. 312 с.

Лантева О. А. Русский разговорный синтаксис. М.: Наука, 1976. 399 с.

Ломтев Т. П. Очерки по историческому синтаксису русского языка. М.: Изд-во МГУ, 1956. 596 с.

Мейе А. Общеславянский язык. М.: Изд-во иностр. лит., 1951. 492 с.

Мишланов В. А. Коннектор *a* в современных русских говорах // Живое слово в русской речи Прикамья. Пермь, 1993. С. 134–143.

Мишланов В. А. О некоторых особенностях синтаксиса сказов Павла Бажова // Известия УрГУ. 2003. № 28. Гуманитарные науки. Вып. 6. Екатеринбург, 2003. С. 69–82.

Обнорский С. П. Очерки по истории русского литературного языка старшего периода. М.; Л.: Изд. АН СССР, 1946. 199 с.

Обнорский С. П., Бархударов С. Г. Хрестоматия по истории русского языка. М.: Учпедгиз, 1952. Ч. 1. 415 с.

Одри Ж. Индоевропейский язык // Новое в зарубежной лингвистике. М.: Прогресс, 1988. Вып. XXI. С. 24–121.

Памятники литературы Древней Руси. Конец XV – первая половина XVI века. М.: Худож. лит., 1984. 768 с.

Поспелов Н. С. О грамматической природе сложного предложения // Вопросы синтаксиса современного русского языка. М.: Учпедгиз, 1950. С. 321–337.

Потебня А. А. Из записок по русской грамматике. Т. I–II. М.: Учпедгиз, 1958. 536 с.

Русская литература XVIII века / сост. Г. П. Макогоненко. Л.: Просвещение, 1970. 832 с.

Русское устье. Звучащая хрестоматия // Бюллетень Фонетического Фонда русского языка, приложение 14. Бохум – Москва, 2004.

Семенова Н. В. Таксис: история изучения и современное понимание // Русский язык в научном освещении. 2004. № 1. С. 249–272.

Семереньи О. Введение в сравнительное языкознание. М.: Прогресс, 1980. 408 с.

Собинникова В. И. Строение сложного предложения в народных говорах (по материалам говоров Гремяченского р-на Воронежской обл.). Воронеж: Изд. Воронеж. ун-та, 1958. 173 с.

Сравнительно-исторический синтаксис восточнославянских языков. Сложноподчиненное предложение. М.: Наука, 1973. 358 с.

Стеценко А. Н. Сложноподчиненное предложение в русском языке 14–16 вв. Томск, 1960. 311 с.

Сумкина А. И. К истории относительного подчинения в русском языке XIII–XVII веков // Труды Института языкознания АН СССР. 1954. Т. V. С. 139–202.

Теория функциональной грамматики: Введение. Аспектуальность. Временная локализованность. Таксис. Л.: Наука, 1987. 347 с.

Толстой Н. И. Церковнославянский и русский: их соотношение и симбиоз // Вопросы языкознания. 2002. № 1. С. 81–90.

Унбегаун Б. О. Русский литературный язык: проблемы и задачи его изучения // Поэтика и стилистика русской литературы: Памяти акад. В. В. Виноградова. Л., 1971. С. 329–333.

Филин Ф. П. Происхождение русского, украинского и белорусского языков. Л.: Наука, 1972. 656 с.

Филин Ф. П. Истоки и судьбы русского литературного языка. М.: Наука, 1981. 328 с.

Хабургаев Г. А. Старославянский язык. М.: Просвещение, 1974. 432 с.

Храковский В. С. Категория таксиса (общая характеристика) // Вопросы языкознания. 2003. № 2. С. 32–54.

Шapiro А. Б. Очерки по синтаксису русских народных говоров. М.: АН СССР, 1953. 317 с.

Шахматов А. А. Очерк современного русского литературного языка. Изд. 4-е. М.: Учпедгиз, 1941. 288 с.

Якобсон Р. О. Шифтеры, глагольные категории и русский глагол // Принципы типологического анализа языков различного строя. М., 1972. С. 95–113.

References

Bauer Ya. K voprosu o vzniknovenii i razvitiu tipov slozhnogo predlozheniya (na materiale cheshskogo yazyka) [To the question of the origin and development of types of a complex sentence (on the

basis of the Czech language)]. *Voprosy slavyanskogo yazykoznanija* [Issues of Slavic linguistics]. Moscow, USSR Academy of Sciences Publ., 1962, issue 6, pp. 89–111. (In Russ.)

Borkovskiy V. I., Kuznetsov P. S. *Istoricheskaya grammatika russkogo yazyka* [Historical grammar of the Russian language]. Moscow, USSR Academy of Sciences Publ., 1963. 512 p. (In Russ.)

Vinogradov V. V. *Voprosy obrazovaniya russkogo natsional'nogo literaturnogo yazyka* [The Questions of the formation of Russian national literary language]. *Voprosy yazykoznanija* [Topics in the Study of Language], 1956, issue 1, pp. 3–25. (In Russ.)

Gramotki 17 – nach. 18 veka [Epistolary texts of the 17th – early 18th century]. Moscow, Nauka Publ., 1969. 415 p. (In Russ.)

Gramoty Velikogo Novgoroda i Pskova [Charters of Veliky Novgorod and Pskov]. Moscow, Leningrad, USSR Academy of Sciences Publ., 1949, issue 27. 408 p. (In Russ.)

Gruzberg A. A. *Chastotnyy slovar' russkogo yazyka vtoroy pol. 16 – nach. 17 veka* [The frequency dictionary of the Russian language of the second half of the 16th – the early 17th century]. Perm, Perm State Pedagogical Institute Press, 1974. 462 p. (In Russ.)

Istoricheskaya grammatika russkogo yazyka. Sintaksis. Slozhnoye predlozheniye [Historical grammar of the Russian language. Syntax. Compound sentence]. Moscow, 1979. 459 p. (In Russ.)

Korotaeva E. I. *Soyuznoye podchinenie v russkom literaturnom yazyke 17 v.* [Conjunctive subordination in the Russian literary language of the 17th century]. Moscow, Leningrad, Nauka Publ., 1964. 250 p. (In Russ.)

Korsh F. E. *Sposoby otositel'nogo podchineniya. Glava iz sravnitel'nogo sintaksisa* [Mode of relative subordination. A chapter from comparative syntax]. Moscow, 1877. 110 p. (In Russ.)

Kuz'mina I. B., Nemchenko E. V. *Sintaksis prichastnykh form v russkikh govorakh* [Syntax of participle forms in Russian dialects]. Moscow, Nauka Publ., 1971. 312 p. (In Russ.)

Lapteva O. A. *Russkiy razgovornyy sintaksis* [Russian colloquial syntax]. Moscow, Nauka Publ., 1976. 399 p. (In Russ.)

Lomtev T. P. *Ocherki po istoricheskomu sintaksisu russkogo yazyka* [Essays on the historical syntax of the Russian language]. Moscow, Moscow State University Press, 1956. 596 p. (In Russ.)

Meillet A. *Obshchoslavyanskiy yazyk* [Common Slavonic language]. Moscow, Izd. inostrannoy literatury Publ., 1951. 492 p. (In Russ.)

Mishlanov V. A. *Konnektor a v sovremennykh russkikh govorakh* [Connector *a* in modern Russian dialects]. *Zhivoe slovo v russkoy rechi Prikam'ya* [Living word in the Russian speech of the Prikamye]. Perm, 1993, pp. 134–143. (In Russ.)

Mishlanov V. A. O nekotorykh osobennostyakh sintaksisa skazov Pavla Bazhova [On some features of the syntax of Pavel Bazhov's tales]. *Izvestiya UrGU. Seriya 2. Gumanitarnye nauki* [Izvestia. Ural Federal University Journal. Series 2. Humanities and Arts], 2003, issue 28, pp. 69–82. (In Russ.)

Obnorskiy S. P. *Ocherki po istorii russkogo literaturnogo yazyka starshego perioda* [Essays on the history of the Russian literary language of the older period]. Moscow, Leningrad, USSR Academy of Sciences Publ., 1946. 199 p. (In Russ.)

Obnorskiy S. P., Barkhudarov S. G. *Khrestomatiya po istorii russkogo yazyka* [Reader on the history of the Russian language]. Moscow, Uchpedgiz Publ., 1952, pt. 1. 415 p. (In Russ.)

Odri Zh. Indoevropskiy yazyk [The Indo-European language]. *Novoe v zarubezhnoy lingvistike*. Moscow, Progress Publ., 1988, issue 21, pp. 24–121. (In Russ.)

Pamyatniki literatury Drevney Rusi. Konets 15 – pervaya polovina 16 veka [Monuments of Ancient Russia literature. The end of the 15th – the first half of the 16th century]. Moscow, Khudozhestvennaya Literatura Publ., 1984. 768 p. (In Russ.)

Pospelov N. S. O grammaticheskoy prirode slozhnogo predlozheniya [On the grammatical nature of a compound sentence]. *Voprosy sintaksisa sovremennogo russkogo yazyka* [Issues of the syntax of the modern Russian language]. Moscow, Uchpedgiz Publ., 1950, pp. 321–337. (In Russ.)

Potebnya A. A. *Iz zapisok po russkoy grammatike* [From notes on Russian grammar]. Moscow, Uchedgiz Publ., vol. 1–2, 1958. 536 p. (In Russ.)

Russkaya literatura 18 veka [Russian literature of the 18th century]. Ed. by G. P. Makogonenko. Leningrad, Prosveshchenie Publ., 1970. 832 p. (In Russ.)

Russkoe ust'e. Zvuchashchaya khrestomatiya [Sounding reader]. *Byulleten' Foneticheskogo Fonda russkogo yazyka. Prilozhenie 14* [Bulletin of the Phonetic Fund of Russian Language]. Bochum – Moscow, 2004. (In Russ.)

Semenova N. V. Taksis: istoriya izucheniya i sovremennoe ponimanie [Taxis: history of studying and modern understanding]. *Russkiy yazyk v nauchnom osveshchenii* [Russian Language and Linguistic Theory], 2004, issue 1, pp. 249–272. (In Russ.)

Szemerényi O. *Vvedenie v sravnitel'noe yazykoznanie* [Introduction to comparative linguistics]. Moscow, Progress Publ., 1980. 408 p. (In Russ.)

Sobinnikova V. I. *Stroenie slozhnogo predlozheniya v narodnykh govorkakh (po materialam govorov Gremyachenskogo r-na Voronezhskoy obl.* [The structure of a compound sentence in folk dialects (based on the dialects of the Gremyachy district of the Voronezh region)]. Voronezh, Voronezh State University Press, 1958. 173 p. (In Russ.)

Sravnitel'no-istoricheskiy sintaksis vostochnoslavjanskikh yazykov. Slozhnopodchinennoe predlozhenie [Comparative-historical syntax of the East

Slavic languages. Compound sentence]. Moscow, Nauka Publ., 1973. 358 p. (In Russ.)

Stetsenko A.N. *Slozhnopodchinennoe predlozhenie v russkom yazyke 14–16 vv.* [Compound sentence in the Russian language of the 14th–16th centuries]. Tomsk, 1960. 311 p. (In Russ.)

Sumkina A. I. K istorii odnositel'nogo podchineniya v russkom yazyke 13–17 vekov [To the history of relative subordination in the Russian language of the 13th–17th centuries]. *Trudy Instituta yazykoznanija AN SSSR* [Proceedings of the Institute of Linguistics of the USSR Academy of Sciences]. 1954, vol. 5, pp. 139–202. (In Russ.)

Teoriya funkcional'noy grammatiki: Vvedeniye. Aspektual'nost'. Vremennaya lokalizovannost'. Taksis [Theory of Functional Grammar: Introduction. Aspectuality. Temporal localization. Taxis]. Leningrad, Nauka Publ., 1987. 347 p. (In Russ.)

Tolstoy N. I. Tserkovnoslavjanskiy i russkiy: ikh sootnoshenie i simbioz [Church Slavonic and Russian: their correlation and symbiosis]. *Voprosy yazykoznanija* [Topics in the Study of Language], 2002, issue 1, pp. 81–90. (In Russ.)

Unbegaun B. O. Russkiy literaturnyy yazyk: problemy i zadachi ego izucheniya [Russian literary language: problems and objectives of its study]. *Poetika i stilistika russkoy literatury: Pamyati akad. V. V. Vinogradova* [Poetics and stylistics of Russian Literature: In memory of acad. V. V. Vinogradov]. Leningrad, 1971, pp. 329–333. (In Russ.)

Filin F. P. *Proiskhozhdeniye russkogo, ukrain-skogo i belorusskogo yazykov* [The origin of Russian, Ukrainian and Belarusian languages]. Leningrad, Nauka Publ., 1972. 656 p. (In Russ.)

Filin F. P. *Istoki i sud'by russkogo literaturnogo yazyka* [The origins and destinies of the Russian literary language]. Moscow, Nauka Publ., 1981. 328 p. (In Russ.)

Khamburgaev G. A. *Staroslavjanskiy yazyk* [Old Slavonic language]. Moscow, Prosveshcheniye Publ., 1974. 432 p. (In Russ.)

Khrakovskiy V.S. Kategoriya taksisa (obshchaya kharakteristika) [Taxis category (general characteristic)]. *Voprosy yazykoznanija* [Topics in the Study of Language], 2003, issue 2, pp. 32–54. (In Russ.)

Shapiro A. B. *Ocherki po sintaksisu russkikh narodnykh govorov* [Essays on the syntax of Russian folk dialects]. Moscow, USSR Academy of Sciences Publ. 1953. 317 p. (In Russ.)

Shakhmatov A. A. *Ocherk sovremennogo russkogo literaturnogo yazyka* [Essay on the contemporary Russian literary language]. 4th edition. Moscow, Uchpedgiz Publ., 1941. 288 p. (In Russ.)

Jakobson R. O. Shiftery, glagol'nye kategorii i russkiy glagol [Shifters, verb categories and the Russian verb]. *Printsipy tipologicheskogo analiza yazykov razlichnogo stroya* [Principles of the typological analysis of languages of different structures]. Moscow, Nauka Publ., 1972, pp. 95–113. (In Russ.)

**ON THE SYMBIOSIS OF THE RUSSIAN
AND CHURCH SLAVONIC COMPONENTS
IN THE CONTEMPORARY RUSSIAN SYNTAX**

Valery A. Mishlanov

**Professor in the Department of Theoretical and Applied Linguistics
Perm State University**

15, Bukireva st., Perm, 614990, Russian Federation. vmishlanov@yandex.ru

SPIN-code: 3114-9260

ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-0417-8255>

ResearcherID: K-6061-2018

Submitted 04.12.2018

The article again raises the key question of Russian philology about the correlation between the genetically Russian and Church Slavonic components in the literary language. Noting that the problem of identifying the Church Slavonic elements in the syntax of the literary styles of the Russian language is still not resolved, the author substantiates the opinion about the Church Slavonic nature of a considerable part of the polypredicative syntax phenomena. In particular, new arguments are presented for the hypothesis that relative constructions with the postposition of the subordinate clause are formed in the literary styles of the Russian language under the structural influence of constructions with the pronoun *ѣже*; an assumption is made that complex sentences with the conjunction *когда*, which replaced the Church Slavonic conjunction *ѣгда* in the old Russian period, are also syntactic copies of the Church Slavonic language; the hypothesis of the Church Slavonic nature of the participle phrases assimilated by the Russian literary language in their original (taxis) function is substantiated, which allows us to make a conclusion about the Church Slavonic roots of the core of the functional-semantic field of taxis in the Russian literary language. Solving the problem of the origin of the interphase connection means in narrative texts, the author proceeds from the belief that the narrative syntax of the literary styles of the Russian language was affected by the language of the Slavic Bible. The article provides arguments, in particular, for the assumption that the enclitic “же” and conjunction “и” in the function of interphase connectors were established in the literary styles of the Russian language under the Church Slavonic influence. All this allows us to conclude that the polypredicative syntax of the Russian literary language largely preserves the Church Slavonic basis. Therefore, the situation of the Slavonic – Russian diglossia, which is typical of all previous stages of the Russian language history, remains in place, albeit in a transformed form.

Key words: Slavonic and Russian diglossia; the Russian language historical syntax; compound sentence syntax; taxis; text syntax.

УДК 81'37

doi 10.17072/2037-6681-2019-1-59-68

ДОСТУП К ЕДИНИЦАМ МУЛЬТИЛИНГВАЛЬНОГО МЕНТАЛЬНОГО ЛЕКСИКОНА ПРИ СПОНТАННОМ ТЕКСТОПОРОЖДЕНИИ

Екатерина Сергеевна Худякова**к. филол. н., доцент кафедры теоретического и прикладного языкознания****Пермский государственный национальный исследовательский университет**

614990, Россия, г. Пермь, ул. Букирева, 15. khudiakova.es@gmail.com

SPIN-код: 9692-4489

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-2529-301X>

ResearcherID: I-5075-2018

*Статья поступила в редакцию 29.05.2018***Просьба ссылаться на эту статью в русскоязычных источниках следующим образом:**

Худякова Е. С. Доступ к единицам мультилингвального ментального лексикона при спонтанном текстопорождении // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2019. Т. 11, вып. 1. С. 59–68. doi 10.17072/2037-6681-2019-1-59-68

Please cite this article in English as:

Khudyakova E. S. Dostup k edinitsam mul'tilingval'nogo mental'nogo leksikona pri spontannom tekstoporozhdenii [Access to Units of Multilingual Mental Lexicon in Spontaneous Texts]. *Vestnik Permskogo universiteta. Rossiyskaya i zarubezhnaya filologiya* [Perm University Herald. Russian and Foreign Philology], 2019, vol. 11, issue 1, pp. 59–68. doi 10.17072/2037-6681-2019-1-59-68 (In Russ.)

Автором поставлена проблема выявления и типологии внутриязыковых и экстралингвистических факторов ошибки доступа к слову, что в итоге связано с исследованием связей единиц мультилингвального лексикона. Целью статьи стало рассмотрение ошибок доступа к слову при мультилингвизме в процессе порождения спонтанного текста на близкородственном языке (чешском при родном русском). Материалом исследования послужили спонтанные монологи от русских студентов-мультилингвов. С применением методов семантического, дистрибутивного и формально-структурного анализа получена типология ошибок доступа (в терминах лексического трансфера) с их частотными характеристиками. Показано, что наиболее частотные типы ошибок доступа – это межъязыковой трансфер морфем, вставка русского слова и внутриязыковой трансфер морфем, что опровергает мнение западных лингвистов о преобладании ложных друзей переводчика среди явлений трансфера при близкородственном билингвизме. К экстралингвистическим факторам ошибок доступа отнесены родство языков, реципиент-дизайн и дефицит времени. Таким образом доказано, что условия спонтанного производства текста приводят к увеличению ошибок доступа к слову, обусловленных опорой на коммуникативную ситуацию – «нулевого доступа» и обращения за помощью к адресату. В целом доказано, что набор классов ошибок и частота их реализации в речи являются специфичными для конкретной пары близкородственных языков и условий их использования. Обнаружен частотный внутриязыковой трансфер морфем (внутри чешского), а также отбор по леммам одной лексемы и производство единицы онлайн, что, по-видимому, связано с богатством деривационных и реляционных ресурсов исследуемой пары славянских близкородственных языков. Данный вывод опровергает последовательную модульную концепцию производства речи.

Ключевые слова: мультилингвизм; ментальный лексикон; доступ к лексической информации; межъязыковой / внутриязыковой трансфер; лексические коммуникативные стратегии; близкородственный билингвизм.

Исследование ментального лексикона – одна из актуальных лингвистических проблем, связанная с объяснением процессов восприятия и продуцирования речи. В случае если текст производится на иностранном языке, возникают проблемы доступа к единицам билингвального (или мультилингвального) лексикона.

Наиболее широко **проблему** можно сформулировать как попытку определения связей единиц языка **1** и языка **2** (**3**, **4**) в мультилингвальном лексиконе; конкретнее – выяснение факторов, обуславливающих доступ (или ошибку доступа) к единице языка **2** (**3**, **4**).

На активацию единиц родного или иностранного языка оказывает влияние широкий ряд факторов (см.: [Jarvis, Pavlenko 2008]), поэтому **задачами** исследования стали:

1) обнаружение сбоев доступа к единицам иностранного языка при спонтанном порождении текста;

2) описание характера сбоев, связанных с самим статусом единицы (ее фонетическими и орфографическими, семантическими, грамматическими свойствами), их типология и частотное распределение;

3) установление роли экстралингвистических факторов, обуславливающих сбой доступа к слову при мультилингвизме с близкородственной парой языков;

4) определение (если возможно) контекстных факторов неактивации (или неполной активации единицы иностранного языка), поскольку принцип распространения активации ментального лексикона (далее – МЛ) предполагает контекстное «включение» наиболее сильных слотов;

5) на основе анализа сбоев в доступе к единице МЛ сделать вывод об организации МЛ мультилингва.

Понятия и термины. В данном исследовании в качестве рабочего используем определение Т. И. Доценко и Ю. Е. Лещенко, согласно которому «ментальный лексикон – когнитивное образование, представляющее собой ассоциативно-вербальную сеть дистрибутивного типа связей между единицами. <...> Функционирование сети ментального лексикона основано на принципе распространения активации: активирование одного из узлов сети влечет за собой автоматическую и мгновенную активацию всего объема информации (собственно языковой, когнитивной, прагматической, вероятностной), связанной со словом» [Доценко, Лещенко 2013: 372].

Набор признаков, обеспечивающих доступ к единице МЛ при порождении и восприятии речи, достаточно широк: «ментальный лексикон обеспечивает мост между формой и семантикой. При этом фонология, орфография, синтаксис, аргу-

ментная структура, морфология и лексическая семантика – все проявляется во входах МЛ»¹ [Schreuder, Weltens 1993: 4].

Помимо указанных выше признаков, по мнению И. А. Секериной, «поиск слова в ментальном лексиконе зависит не только от этих внутренних характеристик слова, но и от внешних характеристик, таких, как частота слова и влияние контекста» [Секерина 2002: 236]. Е. В. Глазанова, рассматривая только идентификацию слова, делает вывод: «В целом на время идентификации слов влияет смысловая близость, ассоциативная связанность, возможность обращения к образу в памяти, совместная встречаемость, а также некоторые формальные характеристики прайма и стимула (частотность, длина, место ударения). Ни один из перечисленных признаков не является ведущим или единственным, важно только их влияние в совокупности» [Глазанова 2001: 14].

Таким образом, МЛ связан с процессами распознавания и понимания слова (поиском единицы при восприятии речи, в западной традиции – идентификацией слова (word recognition)) и доступом к слову при порождении речи (в западной традиции – активацией слова (word activation или lexical access)) [Корниевская 2012: 10].

В данном исследовании рассматривается второй процесс – поиск слова при порождении речи. «Доступ к слову – лексическое кодирование в широком смысле есть воплощение мысли в вербальную форму. Под доступом к слову в работе понимаются процессы извлечения слов из ментального лексикона. Лексический выбор – это решение о том, какую лексическую единицу и на каком языке выбрать, чтобы при этом она соответствовала замыслу высказывания» [там же].

Доступ к слову может исследоваться как при моно-, так и при мультилингвизме.

Существует две основные концепции активации единиц в билингвальном МЛ. Согласно первой понятие связано двусторонними связями с единицей языка **1** и языка **2** [Kroll 1993: 66]. Аннет де Гроот называет эту точку зрения понятийно-опосредованной, которая предполагает, «что конкретные лексемы образуют однозначные соответствия понятие – два имени» [Groot 1993: 38]. В целом данная концепция схожа с принятой в советской и российской лингвистике классификацией типов билингвизма, а именно с координативным типом билингвизма.

Вторая концепция организации единиц в билингвальном лексиконе может быть названа лексико-опосредованной. Она предполагает, что единица языка **2** активируется через лексему **1** (которая и связана с понятием) [Kroll 1993: 66]. Эта концепция совпадает с определением субор-

динативного типа билингвизма. Джудит Кролл является сторонником смешанной теории, согласно которой перевод с родного языка на иностранный включает понятийную обработку, а перевод с иностранного на родной не должен быть чувствителен к семантике [Kroll 1993: 70], движение от языка 2 к родному должно включать обработку собственно лексических, языковых факторов (фонетическое сходство, частота, грамматические признаки лексем и т. п.). Перефразируем для наших условий: при переводе с русского на чешский сбоек должно быть меньше, при этом при переводе с чешского на русский должно быть меньше сбоек при работе с близкими по форме, но отличающимися по семантике единицами.

Эту точку зрения поддерживает П. Экке, изучающий феномен «на кончике языка». Исследователь отмечает, что лексический поиск в изучаемом языке чаще включает фонологические признаки, а в родном – семантические [Ecke 2009: 198].

Рассмотрим более подробно признаки, влияющие на активацию лексемы.

Основные связи единиц (и способы их активации) в МЛ следующие: фонетический облик (в основном принимается, что это начальные слоги слова), когнитивная информация (отражаемая категория), семантическая информация (связи между единицами, в том числе родовидовые), субъективная частота единицы [Jarvis, Pavlenko 2008]. Скотт Джарвис добавляет также фактор грамматического класса, коллокаций и синтаксических ассоциаций [Jarvis 2009: 100]. С. И. Корниевская полагает, что «при устном продуцировании речи на Я 2 в ситуации учебного двуязычия в лексической конкуренции могут участвовать синонимы, антонимы, симиляры и оппозицы (термины А. А. Залевской) целевого слова, а также слова, связанные с целевым словом по формальным (графически и/или фонологическим) признакам или по комбинации семантических и формальных признаков на обоих языках билингва» [Корниевская 2012: 4]. Вопрос о способе хранения данных параметров в МЛ решается исследователями по-разному: У. Левельт [Levelt 1989] и Н. Пулисс [Poullisse 1993: 177–178] убеждены, что все эти признаки представляют собой отдельные блоки, С. Джарвис – что они «работают» параллельно [Jarvis 2009: 110].

Рассматривая сбои в поиске слова в билингвальном МЛ на «поверхности» текста, используют понятие лексического трансфера – «влияния, которое знание одного языка оказывает на распознавание, интерпретацию, обработку, оценку и реализацию слов в другом языке» [ibid.: 99], при этом различают лексемный трансфер (реали-

зацию фонетической формы и конкретной семантики единицы из языка 1) и лемматический трансфер (перенос семантических компонентов и грамматических признаков единицы одного языка на другую) [ibid.: 102]. К лексемному трансферу относятся следующие «ошибки»: ложные когнаты (в отечественной традиции – ложные друзья переводчика), использование слова из языка 1 (переключение кода), создание новых слов из компонентов двух языков [ibid.: 108]. Причем С. Джарвис указывает, что при близкородственном билингвизме самая частотная ошибка – ложные друзья переводчика [ibid.]. К ошибкам, связанным с лемматическим трансфером, относятся расширение семантики слова, кальки, трансфер коллокаций и субкатегориальный трансфер (ошибки, связанные с ложным заполнением синтаксических узлов) [ibid.].

Данная классификация не отвечает задачам настоящего исследования, во-первых, потому, что ложные когнаты в близкородственных славянских языках могут быть связанными этимологически (а значит, и семантически), и будет осуществляться трансфер не только формы, но и значения, т. е. речь идет уже о лемматическом трансфере. Во-вторых, для флективных языков (а чешский и русский относятся к ним) в зависимости от трансфера морфемы мы будем оказываться или в лексемном трансфере (если морфема деривационная), или лемматическом (если морфема реляционная). В-третьих, субкатегориальный трансфер будем относить к грамматическому, а не к лексическому трансферу, а трансфер коллокаций на практике сложно отличить от калькирования идиоматики (различия – в степени «связанности» единиц). В-четвертых, выбор единицы из другого языка явно отличается от перечисленных «сдвигов» в форме или семантике связанных единиц 1 и 2. Наконец, на «поверхности» текста можно обнаружить также отсутствие отклика вообще (длительную паузу хезитации и незаполненную синтаксическую позицию), что также говорит о сбое доступа к слову в МЛ.

Рассматривая экстралингвистические факторы сбоек в доступе к единицам билингвального лексикона, выделяют факторы родства языков (активация единиц из другого близкородственного языка вероятнее), условия использования языков (чем чаще использование языка, тем вероятнее трансфер единиц из него), недавнее использование (трансфер из недавно активированного языка более частотен), фактор родного / неродного языка при мультилингвизме (из неродного трансфер вероятнее) [ibid.: 110]. С. И. Корниевская вводит фактор «индивидуальных особенностей информантов» [Корниевская 2012: 4],

действие которого можно проверить только лонгитюдными исследованиями с корпусами текстов одних и тех же информантов. Н. Пулисс добавляет также фактор типа задания (при описании изображения или подборе слова по его дефиниции происходят одни сбои, при спонтанном текстопорождении – другие) [Poulisse 1993: 165]. В нашем исследовании проверяется фактор родства языков, фактор родного / неродного языка, активности использования (английский у всех информантов активен в связи с профилем обучения).

Психолингвистическое исследование производства речи билингвами предполагает применение термина «лексические коммуникативные стратегии», т. е. это «стратегии, используемые для разрешения проблем, связанных с неадекватным знанием лексикона второго языка» [Poulisse 1993: 157].

К. Фэрч и Г. Каспер вводят следующую классификацию стратегий: формальная редукция (фонологическая, морфологическая, синтаксическая, лексическая), функциональная редукция (избегание темы, ограничение сообщения, изменение коммуникативной цели при обнаружении проблем), межъязыковая компенсация (переключение кодов, внутриязыковой трансфер (форейнизация), буквальный перевод, межъязыковой трансфер) и внутриязыковая компенсация (генерализация, парафраз, сращение слов, реструктуризация (выбор из тематически связанной группы)). Отдельно рассматриваются кооперативные стратегии (обращение за помощью к адресату) и нелингвистические стратегии (использование невербальных кодов) [Færch, Kasper 1984].

С. И. Корниевская в своем исследовании основывается на данной классификации и описывает две основные группы стратегий при доступе к слову и лексическом выборе: стратегию ухода от лексического поиска (стратегию редуцирования), которая подразделяется на стратегии обобщения, стратегии частичного опущения деталей и стратегии полного опущения деталей; и стратегию осуществления лексического поиска (стратегию достижения цели), делящуюся: 1) на стратегии прерывания (без изменения или с изменением изначального плана речи), 2) стратегии переключения кода, 3) стратегии буквального перевода, 4) стратегии аппроксимации, 5) стратегии поиска с опорой на графическую / звуковую форму слова, 6) стратегии извлечения из памяти, 7) стратегии описания, 8) стратегии поиска синонимов / симиляров [Корниевская 2012: 4].

Э. Келлерман отличает концептуальные стратегии, подразделяемые на аналитические (перечисление свойств объекта) и холистические (называние связанных концептов, напр., *овощи*

вм. *бобы*), и лингвистические, которые, в свою очередь, делятся на морфемные (использование морфем другого языка для создания несуществующих слов) и собственно трансфер [Kellerman 1991]. Данная концепция, как видим, основана на теории концептуально-опосредованного представления единиц билингвального МЛ и блоковости размещения лингвистической информации. Наши данные [Худякова: в печати] опровергают концептуально-опосредованную концепцию.

Материал исследования – 10 спонтанных текстов на тему «О себе» на чешском языке, полученных от филологов-мультилингвов, родной язык для которых – русский. Английским языком информанты владеют на продвинутом уровне, чешским на уровне В1, немецким – на начальном (языки приведены в последовательности изучения). Среди информантов есть также мультилингв, владеющий испанским (после английского) на продвинутом уровне. Общее время звучания текстов 48 минут. Тексты записывались на диктофон, а затем расшифровывались по методике, используемой на кафедре теоретического и прикладного языкознания ПГНИУ: отмечаются фразовые и синтагменные границы, расшифровка отражает сегментные единицы речи, соответствующие различным самоперебивам, недоговоренным частям слов, а также фонациям, сопровождающим hesitant явления. Последние передаются с помощью наиболее подходящих по звучанию графем. Невербальные реакции информантов, такие как смех, вздохи, фиксируются в круглых скобках [Русская спонтанная речь коми-пермяков 2014: 20–23].

Методы исследования. Методы предварительной обработки материала включали семантический анализ (для выявления лексических ошибок), дистрибутивный, слуховой и инструментальный (в программе для обработки и анализа звукового сигнала Speech Analyzer [<https://software.sil.org/speech-analyzer/>]) анализ (для определения единиц на языке, отличном от чешского, и пауз hesitant, маркирующих речевые сбои). Методы анализа материала включали дистрибутивный анализ для определения контекстных факторов неактивации иноязычной лексики, семантический анализ и формально-структурный для исследования не-слов. Элементы статистического анализа применялись для установления частотных типов сбоев доступа.

Анализ материала. Первым этапом анализа было выявление типов трансфера и согласно результатам выяснение экстралингвистических факторов ошибок доступа к слову. Каждая ошибка относилась только к одной группе, далее рассматривалась совместная встречаемость оши-

бок в ближайших контекстах. Результаты сведены в таблицу с указанием абсолютных частот встречаемости.

Типы ошибок доступа к слову и их частота Types of Word Access Errors and their Frequency

Тип ошибки доступа	Частота, абс.
Межъязыковой трансфер морфем	23
Вставка русского слова	20
Внутриязыковой трансфер морфем (чешский)	16
Обращение к помощи адресата	12
Нулевой доступ (незаполненная позиция)	9
Ложный друг переводчика	7
Расширение семантики	3
Вставка испанского слова	3
Вставка английского слова	2
Калька из родного языка	2
Трансфер русской фонетической формы	2

Как видно из таблицы, наиболее частотные типы ошибок доступа – это межъязыковой трансфер морфем, вставка русского слова и внутриязыковой трансфер морфем, что опровергает мнение С. Джарвиса о преобладании ложных друзей переводчика среди явлений трансфера при близкородственном билингвизме. Повидимому, спонтанные условия производства текста делают фактор времени более значимым: студенты активно вставляют русские слова (20 случаев), что часто связано с диалогизацией, обращением за помощью к адресату (12 случаев); кроме того, временной фактор является причиной нулевого доступа (9 случаев). Спонтанное текстопорождение вообще не предусматривает реализации так называемых «когнитивных стратегий» (описательной стратегии или подбора среди семантически связанных слов). Далее, как видим, экстралингвистический фактор активности языка играет незначительную роль: заимствований из активных английского и испанского всего 5, при этом из близкородственного русского – в 4 раза больше. К экстралингвистическим факторам поведения при ошибке доступа отнесем тип адресата: активное привлечение диалогизации, обращение к помощи адресата связано с тем, что экспериментатор, владеющий двумя языками – русским и чешским, был знаком информантам.

Рассмотрим подробнее каждый тип явлений.

Самый частотный тип ошибок доступа – межъязыковой трансфер морфем. К. де Бот и Р. Шредер так же, как и Н. Пулисс, считают, что лексема и морфосинтаксический компонент находятся в разных блоках формализатора [Bot, Schreuder 1993: 205], что приводит к выбору смешанных корня и морфем из Л1 и Л2, и мор-

фосинтаксис, по их мнению, планируется раньше лексикализации. Таким образом, они полагают, что при активированном втором языке нормальная реализация корня иностранного языка (заполняется позже при ошибке активации) и служебных морфем родного языка, но не обратная ситуация [Poullisse 1993: 177]. Нами было обнаружено 13 случаев, отвечающих их схеме (корень чешский + русские морфемы, например, *za hranicu*² «за границу», *překladyvat* «переводить», *pracuje* «работает»). Среди этих 13 – 2 случая с переключением кодов внутри лексемы (*jazyk...-ov* «языков»), 3 случая заполнения чешскими морфемами русской словообразовательной модели (*slouchat* ср. *слушать*, *končení*, ср. *окончание* и *конец*, *v budouci*, ср. *в будущем*). Важно подчеркнуть при этом, что обнаружено 7 случаев реализации русской корневой морфемы и чешской – реляционной (*razné (jazyky)* «разные (языки)», *rodni (jazyk)* «родной (язык)», *češský* «чешский», *poesii* «поэзию» – винит. пад.), что опровергает мнение о последовательном заполнении морфосинтаксиса и затем – лексики.

Вставка русского слова встретилась 20 раз, причем 14 из них изолированно. Некоторые из неактивированных чешских единиц являются малочастотными, напр.: *v budoucnosti bude svazana s cizími jazyky // A... / dnes... / a... / mám examen... / z... / z... / a... / examen //* «В будущем будет связана с иностранными языками. А сегодня у меня экзамен по... экзамен»; *Bydlím v svůj domi na prospektě Dekabristov* «Живу в собственном доме на проспекте Декабристов»; *Ono nemá infrastrukturu* «У него нет инфраструктуры»; *Můj otec pracuje jako businessman* «Мой отец работает бизнесменом». Значительные сложности у студентов вызывали приставочные глаголы: *Chtěla bych zakončit univerzitu, a pojechat zahraničí* «Хотела бы закончить университет и поехать за границу». Подобное явление (с активированной чешской фонетической формой) можно объяснить конкуренцией с однокоренными (но с иными морфемами) чешскими единицами, ср., *skončit* «закончить» и *pojet* «поехать», что подтверждает наш вывод о конкуренции единиц не на уровне лексем, а на уровне деривационных морфем.

Вставка русского слова связана со стратегией помощи со стороны адресата: 6 случаев из 20 реализованы после вопросов экспериментатору, т. е. активированный русский язык способствовал полной активации и русской лексемы, напр., *Máte «У нас есть» не знаю, как переводится нефть; Не знаю как будет посёлок. Můžu malovat «Могу рисовать» а как краски? // (шепотом) в смысле виды разные / виды // Я как раз не знаю / масляными.*

Логично далее рассмотреть случаи диалогизации (их 12). Помимо указанных прямых вопросов экспериментатору, в одном случае использованы невербальные средства обращения к помощи: *Chtěla bych съездить?* «Я бы хотела съездить?» (интонация вопроса только на русской лексеме, мимические средства просьбы о подтверждении). В двух случаях участники исследования обращаются к коммуниканту на чешском языке: *nemam jak mluvit... каскад прудов* «не знаю, как говорить каскад прудов», *Máte ještě otázky?* «У вас есть еще вопросы?». В трех случаях обращение к адресату является реакцией на его вопрос на чешском языке, уточняющей понимание вопроса или указывающей на невозможность распознать слово: *Сколько жителей? ramatu...? [nějaké pamětihodnosti]* «какие-то достопримечательности» (смех) *что это? Zaměstnání?* «Работа?» *А что это значит?* Таким образом, в момент производства текста активными являются 2 языка и метаязыковая деятельность осуществляется на родном: в случае ошибки распознавания активизируется родной язык.

Третье место по частоте встречаемости (16 случаев) – у специфического явления, не зафиксированного в литературе по активации иноязычного слова, – внутриязыкового трансфера морфем (чешского). Данные ошибки являются результатом работы только внутри чешскоязычного лексикона и сверхобобщения правил чешского языка. Часть ошибок связана с освоением словообразовательных ресурсов чешского языка (продуктивных) и производством лексем онлайн: *Němečtina* (вм. исключения *němčítina* «немецкий язык»), *Čínsko* «Китай» (по аналогии с *Německo*, *Španělsko*, *Turecko* и под.), *odpočuju* (*odpočovat* вм. *odpočívat* «отдыхать» – интересно, что здесь смешались именно суффиксы инфинитивов *ova* и *iva*, а затем по продуктивной модели была произведена регулярная форма). Следует обратить внимание на паузу хезитации на стыке морфем: *Má mamí...čka* (вм. *tatínka*) «Моя мамо...чка». Наконец, очевидно, что леммы хранятся целым кустом с присущими им грамматическими формами и иногда выбирается существующая, но не подходящая данной грамматической форме единица: *jedenáčka* (вм. *Jedináček* «единственный ребенок»), образовано от *jeden*), *čest* (вм. *Číst* «читать»), образовано от *četl*), *pat... pět* «пять» (от *pátý*). В последнем примере информант активировал неверную форму леммы, а затем выбрал верную.

Из анализа данной группы можно сделать ряд выводов. При близкородственном билингвизме значительно раньше, чем при неблизкородственным, устанавливаются лемматические связи

внутри самого иноязычного лексикона. Говорить о последовательном производстве (сначала морфосинтаксические позиции, затем леммы) нельзя: сами леммы производятся онлайн в процессе порождения речи. В лексиконе синтетических языков, особенно при системном обучении грамматике, хранятся сразу все формы одной леммы как куст (и при успешном доступе к «кусту» может избираться неверная форма). Наконец, хранятся и корневые, и деривационные морфемы, и отдельно по регулярным правилам порождения производятся лексемы. Для близкородственных языков можно предположить связи не только лексемы и лексемы, но и морфемы и морфемы (и производство единиц в процессе текстопорождения), при этом наш анализ опровергает мнение о последовательности кодирования морфосинтаксиса и лексики.

Нулевой доступ зафиксирован в 9 случаях. Один случай характеризуется сбоем грамматической программы – в лексиконе отсутствует единица, отвечающая грамматическим признакам узла: *Těším se na... že to bude bohatý a hezký měsíc* «Надеюсь на... что это будет богатый и прекрасный месяц» (требуется существительное, но информант только описательно смог передать смысл). Близки этому явлению 3 случая ошибки доступа, обусловленные контролем за выполнением кодирования. В первом примере реализована неверная форма глагола, что привело к сбою программы и последующему исправлению: *Vybrala / proto že* (пауза) // *Vybrala jsem proto že / líbí se mi cizí jazyky...* «Выбрала, потому что... Я выбрала, потому что мне нравятся иностранные языки». Во втором примере после ошибки лексического доступа (реализации русской лексемы) информант пытается заполнить ту же позицию, но уже нулем: *jeho obrazy jsou moc neobvyčny* // *oni moc...* (пауза) // *Oni ta* (пауза 1 мин.) (вздых) «его картины очень необычны. Они очень... В них есть...». В 5 случаях информанты избирают редуционистскую стратегию – просто не завершают высказывание при затруднениях в активации лексемы, что подтверждается знаком прерывания («все») и невербальным компенсаторным средством (смехом): *Já jsem...* (пауза 1 мин.) «Я являюсь...»; *vařím jídlo / nebo a... / čtu / a... / knihy...* (пауза 46 сек.) «готовлю еду или а... читаю а... книги»; *Byla jsem České Republice / v Praze* (пауза) // *to je všechno* // *V Praze to je všechno* // «Я была в Чешской Республике, в Праге. Это все. В Праге это все»; *studovat cizí jazyky a komunikovat s lidí / čest literaturu (a...) / všechno* // «изучать иностранные языки и общаться с людьми, читать литературу. Все»; *Libí se mi knihy / ruské a anglický knihy* / (пауза) (смех) «Мне нравятся книги, русские и

английские книги». Данные примеры можно интерпретировать двумя способами: как ошибку лексического доступа и как затруднения в планировании программы текста (по У. Левельту, это еще блок концептуализатора [Levelt 1989: 9–10]), поскольку далее наблюдается нарушение глобальной связности текста, фокус внимания перемещается (от путешествий – к друзьям).

В 7 случаях встречается вставка ложного когната, по С. Джарвису, самое частотное явление в близкородственном лексиконе. Собственно ложных друзей переводчика использовано 5 (из них 4 – форма *druhý* (чеш. «второй») в значении «другой, иной»), 2 других примера – скорее коллокационное явление – использование прилагательного *bohatý* (*měsíc*) «богатый» в переносном значении, свойственном только русскому языку, и *družná* (*rodina*) – дословный перевод русской коллокации «дружная семья» (ср. чешское *družný* – «общительный»).

Этим явлениям близки две кальки «прилагательное + jazyk» (вместо использования деривационного аффикса). Вероятно (особенно для постоянной активации у разных информантов лексемы *druhý*), частота русской лексемы активировала русскую форму. В остальных примерах продемонстрирован не собственно доступ к слоту МЛ, а производство единиц по моделям, перенесенным из родного языка.

Причиной расширения семантики чешских единиц (3 случая: *skončila* (*univerzitu*) «закончила университет»; *neznám* «не знаю»; *znám* «знаю») считаем явление, которое А. Павленко назвала «неосвоенностью понятия» [Pavlenko 2009: 150]: в русском языке для абстрактной характеристики окончания дела и для обозначения завершения обучения в вузе существует одно имя «закончить» (понятия «окончание вуза» нет), а в чешском есть 2 понятия и, соответственно, два имени (*skončit* и *absolvovat*); при такой ситуации учебный билингв реализует понятие родного языка и, соответственно, выбирает имя-когнат русскоязычного. Подобная ситуация наблюдается с понятиями «знания» – визуально-практического (*znát*) и теоретического (*vědet*), – понятно, что информанты избирают имя-когнат русского «знать».

Вставок из более активно изучаемых языков в наших примерах оказалось неожиданно мало (всего 5), причем для английского активировалась только фонетическая форма, но не признаки лексемы (активированы вполне чешские): *Univerzité* и *monumenty*. У одного информанта наблюдается собственно переключение кода на испанский (*v stressu situaci* «в стрессовой ситуации») и в двух случаях использование неполнозначной лексемы, поддержанной сходством

форм чешского и испанского языков (ср. самоисправление *Mi... má život je dobře* «Моя жизнь – хорошо»). Как видим, экстралингвистический фактор активности языка мультилингва оказывается незначительным в случае наличия в лексиконе близкородственного языка.

Нам встретилось всего 2 случая переноса русской фонетической формы *Jeuropi* и *z jiných mest...měst* «из других городов», связанных с активацией неверной формы когнатов. Количество таких переносов, по-видимому, обусловлено путем движения по лексикону от родного – к иностранному (при котором фонетический принцип играет меньшую роль, чем при обратном движении). Однако данное предположение необходимо проверять.

Выводы. Среди экстралингвистических факторов, оказывающих влияние на ошибку лексического доступа к лексикону мультилингва, на первом месте находится родство языков, далее – реципиент-дизайн (знание о собеседнике и доступных ему языках) и дефицит времени («нули» доступа). Фактор активности языков на нашем материале показал значительно меньший вес.

Тип и ранги по частоте встречаемости ошибок лексического доступа должны проверяться на конкретных парах генетически и типологически охарактеризованных языков. Наш материал обнаружил иное распределение рангов, чем было показано С. Джарвисом для родственных английского и шведского языков. Формирование внутренних связей в иноязычном близкородственном лексиконе происходит, вероятно, раньше, чем в неблизкородственном, что подтверждается наличием в материале незафиксированного ранее в исследованиях лексического трансфера явления внутриязыкового (чешского) трансфера (ср. с данными Т. И. Доценко и Ю. Е. Лещенко для начального и продвинутого уровня русско-английского билингвизма).

Наш анализ опровергает модульную (последовательную) концепцию кодирования лингвистической информации при производстве речи. Более того, единицы билингвального лексикона могут состоять как из связанных лемм одной лексемы (и отбор при активации происходит сначала к кусту, а затем к единицам внутри куста), так и из деривационных морфем, которые активируются вместе с корневыми по правилам производства слова.

Не претендуя на полноту описания, отметим, что среди контекстных факторов неактивации иноязычных единиц наш анализ показал предшествующую активацию родного языка, сбой при заполнении глубинно-синтаксической позиции и, возможно, более ранний сбой программы текста («не о чем больше сказать»).

Примечания

¹ Здесь и далее перевод осуществлен автором статьи.

² Перевод чешских примеров, осуществленный автором статьи, не отражает лексико-грамматические ошибки оригинала.

Список литературы

Глазанова Е. В. Типы связей в ментальном лексиконе и экспериментальные методы их исследования: автореф. дис. ... канд. филол. наук. СПб., 2001. 27 с.

Доценко Т. И., Леценко Ю. Е. Универсальные структуры и их функции в ментальном лексиконе билингва // Труды СПИИРАН. 2013. Вып. 2(25). С. 371–384.

Корниевская С. И. Доступ к слову при устном продуцировании речи на иностранном языке в ситуации учебного двуязычия: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Тверь, 2012. 19 с.

Секекина И. А. Психолингвистика (Морфологическая организация и ментальный лексикон) // Фундаментальные направления современной американской лингвистики: сб. обзоров / под ред. А. А. Кибрика, И. М. Кобозевой, И. А. Секекиной. М.: Едиториал УРСС, 2002. С. 231–260.

Русская спонтанная речь коми-пермяков: национальные традиции: звучащая хрестоматия / кол. авт.; науч. ред. Т. И. Ерофеева; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. Пермь, 2014. 112 с.

Худякова Е. С. Факторы активации единиц ментального лексикона при близкородственном билингвизме // Филологические заметки (в печати).

Bot K. de, Schreuder R. Word Production and the Bilingual Lexicon // The Bilingual Lexicon / ed. Robert Schreuder and Bert Weltens / Studies in Bilingualism (SIBIL) / ed. Kees de Bot & Thom Huebner. Vol. 6. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 1993. P. 191–214.

Ecke P. The Tip-of-the-Tongue Phenomenon as a Window on (Bilingual) Lexical Retrieval // The Bilingual Mental Lexicon. Interdisciplinary Approaches / ed. Aneta Pavlenko / Bilingual Education & Bilingualism. Bristol; Buffalo; Toronto: Multilingual Matters, 2009. P. 185–208.

Færch C., Kasper G. Two Ways of Defining Communication Strategies // Language Learning. 1984. 34(1). P. 45–63.

Groot A. M. B. de. Word-Type Effects in Bilingual Processing Tasks: Support for a Mixed-Representational System // The Bilingual Lexicon / ed. Robert Schreuder and Bert Weltens / Studies in Bilingualism (SIBIL) / ed. Kees de Bot & Thom Huebner. Vol. 6. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 1993. P. 27–52.

Jarvis S. Lexical Transfer // The Bilingual Mental Lexicon. Interdisciplinary Approaches / ed. Aneta Pavlenko / Bilingual Education & Bilingualism. Bristol; Buffalo; Toronto: Multilingual Matters, 2009. P. 99–124.

Jarvis S., Pavlenko A. Crosslinguistic Influence in Language and Cognition. N. Y., London: Routledge, 2008. 287 p.

Kellerman E. Compensatory Strategies in a Second Language: a Critique, a Revision, and Some (Non-) Implications for the Classroom // Foreign / Second Language Pedagogy Research / ed. by R. Phillipson, E. Kellerman, L. Selinker, M. Sharwood Smith and M. Swain. Clevedon: Multilingual Matters, 1991. P. 142–161.

Kroll J. F. Accessing Conceptual Representations for Words in a Second Language // The Bilingual Lexicon / ed. Robert Schreuder and Bert Weltens / Studies in Bilingualism (SIBIL) / ed. Kees de Bot & Thom Huebner. Vol. 6. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 1993. P. 53–82.

Levelt W. J. M. Speaking: From Intention to Articulation. Cambridge, MA: Bradford Books/MIT press, 1989. xvii+566 p.

Pavlenko A. Conceptual Representation in the Bilingual Lexicon and Second Language Vocabulary Learning // The Bilingual Mental Lexicon. Interdisciplinary Approaches / ed. Aneta Pavlenko / Bilingual Education & Bilingualism. Bristol; Buffalo; Toronto: Multilingual Matters, 2009. P. 125–160.

Poullisse N. A Theoretical Account of Lexical Communication Strategies // The Bilingual Lexicon / ed. Robert Schreuder and Bert Weltens / Studies in Bilingualism (SIBIL) / ed. Kees de Bot & Thom Huebner. Vol. 6. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 1993. P. 157–190.

Schreuder R., Weltens B. The Bilingual Lexicon: An Overview // The Bilingual Lexicon / ed. Robert Schreuder and Bert Weltens / Studies in Bilingualism (SIBIL) / ed. Kees de Bot & Thom Huebner. Vol. 6. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 1993. P. 1–10.

References

Glazanova E. V. *Tipy svyazey v mental'nom leksikone i eksperimental'nye metody ikh issledovaniya*. Avtoreferat diss. kand. filol. nauk [Types of connections in the mental lexicon and experimental methods of their study. Abstract of Cand. philol. sci. diss.]. St. Petersburg, 2001. 27 p. (In Russ.)

Dotsenko T. I., Leshchenko Yu. E. Universal'nye struktury i ikhfunktsii v mental'nom leksikone bilingva [Universal structures and their functions in bilingual mental lexicon]. *Trudy SPIIRAN* [SPIIRAS Proceedings], 2013, issue 2 (25), pp. 371–384. (In Russ.)

Kornievskaya S. I. *Dostup k slovu pri ustnom produtsirovanii rechi na inostrannom yazyke v situatsii uchebnogo dvuyazychiya*. Avtoreferat diss. kand. filol. nauk [Word access in oral production of speech in a foreign language in the situation of educational bilingualism. Abstract of Cand. philol. sci. diss.]. Tver, 2012. 19 p. (In Russ.)

Sekerina I. A. *Psikholingvistika (Morfologicheskaya organizatsiya i mental'nyy leksikon)* [Psycholinguistics (Morphological organization and mental lexicon)]. *Fundamental'nye napravleniya sovremennoy amerikanskoy lingvistiki. Sbornik obzorov* [Fundamental Trends of Modern American Linguistics. Collection of reviews]. Ed. by A. A. Kibrik, I. M. Kobozeva, I. A. Sekerina. Moscow, Editorial URSS Publ., 2002, pp. 231–260. (In Russ.)

Russkaya spontannaya rech' komi-permyakov: natsional'nye traditsii: zvuchashchaya khrestomatiya [Russian spontaneous speech of the Komi-Permyaks: national traditions: sounding reader]. Ed. by T. I. Erofeeva. Perm, Perm State University Press, 2014. 112 p. (In Russ.)

Khudyakova E. S. *Faktory aktivatsii edinits mental'nogo leksikona pri blizkorodstvennom bilingvisme* [Factors of activating units of mental lexicon in closely related bilingualism]. *Filologicheskie zametki* [Philological Studies] (in print). (In Russ.)

Bot K. de, Schreuder R. *Word Production and the Bilingual Lexicon*. *The Bilingual Lexicon*. Ed. by Robert Schreuder and Bert Weltens. Studies in Bilingualism (SIBIL). Ed. by Kees de Bot & Thom Huebner. Amsterdam, Philadelphia, John Benjamins Publishing Company, 1993, vol. 6, pp. 191–214. (In Eng.)

Ecke P. *The Tip-of-the-Tongue Phenomenon as a Window on (Bilingual) Lexical Retrieval*. *The Bilingual Mental Lexicon. Interdisciplinary Approaches*. Ed. by Aneta Pavlenko. Bilingual Education & Bilingualism. Bristol, Buffalo, Toronto, Multilingual Matters, 2009, pp. 185–208. (In Eng.)

Faerch C., Kasper G. *Two Ways of Defining Communication Strategies*. *Language Learning*, 1984, 34 (1), pp. 45–63. (In Eng.)

Groot A. M. B. de. *Word-Type Effects in Bilingual Processing Tasks: Support for a Mixed-Representational System*. *The Bilingual Lexicon*. Ed. by Robert Schreuder and Bert Weltens. Studies in Bilingualism (SIBIL). Ed. by Kees de Bot & Thom

Huebner. Amsterdam, Philadelphia, John Benjamins Publishing Company, 1993, vol. 6, pp. 27–52. (In Eng.)

Jarvis S. *Lexical Transfer. The Bilingual Mental Lexicon. Interdisciplinary Approaches*. Ed. by Aneta Pavlenko. Bilingual Education & Bilingualism. Bristol, Buffalo, Toronto, Multilingual Matters, 2009, pp. 99–124. (In Eng.)

Jarvis S., Pavlenko A. *Crosslinguistic Influence in Language and Cognition*. NY, London, Routledge, 2008, 287 p. (In Eng.)

Kellerman E. *Compensatory Strategies in a Second Language: a Critique, a Revision, and Some (Non-) Implications for the Classroom*. *Foreign/Second Language Pedagogy Research*. Ed. by R. Phillipson, E. Kellerman, L. Selinker, M. Sharwood Smith and M. Swain. Clevedon, Multilingual Matters, 1991, pp. 142–161. (In Eng.)

Kroll J. F. *Accessing Conceptual Representations for Words in a Second Language*. *The Bilingual Lexicon*. Ed. by Robert Schreuder and Bert Weltens. Studies in Bilingualism (SIBIL). Ed. by Kees de Bot & Thom Huebner. Amsterdam, Philadelphia, John Benjamins Publishing Company, 1993, vol. 6, pp. 53–82. (In Eng.)

Levelt W. J. M. *Speaking: From Intention to Articulation*. Cambridge, MA, Bradford Books/MIT press, 1989, xvii+566 p. (In Eng.)

Pavlenko A. *Conceptual Representation in the Bilingual Lexicon and Second Language Vocabulary Learning*. *The Bilingual Mental Lexicon. Interdisciplinary Approaches*. Ed. by Aneta Pavlenko. Bilingual Education & Bilingualism. Bristol, Buffalo, Toronto, Multilingual Matters, 2009, pp. 125–160. (In Eng.)

Poullisse N. *A Theoretical Account of Lexical Communication Strategies*. *The Bilingual Lexicon*. Ed. by Robert Schreuder and Bert Weltens. Studies in Bilingualism (SIBIL). Ed. by Kees de Bot & Thom Huebner. Amsterdam, Philadelphia, John Benjamins Publishing Company, 1993, vol. 6, pp. 157–190. (In Eng.)

Schreuder R., Weltens B. *The Bilingual Lexicon: An Overview*. *The Bilingual Lexicon*. Ed. by Robert Schreuder and Bert Weltens. Studies in Bilingualism (SIBIL). Ed. by Kees de Bot & Thom Huebner. Amsterdam, Philadelphia, John Benjamins Publishing Company, 1993, vol. 6, pp. 1–10. (In Eng.)

ACCESS TO UNITS OF MULTILINGUAL MENTAL LEXICON IN SPONTANEOUS TEXTS

Ekaterina S. Khudyakova

Associate Professor in the Department of Theoretical and Applied Linguistics

Perm State University

15, Bukireva st., Perm, 614990, Russian Federation. khudiakova.es@gmail.com

SPIN-code: 9692-4489

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-2529-301X>

ResearcherID: I-5075-2018

Submitted 29.05.2018

The article poses a problem of identification and typology of intra-linguistic and extralinguistic factors of lexical access error, which is on the whole connected with the study of relations between multilingual lexicon units. The purpose of the article is to consider the word access errors in case of multilingualism in the process of generating a spontaneous text in a closely related language (in Czech, with Russian as the native language). The material for the research are spontaneous monologues produced by Russian multilingual students. Using the methods of semantic, distributive and formal-structural analysis, the typology of access errors (in terms of lexical transfer) with their frequency characteristics is obtained. It is shown that the most frequent types of access errors are interlingual transfer of morphemes, insertion of a Russian word and intralingual transfer of morphemes, which refutes the opinion of Western linguists about the prevalence of the translator's false friends among transfer phenomena in closely related bilingualism. The extralinguistic factors of access errors are related to language kinship, recipient design and lack of time. Thus, it is proved that the conditions of spontaneous production of text lead to an increase in the number of some types of access errors – 'zero access' and recourse to the addressee. The research proves that the set of error classes and the frequency of their implementation in speech are specific for a particular pair of closely related languages and the conditions for their use. The frequency intra-linguistic transfer of morphemes (within the Czech language), as well as selection by lemmas of the same lexeme and an online production of a unit are found. These phenomena are obviously connected with the richness of the derivational and relational resources of the pair of closely related Slavic languages. This conclusion refutes the consistent modular concept of speech production, which was put forward on the basis of the English language.

Key words: multilingualism; mental lexicon; lexical access; lexical transfer; lexical communication strategies; closely related bilingualism.

УДК 81'42

doi 10.17072/2037-6681-2019-1-69-80

КАТЕГОРИАЛЬНО-ТЕКСТОВОЙ ПОДХОД К ОПИСАНИЮ ПИСЬМЕННОГО ДИСКУРСА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

Мария Андреевна Ширинкина**к. филол. н., доцент кафедры русского языка и стилистики****Пермский государственный национальный исследовательский университет**

614990, Россия, г. Пермь, ул. Букирева, 15. m555a@yandex.ru

SPIN-код: 2096-0890

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-6951-0653>

ResearcherID: G-9997-2017

*Статья поступила в редакцию 01.10.2018***Просьба ссылаться на эту статью в русскоязычных источниках следующим образом:**

Ширинкина М. А. Категориально-текстовый подход к описанию письменного дискурса исполнительной власти // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2019. Т. 11, вып. 1. С. 69–80. doi 10.17072/2037-6681-2019-1-69-80

Please cite this article in English as:

Shirinkina M. A. Kategorial'no-tekstovoy podkhod k opisaniyu pis'mennogo diskursa ispolnitel'noy vlasti [The Categorical Textual Approach to Describing the Written Discourse of the Executive Power]. *Vestnik Permskogo universiteta. Rossiyskaya i zarubezhnaya filologiya* [Perm University Herald. Russian and Foreign Philology], 2019, vol. 11, issue 1, pp. 69–80. doi 10.17072/2037-6681-2019-1-69-80 (In Russ.)

Обосновывается категориально-текстовый подход к изучению жанров письменного дискурса исполнительной власти. Сопоставляются понятия *речевой жанр* и *текст*. Речевой жанр понимается как типовая модель построения текста, функционирующего в повторяющихся коммуникативных ситуациях. При этом модель жанрового текстотипа представляет собой вариант проявления текстовых категорий в пределах инвариантной функции дискурса исполнительной власти (как своеобразной внутрителиевой разновидности) и – далее – макростилия в целом. Текстовая категория трактуется как типологический признак текста, позволяющий квалифицировать этот текст как образец определенного текстотипа.

Определяется набор категорий, показательных для анализа письменных жанров дискурса исполнительной власти: категория темы, композиции, авторизации, адресации, тональности. Отбор указанных категориальных признаков объясняется основными параметрами коммуникативной ситуации, а также спецификой особого вида социокультурной деятельности в сфере государственного управления.

Описывается методика категориально-текстового анализа материала, включающая три этапа: 1) выявление коммуникативной интенции автора текста; 2) перечисление разноуровневых языковых средств выражения текстовых категорий и характеристика их расположения на ткани текста; 3) построение жанровой модели экспликации текстовых категорий. Делается вывод о том, что категориально-текстовый анализ позволит описать целостную систему письменных жанров дискурса исполнительной власти на единых основаниях.

Выдвинутые теоретические положения демонстрируются на материале одного из жанров дискурса исполнительной власти – делового письма, в котором дается ответ на обращение гражданина. Автором установлены особенности реализации названных текстовых категорий в структурных элементах документа, сделаны выводы о доминировании тональности, представлена жанровая модель реализации текстовых категорий в официальном письме-ответе.

Ключевые слова: лингвистика текста; текстовая категория; дискурс исполнительной власти; речевой жанр; письмо-ответ на обращение гражданина.

Введение

Эффективное управление государством во многом зависит от продуманной, упорядоченной системы и качества документации. Незнание специфики документа зачастую ведет к неверному выбору жанра и языковых средств, влечет за собой деформацию функций государственных органов, негативно сказывается на диалоге власти с обществом. Этим определяется актуальность предпринятого исследования.

Государственное управление в России осуществляется органами исполнительной власти посредством разнообразных документов. Вербально оформленную коммуникацию в области государственного управления мы обозначаем термином *дискурс исполнительной власти* и определяем последний как особую разновидность использования языка в когнитивно-коммуникативной деятельности должностных лиц органов исполнительной власти при осуществлении предписанных законом функций (обоснование понятия см.: [Ширинкина 2017а]). Дискурс исполнительной власти отражает в себе условия общения с различными субъектами и оформляется в виде системы жанров. Жанровые формы исполнительной дискурсивной практики различны: есть среди них собственно деловые (указы, деловые письма, совещания), есть – гибридные с научным и публицистическим стилями (пресс-релизы, аналитические заметки, устные консультации). Таким образом, не всегда можно говорить о единой стилистике этих речевых разновидностей, скорее – о своей, неповторимой стилистике каждой жанровой формы.

Особую позицию в рамках указанного дискурса занимает письменный текст как фиксированный результат коммуникативного взаимодействия исполнительной власти с ее адресатом, обладающий юридическим статусом документа, поэтому мы анализируем только письменные тексты сферы исполнительной власти.

Обзор литературы

В современной лингвистике обнаруживаем разные подходы к решению проблемы типологии текстов: функционально-стилистический [Малиновска 2013]; как его частный вариант интенционально-стилистический [Duskaeva, Kryazheva 2016]; социолингвистический [Палашевская 2012]; ситуативно-прагматический [Глазков 2016]; связанный с интенсивным развитием компьютерной лингвистики – кластерный анализ, предполагающий автоматическое разбиение множества текстов на подмножества по одному или нескольким заданным критериям [Автоматическая...

... 2011; Sheydaei et al. 2015; Soliman et al. 2015], и др. В зарубежном языкознании наблюдается множество работ, посвященных деловым текстам, при этом большинство исследований имеют описательный характер [Cornut et al. 2012; Linguistic Insights 2012; Mautner, Rainer 2016; Патмайр 2013], в том числе преследуют глоттодидактические цели [Grzelak 2010].

Полагаем, что для решения проблемы жанровой типологии дискурса исполнительной власти методически целесообразна категориально-текстовая концепция, разработанная Т. В. Матвеевой [Матвеева 1990] и впоследствии примененная Т. В. Ицкович при построении жанровой системы религиозного стиля. В частности, с помощью этой концепции Т. В. Ицкович обоснован конструктивный принцип религиозного стиля – прототекстуальность, – отражающий опору каждого жанра этой сферы духовной деятельности на канонический прототип-образец, а также описаны субжанровые разновидности религиозных текстов [Ицкович 2016: 10].

По нашему мнению, рассмотрение жанровых форм исполнительной документации в аспекте выражения в них текстовых категорий обеспечит возможность конструирования жанротипологических моделей для использования в практике составления документов. Этот подход в снятом виде отражает состав коммуникативного акта, результатом которого является текст, с разбиением этого акта на компоненты: тему, композицию, авторизацию, адресацию, тональность. Последовательное осмысление частной модели представления каждого компонента с присоединением каждого последующего к предыдущему (-им) создает общую речемыслительную модель жанра-текстотипа.

Прежде чем детально описать сущность категориально-текстового анализа жанров письменного дискурса исполнительной власти, необходимо определить опорные понятия и отношения между ними.

Жанры или, точнее, речевые жанры, по определению М. М. Бахтина, – это «относительно устойчивые тематические, композиционные и стилистические типы высказываний» [Бахтин 1986: 254–255]. Жанр «возникает из внесловесной жизненной ситуации и сохраняет самую тесную связь с ней» [Бахтин 2000: 77], т. е. не может быть вырван из внесловесного контекста. Таким образом, наиболее полный анализ речевого жанра как типа текстов можно получить, лишь учитывая, помимо его языковых особенностей, ту жизненную ситуацию, в которой образуется и функционирует этот текст.

Применительно к высказывающейся личности речевой жанр может быть определен как типичная модель речевого поведения в повторяющихся коммуникативных ситуациях той или иной сферы духовной деятельности человека [Бахтин 1986; Шмелева 1997; Салимовский 2002]. Таким образом, научная ценность понятия «речевой жанр» заключается, по нашему мнению, в его универсальности, поскольку оно 1) в типизированной форме отражает модель коммуникативной деятельности в той или иной сфере общения; 2) предполагает осуществление коммуникантом определенных действий в типичной коммуникативной ситуации; 3) увязывает существование этих моделей с экстралингвистической основой каждой конкретной сферы общения.

Результативно жанр – это модель построения целого текста, а также тип текста, обладающий связностью и целостностью, выраженными специфическими для этого текста языковыми средствами, обусловленными экстралингвистическими факторами.

В науке представлено множество определенных понятия *текст* (Гальперин 1981 (2006); Дридзе 1984 и др.), что свидетельствует о сложности этого объекта. И. Р. Гальперин пишет, что текст – это «некое завершенное сообщение, обладающее своим содержанием, организованное по абстрактной модели одной из существующих в литературном языке форм сообщений (функционального стиля, его разновидностей и жанров) и характеризуемое своими дистинктивными признаками» [Гальперин 2006: 20]. Важно отметить, что, говоря о тексте, мы имеем в виду целое речевое произведение, поскольку оно способно полностью выразить смысл, заложенный автором; отражает структуру речевого акта, признаки взаимодействия коммуникантов; характеризуется особой речевой системностью, определяемой спецификой деятельности в соответствующей сфере общения [Кожина 2002: 26–27].

Жанр как единица речевого общения и деятельности людей представляет собой типовую модель построения целого текста, а значит, ему присущи все перечисленные свойства. При этом в каждой жанровой форме, с одной стороны, проявляются общестилевые черты (действует конструктивный принцип функционального стиля), с другой – находят отражение черты, присущие только этому жанру, детерминируемые параметрами конкретной коммуникативной среды и прежде всего коммуникативным замыслом автора. Т. В. Матвеева, исследуя функциональные стили с точки зрения текстовых категорий, при-

ходит к выводу о том, что «каждая из них реализуется в определенной функционально-стилевой модификации» [Матвеева 1990: 159], а далее – при снижении степени стилистической абстракции до речевого жанра – отличается качественным и количественным своеобразием в употреблении языковых средств.

Определим понятие текстовой категории. Текстовая категория трактуется как «один из взаимосвязанных признаков текста, представляющий собой отражение определенной части текстового смысла различными языковыми, речевыми и собственно текстовыми (композитивными) средствами» [Матвеева 2003а: 533]. Важно подчеркнуть, что каждая категория представлена в ткани текста на всем развитии. Текстовая категория – это типологический признак текста, значит, в каждом тексте обязательно проявляют себя те или иные признаки, которые реализуемой их совокупностью средств позволяют квалифицировать этот текст как определенный тип. Чрезвычайно важно при этом, что «текст никогда не моделируется одной текстовой категорией, но всегда их совокупностью» [Матвеева 1990: 13].

Хотя типологические признаки текстов многие годы остаются предметом пристального внимания лингвистов (Гальперин 1981 (2006); Москальская 1981; Тураева 1994; Бортников 2015; Ицкович 2016 и др.), в этой области еще далеко не все изучено. Так, Т. В. Матвеевой определены функционально-стилистические особенности проявления основных текстовых категорий – тематической целостности, локальности и темпоральности, оценочности и тональности, а также логического развертывания и композиции [Матвеева 1990]. Представляется возможным применить эту методику к особому коммуникативному пространству – дискурсу исполнительной власти и его каждому конкретному жанру, при этом предварительно требуется определить набор текстовых категорий, совокупность которых будет достаточной для формирования жанровых моделей в рамках названного дискурса, а в дальнейшем – создания целостной системы жанров указанного коммуникативного пространства.

Отбор категорий должен быть связан с основными особенностями и компонентами коммуникативной ситуации (автор – предмет речи – адресат), в нашем случае – ситуации порождения деловых текстов. Опираясь на одно из основных положений теории права о трех ветвях государственной власти (законодательной, судебной и исполнительной), отметим, что исполнительная власть осуществляет особую юридическую дея-

тельность – исполнительно-распорядительную, т. е. совершает государственное управление. Это означает, что обобщенно интенциональную направленность всех письменных текстов исполнительной власти можно охарактеризовать как управление государством, включающее, в частности, исполнение законов, контроль и надзор, учет, прогнозирование и мн. др.

Предметом речи в текстах, которые создаются в результате перечисленных видов деятельности, становятся различные правовые действия, направленные на реализацию законов; при этом целый текст имеет определенную структуру, состоит из отдельных частей. По упомянутому уже определению М. М. Бахтина, тема и композиция, наряду со стилистическими особенностями, являются основными критериями существования речевого жанра. Аналогичные мысли высказывает К. Brinker: он утверждает, что для определенных типов текста характерно свое текстовое содержание и форма тематического развития [Brinker 2010: 76–77]. Исходя из сказанного, считаем весьма важным рассмотреть текстовую категорию **темы**, которая находит отражение в тематических группах лексики и, проявляя себя на всем пространстве текста, оказывается тесно связанной с категорией **композиции**.

Участниками общения в сфере исполнительной власти выступают, с одной стороны, должностные лица, с другой – абсолютно разные субъекты (другие должностные лица, граждане, представители СМИ и т. д.). Отношения между ними строятся по вертикальной оси, т. е. обусловлены их статусом в системе государственной власти или вне ее. С опорой на сказанное можно утверждать, что чрезвычайно значимыми для анализа жанров-текстотипов письменного дискурса исполнительной власти представляются категории **авторизации** и **адресации**.

Общение между указанными коммуникантами имеет в основном строго официальный характер, хотя существуют и такие жанровые текстотипы, которым свойствен отказ от официальности и построение речи в виде рекомендации, совета, обусловленные дополнительной целью популяризации правовых знаний (например, информационные материалы, изданные в форме красочных брошюр для населения), следовательно, при категориально-текстовом описании этих жанров невозможно обойти категорию **тональности** как «отражения эмоционально-волевой установки автора текста» [Матвеева 2003б: 549].

Таким образом, для письменных жанров дискурса исполнительной власти релевантными оказываются категории темы, композиции, автори-

зации, адресации и тональности. Иными словами, отбор указанных текстовых категорий не случаен. Они имеют единое экстралингвистическое основание – профессиональную деятельность представителей исполнительной власти при осуществлении определенной законом функции управления государством.

Итак, алгоритм анализа жанровых форм письменного дискурса исполнительной власти в категориально-текстовом аспекте с учетом положений функциональной стилистики заключается в следующем.

Первым шагом анализа является установление коммуникативной интенции составителя текста, на основании которой текст будет отнесен к определенной группе жанров, объединенных конкретным видом деятельности в рамках государственного управления. В частности, нами выявлено, что для исполнительной власти характерны три основных вида социально значимой деятельности: 1) исполнительно-распорядительная, в результате которой создаются *предписательные* тексты; 2) деятельность по организации обратной связи с обществом, реализуемая в *эпистолярных* жанрах; 3) информирование, предполагающее обеспечение доступа различных субъектов к сведениям о деятельности государственных органов, дающее начало для формирования многочисленной группы *информационно-справочных* текстов.

Далее целые тексты различных жанровых разновидностей будут рассмотрены в аспекте перечисленных текстовых категорий. Каждую категорию в тексте предполагается рассматривать в статике и динамике. Статический аспект текстовой категории будет заключаться в выявлении ядерных (с одной стороны, частотных, с другой – более точно отражающих специфику этой категории) разноуровневых языковых средств. Динамический аспект предполагает описание последовательности этих средств в тексте и его частях как отражение текстообразующей деятельности автора, реализующего интенцию.

Заключительный этап состоит в построении модели каждого жанрового текстотипа как совокупности присущих ему специфических особенностей проявления названных текстовых категорий.

Анализ материала

Проиллюстрируем высказанные положения на примере письма-ответа власти на обращение гражданина. Деловое письмо-ответ относится к группе эпистолярных жанров, направлено на по-

строение диалога власти с обществом и, как следует из названия, нацелено дать ответ на конкретное обращение гражданина в органы власти.

Тема. Прежде чем характеризовать категорию темы в письме-ответе, подчеркнем значимость для него принципа тематического соответствия письму-обращению, который заключается в следующем: в ответном письме обязательно должны быть отражены все темы, заявленные гражданином в инициативном письме.

Категория темы реализуется в тексте номинативными цепочками. Первый компонент цепочки появляется в тематическом заголовке перед основным текстом и эксплицируется предложно-падежной конструкцией с предлогом *о/об*: *Об обслуживании жилого дома; О невыплате пособия «Мамин выбор»*. Далее в основном тексте выстраивается цепочка различных тематических номинаций. Приведем примеры тематических цепочек обращения гражданина и соответствующего ответа, в которых говорится о неудовлетворительном состоянии помещений жилого многоквартирного дома:

– в обращении: *дом ... по ул. В. Фигнер – дом – дом № ...*;

– в письме-ответе: *жилой дом – жилой дом № ... по ул. Веры Фигнер – многоквартирный дом – дом – дом – указанный жилой дом – жилищный фонд*.

Схематически это можно изобразить так:

– в обращении: *абв*;

– в письме-ответе: *а//б/вГГде*.

Из приведенного примера видно, что основной номинацией оказывается опорное наименование *дом*, на базе которого структурно или семантически формируются все остальные номинации: атрибутивно-именные словосочетания – простые (*жилой дом; многоквартирный дом*), с определением *указанный (указанный жилой дом)* или развернутые (*дом ... по ул. В. Фигнер; жилой дом № ... по ул. Веры Фигнер*) – и, наконец, гипероним *жилищный фонд*. Степень обобщенности номинаций зависит от их места в структуре рассуждения автора: «обезличенная» номинация *жилой дом* употребляется в тематическом заголовке; развернутая с указанием номера дома и адреса – во вводной части письма; номинация, характеризующаяся наибольшей степенью обобщенности (*жилищный фонд* как совокупность всех жилых помещений), употребляется в заключительной части текста, в которой составитель делает основной вывод: рекомендует гражданину в случае возникновения разногласий с руководством

управляющей компании обратиться в контролирующее учреждение.

Композиция делового письма стандартна (заголовки и трехчастный текст). Однако в отличие от большинства деловых текстов жанровый заголовок в письме отсутствует; тематический заголовок имеет статус самостоятельного компонента, располагается обычно перед текстом слева и кратко сообщает основную тему.

Вводную часть начинает этикетная формула обращения к адресату (*Уважаемый Иван Алексеевич!*), расположенная отдельной строкой по центру над текстом письма. Для удобства далее на схеме этикетная формула представлена в столбце «композиция» самостоятельным элементом (см. схему ниже).

Собственно вводная часть маркируется стереотипными конструкциями (*Рассмотрев Ваше обращение о ..., сообщаем следующее; В ответ на Ваше обращение, поступившее главе города, о ... сообщаем*) и отражает мотив составления и основное содержание письма. Глагол *сообщать* сигнализирует об информативном, а не строго предписательном характере текста.

Основная часть обычно содержит собственно сообщение, если гражданин запросил какую-либо информацию, или рассуждение на проблемную тему, если гражданин жалуется на нарушение его конституционных прав. В последнем случае текст письма-ответа имеет трехчастную структуру и строится по законам рассуждения: проблемная тема-тезис, аргументы с опорой на нормативные акты и вывод, который может быть как положительным, так и отрицательным (отказом).

Авторизация манифестируется прежде всего в реквизитах «наименование организации» и «подпись», последний из которых включает наименование должности ответственного лица и указание на его фамилию, имя и отчество, хотя, безусловно, деловому письму, как и большинству деловых текстов, присущ типовой автор, персонифицирующий официальную организацию.

Составитель текста – должностное лицо, уполномоченное содержательно отвечать на обращения граждан; это его положение определяет отношение к описываемым ситуациям: автор текста констатирует фактические обстоятельства и правовые нормы, а также предлагает гражданину возможные варианты решения проблемы. Таким образом, оказывается, что основные средства выражения категории авторизации в письме-ответе совпадают с маркерами тональности.

При этом составитель письма-ответа может проявить личное отношение к проблеме гражданина, которое эксплицируется средствами смягчения категоричности при формулировании отказа (*На основании изложенного многоквартирный дом №... не представляется возможным включить в проект списка капитального ремонта на 2008 год*), вводными словами с семантикой сожаления (*К сожалению, на сегодняшний день не существует специально оборудованных мест для сбора крупногабаритного мусора...*), а также глаголами-перформативами или глагольно-именными словосочетаниями на их основе, выражающими извинение и благодарность (*Приносим Вам извинения за работу сотрудника и одновременно выражаем благодарность за то, что в данной ситуации Вы нашли возможность довести информацию до комитета*).

Адресация. Письмо может быть адресовано конкретному лицу или группе лиц – коллективному адресату, что находит отражение в специальном реквизите, содержащем индивидуальные данные (фамилию, имя, отчество, адрес, иногда – должность или статус).

Кроме того, ориентация на адресата в речевой ткани текста эксплицируется употреблением особых языковых единиц, явно направленных на получателя, «семантически независимых от темы» [Баженова 2001: 210] текста и служащих для оформления последнего. Маркерами адресации в письме-ответе являются:

– этикетная формула обращения, извинения и благодарности;

– личное местоимение 2-го лица (*Вы* – этикетное при обращении к индивидуальному адресату; *вы* – мн. ч. – к коллективному) и производное от него притяжательное местоимение (*Ваше, ваши*);

– специальные конструкции, сигнализирующие о смысловой важности информации и привлекающие внимание адресата: *обращаем Ваше внимание; следует обратить внимание*. Подчеркнем, что употребление этих средств в деловом стиле весьма ограничено, что связано с их особой эмоциональностью, которая противопоставлена деловым текстам. В основном должностные лица используют эти конструкции в тех случаях, когда гражданин неоднократно обращается с одной и той же проблемой, а эти эмоционально окрашенные языковые средства помогают усилить психологическую сторону обоснования позиции власти по рассматриваемому вопросу;

– операторы, помогающие автору обозначить дополнительную информацию: *кроме того / также / дополнительно сообщаем;*

– стереотипные единицы, выражающие отношения следования и идентифицирующие вывод: *учитывая вышеизложенное; на основании сказанного; таким образом;*

– на текстовом уровне – четкое абзацное и композиционное членение.

В тексте это может выглядеть так: *Кроме того, обращаю Ваше внимание на то, что в настоящее время через остановочный пункт «Профилакторий» проходят автобусный маршрут № 20 и маршрутные такси № 7т и № 8т.*

Все перечисленные средства полифункциональны: во-первых, они служат для выражения личности автора, его отношения к ситуации и собеседнику, во-вторых, для управления вниманием адресата, в-третьих, для структурирования информации, ее последовательного изложения.

Тональность мы понимаем вслед за Т. В. Матвеевой как отражение эмоционально-волевой установки автора текста; функционально-семантическое поле тональности включает три семантических компонента – субполя (далее СП) эмоциональности, волеизъявления и интенсивности (Матвеева 2003б: 549).

Нами установлено, что в директивных жанрах дискурса исполнительной власти преобладает СП *волеизъявления*, представленное четырьмя микросубполями (обязывания, дозволения, запрета и констатации / установления) [Ширинкина 2017б]. В отличие от этого, в деловом письме СП *волеизъявления* реализуется сочетанием двух микросубполей – *рекомендации* и *констатации*, при этом без оттенка установления, поскольку деловое письмо не является нормативным актом. Средствами выражения микроСП *рекомендации* выступают глаголы-перформативы соответствующей семантики (*советовать, рекомендовать*), модально-инфинитивные конструкции со значением возможности и необходимости (*мочь / иметь право / необходимо + инфинитив*). Например: *За более подробной информацией предлагаем обратиться в отдел Свердловского района управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю.*

Основными сигналами микроСП *констатации* являются формы настоящего и прошедшего времени глаголов и кратких причастий в констатирующих значениях, а также отсылочные конструкции *в соответствии с..., на основании ..., согласно ...: Такого заявления ни от одной организации в администрацию района не поступало; В целях сохранения существующего покрытия проезда в качестве основания комиссией принято решение о производстве работ по фрезеро-*

ванию минимальной толщины. В тональности констатации выдержаны фрагменты текста, в которых описываются фактические обстоятельства или приводятся доводы в пользу предлагаемого гражданину решения проблемы; последние представляют собой ссылки на положения нормативных документов и цитаты из них: *В соответствии с п. 3 ст. 154 ЖК РФ от 29.12.2004 № 188-ФЗ собственники жилых помещений несут расходы на их содержание и ремонт, а также оплачивают коммунальные услуги в соответствии с договорами...*

Таким образом, психологические краски делового эпистолярного обусловлены его назначением и особым статусом. Деловое письмо не является нормативным актом, а следовательно, не влечет за собой обязательного выполнения адресатом отраженных в нем способов поведения. Стоит отметить, что автор-составитель должен дать квалифицированный – обязательно опирающийся на нормативную базу – ответ гражданину, но не предписывать ему совершать какие-то действия, констатируя реальные факты и правовые нормы, выдерживать рассуждение в форме совета, рекомендации. Исходя из этого второй компонент тональности – СП *интенсивности* – накладывается на семантику волеизъявления и проявляет себя в письмах как некатегоричность предписания.

Третья составляющая тональности – СП *эмоциональности* – обнаруживается как официальный тон и реализуется в письмах теми же языковыми единицами, которые употребляются в других документах: канцеляризмами, официонимами и другими средствами книжности.

Составим жанровую модель реализации текстовых категорий в письме-ответе на обращение гражданина (ср. жанровую схему письма о намерении (statement of purpose), которую разработали С. López-Ferrero и С. Bach [López-Ferrero, Bach 2016]). Учитывая практическую направленность модели, будем «отталкиваться» от предлагаемого в практике делопроизводства формуляра делового письма, включающего следующие реквизиты: наименование организации, ее структурного подразделения или должности ответственного лица; адресат; дата; заголовок к тексту; текст; подпись. Не углубляясь в дискуссию о соотношении понятий *формуляр* и *композиция* применительно к документу (см. об этом: [Марьева 2015]), далее соотнесем с реквизитами элементы композиции текста. Затем охарактеризуем

своеобразие выражения текстовых категорий и отразим их экспликацию в каждом из реквизитов документа (см. схему на следующей странице).

Таким образом, из схемы видно: категория тональности присуща всем обязательным структурным компонентам письма-ответа, что характерно в целом для официально-делового стиля, основная функция которого заключается в выражении волеизъявления от лица государства. Категории авторизации и адресации связаны прежде всего с конкретными реквизитами, при этом им свойствен дискретный способ представления в тексте, в том числе с помощью маркеров тональности. Категория темы имеет непосредственное отношение к основному тексту письма, не проявляя себя в рамочных реквизитах; ее экспликация с помощью тематической цепочки континуальна и прослеживается последовательно в тематическом заголовке, вводной, основной и заключительной частях текста. Композиция как структурная текстовая категория, организующая содержание текста, выполняет текстообразующую функцию, помогает составителю оформить текст в соответствии с нормами официально-делового стиля и облегчить восприятие текста адресатом.

Выводы

Итак, исследование жанров письменного дискурса исполнительной власти в категориально-текстовом аспекте относится к сфере взаимодействия функциональной стилистики, жанроведения и лингвистики текста и заключается в описании жанровых текстотипов на основе типологических признаков текста, специфика проявления которых экстралингвистически обусловлена.

Для полного описания письменных жанровых разновидностей дискурса исполнительной власти оказываются релевантными текстовые категории темы, композиции, авторизации, адресации и тональности. При этом доминирующей для деловых текстов выступает категория тональности, формирующая рекомендательно-констатирующий настрой официального письма-ответа на обращение гражданина.

Полагаем, что сближение исследовательских возможностей перечисленных научных направлений способно привести к социально значимым результатам в практико-прикладной области, например, выработке научно и методологически обоснованных рекомендаций по составлению качественных деловых текстов определенной жанровой принадлежности.

Жанровая модель реализации текстовых категорий в письме-ответе на обращение гражданина
Genre Model of Text Categories Implementation in the Letter of Response to a Citizen's Appeal

ФОРМУЛЯР ДОКУМЕНТА	КОМПОЗИЦИЯ	ТЕМА	АВТОРИЗАЦИЯ	АДРЕСАЦИЯ	ТОНАЛЬНОСТЬ
Совокупность обязательных реквизитов	– стандартная: включает заголовок и три части текста	– должна соответствовать теме / всем темам, заявленным гражданином; – выражается тематической цепочкой	– типовой автор, персонифицирующей официальную организацию; – имеет статус должностного лица, уполномоченного давать официальные ответы на обращения граждан	– гражданин / представитель общественной организации; – может быть индивидуальным / коллективным (Вы / вы; Ваше / ваше обращение)	– СП <i>волеизъявления</i> доминирует (представлено микроСП <i>рекомендации</i> и микроСП <i>констатации</i>); – СП <i>интенсивности</i> (выражается в некатегоричности предписания); – СП <i>эмоциональности</i> (формирует официальный тон)
1. Наименование организации или должности ответственного лица			– наименование организации или должности ответственного лица и указание его ф.и.о.		– официальный тон; – <i>констатация</i>
2. Адресат				– ф.и.о. и адрес	– официальный тон
3. Дата					– официальный тон; – <i>констатация</i>
4. Заголовок к тексту	– есть тематический заголовок; – нет жанрового заголовка	– тематическая номинация в предложном падеже с предлогом <i>о / об</i>			– <i>констатация</i>
5. Текст	– этикетная формула обращения			– Уважаемый+имя и отчество адресата	– официальный тон
	– вводная часть (Рассмотрев Ваше обращение, ...)	– тематическая номинация в предложном падеже с предлогом <i>о / об</i>	– глагол <i>сообщать</i> в форме 1-го л. ед. или мн. ч.	– притяжательное местоимение <i>Ваш / ваши</i>	– <i>рекомендация</i> в сочетании с <i>констатацией</i>
	– основная часть (сообщение информации; обоснование предлагаемого решения проблемы)	– тематические номинации, различные по структуре и степени конкретизации	– <i>рекомендация</i> в сочетании с <i>констатацией</i> ; – средства смягчения отказа (<i>к сожалению; не представляется возможным</i>); – этикетные формулы благодарности и извинения (<i>присоединяем извинения; благодарим</i>)	– мест. 2-го лица (<i>Вы / вы</i>); – притяжательное мест. (<i>Ваш / ваши</i>); – этикетные формулы извинения и благодарности; – конструкции привлечения внимания; – маркеры дополнительной информации; – абзацное членение текста	
	– заключение (вывод – вариант решения проблемы)	– обычно включает наиболее общую тематическую номинацию		– конструкции вывода (<i>учитывая изложенное, итак таким образом,</i>)	
6. Подпись			– наименование должности, ф.и.о. и подпись должностного лица		– официальный тон; – <i>констатация</i>

Список литературы

- Баженова Е. А.* Научный текст в аспекте политекстуальности. Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 2001. 272 с.
- Бахтин М. М.* Проблема речевых жанров // Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1986. С. 250–296.
- Бахтин М. М.* Фрейдиизм. Формальный метод в литературоведении. Марксизм и философия языка. М.: Лабиринт, 2000. 625 с.
- Большакова Е. И. и др.* Автоматическая обработка текстов на естественном языке и компьютерная лингвистика / Е. И. Большакова, Э. С. Клышинский, Д. В. Ландэ, А. А. Носков, О. В. Пескова, Е. В. Ягунова. М.: МИЭМ, 2011. 272 с.
- Бортников В. И.* Категориально-текстовая идентификация вариантов художественного текста: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Екатеринбург, 2015. 27 с.
- Гальперин И. Р.* Текст как объект лингвистического исследования. М.: URSS, 2006. 144 с.
- Глазков А. В.* Ситуация и текст: о типологии фактуальных текстов // Преподаватель XXI век. 2016. № 4–2. С. 578–588.
- Дридзе Т. М.* Текстовая деятельность в структуре социальной коммуникации. М.: Наука, 1984. 268 с.
- Ицкович Т. В.* Жанровая систематизация религиозного стиля на коммуникативно-прагматическом и категориально-текстовом основаниях: автореф. дис. ... д-ра филол. наук. Екатеринбург, 2016. 42 с.
- Кожина М. Н.* Целый текст как объект стилистики текста // Кожина М. Н. Речеведение и функциональная стилистика: вопросы теории. Пермь: Перм. ун-т, Прикам. соц. ин-т, Прикам. современный соц.-гуманит. колледж, 2002. С. 16–35.
- Малиновска Е.* Официально-деловой стиль – его статус, особенности и категории // Стилистика как речеведение: сб. науч. трудов славянских стилистов, посвящ. памяти проф. М. Н. Кожиной / под ред. проф. Л. Р. Дускаевой. М.: Флинта, 2013. С. 235–243.
- Марьева М. В.* Композиция документа: аспекты рассмотрения и уровни построения // Концепт. 2015. № 10. URL: <http://e-koncept.ru/2015/15348.htm> (дата обращения: 03.08.2018).
- Матвеева Т. В.* Текстовая категория // Стилистический энциклопедический словарь русского языка / под ред. М. Н. Кожиной. М.: Флинта: Наука, 2003а. С. 533–536.
- Матвеева Т. В.* Тональность // Стилистический энциклопедический словарь русского языка / под ред. М. Н. Кожиной. М.: Флинта: Наука, 2003б. С. 549–552.
- Матвеева Т. В.* Функциональные стили в аспекте текстовых категорий. Свердловск: Урал. ун-т, 1990. 172 с.
- Москальская О. И.* Грамматика текста. М.: Высш. шк., 1981. 183 с.
- Палашевская И. В.* Жанровая организация юридического дискурса: социолингвистический подход // Вестник Удмуртского университета. История и филология. 2012. № 2. С. 146–151.
- Ратмайр Р.* Русская речь и рынок: Традиции и инновации в деловом и повседневном общении. М.: Языки слав. культуры, 2013. 456 с.
- Салимовский В. А.* Жанры речи в функционально-стилистическом освещении (научный академический текст). Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 2002. 236 с.
- Тураева З. Я.* Лингвистика текста и категория модальности // Вопросы языкознания. 1994. № 3. С. 105–114.
- Ширинкина М. А.* Документы исполнительной власти в функционально-стилистической системе русского языка // Известия УрФУ. Сер. 2. Гуманитарные науки. 2017а. Т. 19, № 2(163). С. 134–146.
- Ширинкина М. А.* Категория тональности в директивных документах исполнительной власти // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2017б. Т. 9, вып. 3. С. 60–68. doi 10.17072/2037-6681-2017-3-60-68.
- Шмелева Т. В.* Модель речевого жанра // Жанры речи. Саратов, 1997. С. 88–98.
- Brinker K.* Linguistische Textanalyse: Eine Einführung in Grundbegriffe und Methoden. Berlin: Erich Schmidt Verlag, 2010. 164 S.
- Cornut F., Giroux H., Langley A.* The Strategic Plan as a Genre // Discourse & Communication. 2012. Vol. 6(1). P. 21–54. doi <https://doi.org/10.1177/1750481311432521>.
- Duskaeva L., Kryazheva A.* Inner Differentiation of the Prosecutorial Professional Style // XLinguae. 2016. Vol. 9, № 1. P. 47–58. doi 10.18355/XL.2016.09.01.47-58.
- Grzelak J.* Polski język prawa – w perspektywie glottodydaktycznej: praca doktorska. Poznań, 2010. 464 s.
- Linguistic Insights: Studies in Language and Communication.* Vol. 152. Researching Discourse in Business Genres: Cases and Corpora / P. Gillaerts, G. Jacobs, S. Dieltjens, E. de Groot (eds.). Bern: Peter Lang, 2012. 215 p.
- López-Ferrero C., Bach C.* Discourse Analysis of Statements of Purpose: Connecting Academic and Professional Genres // Discourse Studies. 2016.

Vol. 18(3). P. 286–310. doi <https://doi.org/10.1177/1461445616634553>.

Mautner G., Rainer F. Handbook of Business Communication: Linguistic Approaches. Berlin; Boston: De Gruyter, 2016. 712 p.

Sheydaei N., Saraee M., Shahgholian A. A Novel Feature Selection Method for Text Classification Using Association Rules and Clustering // Journal of Information Science. 2015. Vol. 41(1). P. 3–15. doi <https://doi.org/10.1177/0165551514550143>.

Soliman S., El-Sayed M., Hassan Y. Semantic Clustering of Search Engine Results // The Scientific World Journal. Vol. 2015. Article ID 931258. doi <https://doi.org/10.1155/2015/931258>.

References

Bazhenova E. A. *Nauchnyy tekst v aspekte politekstual'nosti* [Scientific Text in Terms of its Polytextuality]. Perm, Perm State University Press, 2001. 272 p. (In Russ.)

Bakhtin M. M. Problema rechevykh zhanrov [The Problem of Speech Genres]. Bakhtin M. M. *Estetika slovesnogo tvorchestva* [Bakhtin M. M. The Aesthetics of Verbal Creativity]. Moscow, Iskusstvo Publ., 1986, pp. 250–296. (In Russ.)

Bakhtin M. M. *Freydizm. Formal'nyy metod v literaturovedenii. Marksizm i filosofiya yazyka* [Freudianism. Formal Method in Literary Criticism. Marxism and Philosophy of Language]. Moscow, Labirint Publ., 2000. 625 p. (In Russ.)

Bol'shakova E. I. et al. *Avtomaticheskaya obrabotka tekstov na estestvennom yazyke i komp'yuternaya lingvistika* [Automatic Processing of Natural Language Texts and Computational Linguistics]. Ed. by Bol'shakova E. I., Klyshinskiy E. S., Lande D. V., Noskov A. A., Peskova O. V., Yagunova E. V. Moscow, MIEM Press, 2011. 272 p. (In Russ.)

Bortnikov V. I. *Kategorial'no-tekstovaya identifikatsiya variantov khudozhestvennogo teksta*. Avtoref. diss. ... kand. filol. nauk [Categorical Text Identification of Variants of the Literary Text. Abstract of Cand. philol. sci. diss.]. Ekaterinburg, 2015. 27 p. (In Russ.)

Gal'perin I. R. *Tekst kak ob'ekt lingvisticheskogo issledovaniya* [Text as an Object of Linguistic Research]. Moscow, Editorial URSS Publ., 2006. 144 p. (In Russ.)

Glazkov A. V. Situatsiya i tekst: o tipologii fakturnykh tekstov [Situation and Text: on the Typology of the Factual Texts]. *Prepodavatel' 21 vek* [Prepodavatel XXI vek], 2016, issue 4–2, pp. 578–588. (In Russ.)

Dridze T. M. *Tekstovaya deyatel'nost' v strukture sotsial'noy kommunikatsii* [Textual Activity in

the Structure of Social Communication.]. Moscow, Nauka Publ., 1984. 268 p. (In Russ.)

Itskovich T. V. *Zhanrovaya sistematizatsiya religioznogo stilya na kommunikativno-pragmaticheskom i kategorial'no-tekstovom osnovaniyakh*. Avtoref. ... diss. d-ra filol. nauk [Genre Systematization of Religious Style on Communicative-pragmatic and Categorical Text Basis. Abstract of Dr. philol. sci. diss.]. Ekaterinburg, 2016. 42 p. (In Russ.)

Kozhina M. N. Tselyy tekst kak ob'ekt stilistiki teksta [The whole text as an object of text style]. Kozhina M. N. *Rechevedenie i funktsional'naya stilistika: voprosy teorii* [Kozhina M. N. Speech studies and functional stylistics: Theory.]. Perm, Perm State University Press, Prikamsky Social Institute Press, Prikamsky Contemporary College of the Social Sciences and Humanities Press, 2002, pp. 16–35. (In Russ.)

Malinovska E. Ofitsial'no-delovoy stil' – ego status, osobennosti i kategorii [Official Business Style – its Status, Features and Categories]. *Stilistika kak rechevedenie: Sbornik nauchnykh trudov slavyanskikh stilistov, posvyashchenny pamyati professora M. N. Kozhinoy* [Stylistics as speech studies: Collection of scientific works of Slavic stylists dedicated to the memory of professor M. N. Kozhina]. Ed. by Professor L. R. Duskaeva. Moscow, Flinta Publ., 2013, pp. 235–243. (In Russ.)

Mar'eva M. V. Kompozitsiya dokumenta: aspekty rassmotreniya i urovni postroeniya [Document's composition: the aspects of considerations and the levels of buildings]. *Kontsept* [Koncept], 2015, issue 10. Available at: <http://e-koncept.ru/2015/15348.htm>. (accessed 03.08.2018). (In Russ.)

Matveeva T. V. *Tekstovaya kategoriya* [Text Category]. *Stilisticheskii entsiklopedicheskiy slovar' russkogo yazyka* [The Stylistic Encyclopedic Dictionary of the Russian Language]. Ed. by M. N. Kozhina. Moscow, Flinta: Nauka Publ., 2003a, pp. 533–536. (In Russ.)

Matveeva T. V. Tonal'nost' [Tonality]. *Stilisticheskii entsiklopedicheskiy slovar' russkogo yazyka* [The Stylistic Encyclopedic Dictionary of the Russian Language]. Ed. by M. N. Kozhina. Moscow, Flinta, Nauka Publ., 2003b, pp. 549–552. (In Russ.)

Matveeva T. V. *Funktsional'nye stili v aspekte tekstovykh kategoriy* [Functional styles in terms of text categories]. Sverdlovsk, Ural State University Press, 1990. 172 p. (In Russ.)

Moskal'skaya O. I. *Grammatika teksta* [Text Grammar]. Moscow, Vysshaya Shkola Publ., 1981. 183 p. (In Russ.)

- Palashevskaya I. V. Zhanrovaya organizatsiya yuridicheskogo diskursa: sotsiolingvisticheskiy podkhod [Genre organization of legal discourse: sociolinguistic approach]. *Vestnik Udmurtskogo universiteta. Istoriya i filologiya* [Bulletin of Udmurt University. Series History and Philology], 2012, issue 5–2, pp. 146–151. (In Russ.)
- Rathmayr R. *Russkaya rech' i rynek: Traditsii i innovatsii v delovom i povsednevnom obshchenii* [Russian speech and market: Traditions and innovations in business and everyday communication]. Moscow, LRC Publishing House, 2013. 456 p. (In Russ.)
- Salimovskiy V. A. *Zhanry rechi v funktsional'no-stilisticheskoy osveshhenii (nauchnyy akademicheskoy tekst)* [Speech genres in terms of their functions and stylistics (scientific academic text)]. Perm, Perm State University Press, 2002. 236 p. (In Russ.)
- Turaeva Z. Ya. Lingvistika teksta i kategoriya modal'nosti [Text linguistics and the category of modality]. *Voprosy yazykoznaniiya* [Topics in the Study of Language], 1994, issue 3, pp. 105–114. (In Russ.)
- Shirinkina M. A. Dokumenty ispolnitel'noy vlasti v funktsional'no-stilisticheskoy sisteme russkogo yazyka [Executive documents in the functional styles system of the Russian language]. *Izvestiya UrFU. Seriya 2. Gumanitarnye nauki* [Izvestia of Ural Federal University. Series 2. Humanities and Arts], 2017, vol. 19, issue 2(163), pp. 134–146. (In Russ.)
- Shirinkina M. A. Kategoriya tonal'nosti v direktivnykh dokumentakh ispolnitel'noy vlasti [The Category of Tonality in the Directive Documents of the Executive Branch]. *Vestnik Permskogo universiteta. Rossiyskaya i zarubezhnaya filologiya* [Perm University Herald. Russian and Foreign Philology], 2017, vol. 9, issue 3, pp. 60–68. (In Russ.)
- Shmeleva T. V. Model' rechevogo zhanra [Model of Speech Genre]. *Zhanry rechi* [Speech Genres]. Saratov, 1997, pp. 88–98. (In Russ.)
- Brinker K. *Linguistische Textanalyse: eine Einführung in Grundbegriffe und Methoden*. Berlin, Erich Schmidt Verlag, 2010. 164 p. (In Germ.)
- Cornut F., Giroux H., Langley A. The Strategic Plan as a Genre. *Discourse & Communication*, 2012, vol. 6, issue 1, pp. 21–54. doi: <https://doi.org/10.1177/1750481311432521>. (In Eng.)
- Duskaeva L., Kryazheva A. Inner Differentiation of the Prosecutorial Professional Style. *XLinguae*, 2016, vol. 9, issue 1, pp. 47–58. doi: [10.18355/XL.2016.09.01.47-58](https://doi.org/10.18355/XL.2016.09.01.47-58). (In Eng.)
- Grzelak J. *Polski język prawa – w perspektywie glottodydaktycznej: praca doktorska* [The Polish legal language – with the view of glottodidactics: Dr. diss.]. Poznań, 2010. 464 p. (In Pol.)
- Linguistic insights: studies in language and communication*. Vol. 152. Researching Discourse in Business Genres: Cases and Corpora. Ed. by P. Gillaerts, G. Jacobs, S. Dieltjens, E. de Groot. Bern, Peter Lang, 2012. 215 p. (In Eng.)
- López-Ferrero C., Bach C. Discourse Analysis of Statements of Purpose: Connecting Academic and Professional Genres. *Discourse Studies*, 2016, vol. 18, issue 3, pp. 286–310. doi: <https://doi.org/10.1177/1461445616634553>. (In Eng.)
- Mautner G., Rainer F. *Handbook of Business Communication: Linguistic Approaches*. Berlin, Boston, De Gruyter, 2016. 712 p. (In Eng.)
- Sheydaei N., Saraee M., Shahgholian A. A Novel Feature Selection Method for Text Classification Using Association Rules and Clustering. *Journal of Information Science*, 2015, vol. 41, issue 1, pp. 3–15. doi: <https://doi.org/10.1177/0165551514550143>. (In Eng.)
- Soliman S., El-Sayed M., Hassan Y. Semantic Clustering of Search Engine Results. *The Scientific World Journal*, 2015, vol. 2015, article ID 931258, 9 p. doi: <https://doi.org/10.1155/2015/931258>. (In Eng.)

THE CATEGORICAL TEXTUAL APPROACH TO DESCRIBING THE WRITTEN DISCOURSE OF THE EXECUTIVE POWER

Mariya A. Shirinkina

Associate Professor in the Department of Russian Language and Stylistics

Perm State University

15, Bukireva st., Perm, 614990, Russian Federation. m555a@yandex.ru

SPIN-code: 2096-0890

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-6951-0653>

ResearcherID: G-9997-2017

Submitted 01.10.2018

The article considers the categorical textual approach to studying genres of the written discourse of the executive power. The concepts of *speech genre* and *text* are compared. Speech genre is understood as a typical model of text construction, functioning in repetitive communicative situations. In this case, the model of a genre text type is a variant of manifestation of the text categories within the invariant function of the executive discourse (as a kind of specific intra-stylistic variety), and then – of the macro style in general. Text category is interpreted as a typological feature of the text, which makes it possible to qualify this text as a sample of a certain text type.

A set of categories essential for the analysis of genres of the executive power written discourse is determined: the categories of theme, composition, authorization, addressing and tonality. The selection of the above mentioned categorial features is justified by the major parameters of a communicative situation, as well as by the specificity of a particular sociocultural activity in the sphere of public administration.

The author describes an algorithm of categorical textual analysis of the selected material, which consists of three stages: 1) revealing the addresser's communicative intention; 2) enumerating linguistic means of various levels used to express text categories and characterizing the way these are arranged throughout the text; 3) constructing a genre model of explication of the text categories. It is concluded that categorical textual analysis enables us to describe the whole system of written genres of the executive power discourse on a common basis.

The proposed theoretical provisions are demonstrated based on one of the genres of the executive power discourse – a business letter containing an official response to a citizen's appeal. The author of the article determines the features of the implementation of the mentioned text categories in the structural elements of the document, draws conclusions about the dominance of the category of tonality, outlines the genre model of implementing text categories in the letter of response to a citizen's appeal.

Key words: text linguistics; text category; executive discourse; speech genre; letter of response to a citizen's appeal.

ЛИТЕРАТУРА В КОНТЕКСТЕ КУЛЬТУРЫ

УДК 821.161.1: 908
doi 10.17072/2037-6681-2019-1-81-88

ПРОБА ПЕРА: О НЕОПУБЛИКОВАННОЙ СКАЗКЕ ЛЬВА КУЗЬМИНА «ЗВЕЗДА СЧАСТЬЯ»

Марина Петровна Абашева

д. филол. н., профессор кафедры теории, истории литературы
и методики преподавания литературы

Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет
614990, Россия, г. Пермь, ул. Сибирская, 24. m.abasheva@gmail.com

профессор кафедры журналистики и массовых коммуникаций

Пермский государственный национальный исследовательский университет
614990, Россия, г. Пермь, ул. Букирева, 15

SPIN-код: 2169-4629

ORCID: <http://orcid.org/0000-0001-5720-7916>

ResearcherID: P-8012-2016

Анна Ивановна Зырянова

аспирант кафедры теории, истории литературы и методики преподавания литературы

Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет

614990, Россия, г. Пермь, ул. Сибирская, 24. ann506343@yandex.ru

SPIN-код: 5300-5311

ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-4670-6167>

ResearcherID: P-7384-2017

Статья поступила в редакцию 07.11.2018

Просьба ссылаться на эту статью в русскоязычных источниках следующим образом:

Абашева М. П., Зырянова А. И. Проба пера: о неопубликованной сказке Льва Кузьмина «Звезда счастья» // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2019. Т. 11, вып. 1. С. 81–88. doi 10.17072/2037-6681-2019-1-81-88

Please cite this article in English as:

Abasheva M. P., Zyryanova A. I. Proba pera: o neopublikovannoy skazke L'va Kuz'mina «Zvezda schast'ya» [First Attempt at Writing: about the Unpublished Tale by Lev Kuzmin 'The Star of Happiness']. *Vestnik Permskogo universiteta. Rossiyskaya i zarubezhnaya filologiya* [Perm University Herald. Russian and Foreign Philology], 2019, vol. 11, issue 1, pp. 81–88. doi 10.17072/2037-6681-2019-1-81-88 (In Russ.)

Статья содержит литературоведческий анализ неопубликованной сказки пермского писателя Льва Ивановича Кузьмина (1928–2000), а также ее историко-литературный комментарий. Текст с названием «Звезда счастья» представляет собой рукопись (машинопись), подписанную лично автором. Он обнаружен в личном архиве писателя, находящемся в Пермском краеведческом музее. В настоящей работе осуществлены атрибуция, приблизительная датировка рукописи, анализ структуры и генезиса текста. Сказка «Звезда счастья», предположительно написанная еще до переезда Льва Кузьмина в Пермь, в Ленинграде или в Кемеровской области, где Кузьмин трудился в качестве бригадира на стройке, стала первым литературным опытом начинающего писателя. Анализ жанровой природы текста, его структуры в соответствии с методикой анализа сказки В. Я. Проппа и в соотношении с существующими указателями сказочных сюжетов показал, что авторская сказка Л. И. Кузьмина содержит редуцированные свойства былины, сказа (сказания), рудименты героиче-

ского эпоса (богатырской сказки), объединенные специфической для советской культуры 1950-х гг. жанровой формой «новины». Новина – авторская стилизация фольклора, посвященная актуальному (как правило, политическому) событию. Поводом для создания сказки «Звезда счастья» стал договор между Советским Союзом и Китайской Народной Республикой и визит в Москву Мао Цзэдуна в 1949–1950 гг. В работе, кроме архивных материалов, использованы комментарии сына писателя Андрея Львовича Кузьмина. Проведенный анализ позволяет уточнить состав литературного наследия Льва Кузьмина и прояснить механизмы функционирования властного, политического, литературного, фольклорного дискурсов в массовом сознании 1950-х гг.

Ключевые слова: литературная сказка; Лев Кузьмин; советская литература; постфольклор; новина.

В советской детской литературе сказки Льва Ивановича Кузьмина (1928–2000) занимают заметное место. Он один из самых известных авторов, работавших в сказочном жанре в 1960–1990-е гг. По данным библиографического указателя, составленного работниками Пермской областной (в настоящее время – краевой) детской библиотеки, которая носит его имя¹, за 35 лет творческой деятельности писателя издано около девяноста его книг, общий тираж которых превысил 10 миллионов. Его произведения для детей («Серый гусь», 1962, «Неземная красота», 1965, «Бабка-липка», 1973, «Колечко», 1972, «Бумажный самолетик», 1973 и др.) публиковались в популярных коллективных сборниках Перми: «Оляпка» (см. подробнее: [Бочкарева, Табункина 2011: 78, 85]), «Молодой человек» (поменявший потом свое название на «Горизонт»), «Прикамье». Лев Кузьмин сотрудничал со столичными детскими журналами: «Колобок», «Детская литература». Его тексты («Грустная Элизабет», 1983, «Желтый с красным», 1984, «Светлячок на ладошке», 1985, «Чудесное яблоко: Рассказ о художнике Ефиме Честнякове», 1985) переведены на английский, немецкий, японский, чешский и другие языки. По сюжетам сказок Кузьмина созданы мультфильмы, диафильмы: «Сказка про доброго слона» (1970), «Май-мастеровой, необыкновенная машина и король-вояка» (1971).

Литературная критика не обходила Льва Кузьмина своим вниманием. Его заметили в начале пути (В. Зубков, Я. Вохменцев), его сказкам давали оценку столичные критики (Н. Халатов, Б. Бегак). Впервые к исследованию специфики сказок Кузьмина обратился критик и редактор Святослав Сахарнов в статье «О литературной сказке» (1979). Он рассматривает повесть-сказку «Капитан Коко и Зеленое Стеклышко» в ряду известных текстов столичных авторов: «Крокодил Гена и Чебурашка» Э. Успенского (1969), «Книжка про Гришку» Р. Погодина (1977) (см.: [Сахарнов 1979: 14]). В двухтысячные годы исследователи изучают жанровую природу произведений Л. Кузьмина (Л. Ларикова, Н. Князева).

Однако в истории литературы порой парадоксальным образом оказывается интересным то, что не было опубликовано, – тексты, не вошедшие в текущий литературный процесс по причинам идеологического, политического, личного характера. Обнаруженная нами сказка, входившая в личный семейный архив Льва Кузьмина, переданный вдовой писателя Марией Григорьевной Кузьминой в 2006 г. в архив Пермского краеведческого музея, много говорит об эпохе, в которую она была написана, но не опубликована. Рукопись с названием «Звезда счастья» хранится в личном фонде Льва Кузьмина под номером 2079, представляет собой автограф (№ ПОКМ 20860 / 1373) на трех листах с односторонней печатью. Текст находится в конверте с рукописями известных опубликованных сказок Кузьмина: «Доброе дело» (1978), «Девушка Ель» (1991), «Милые братья» (1993). Всего в фонде писателя хранится 2671 предмет. Среди них рукописи, наброски сюжетов сказок, стихотворений и других произведений автора. В архиве хранятся также грамоты, фотографии, письма писателя. Со слов М. Г. Кузьминой, на конвертах с рукописями рядом с названиями работниками архива указаны годы их создания. Нередко даты обозначают не год, а десятилетие, когда создавался текст. Принцип комплектования текстов в конверты не поясняется. На конверте, куда помещена рукопись «Звезда счастья», стоит дата: «1950-е гг.». В тексте имеются рукописные исправления. На достоверность авторства указывают подпись после текста («Лев Кузьмин») и почерк рукописных исправлений, который подтвердил сын писателя Андрей Львович.

«Звезда счастья» – текст, непохожий на известные сказки Кузьмина, как, впрочем, и на иные авторские литературные сказки. Сказка отчасти близка фольклорной. В зачине задается установка и на жанр, но и на отступление от традиции: «Хочешь, я расскажу тебе сказку. Это совсем новая сказка, но начинается она по-старому, потому что иначе не была бы сказкой» [Кузьмин б/г: 1] (здесь и далее при цитировании сохранены орфография и пунктуация автора).

Действие происходит в сказочной стране, где, как выясняется, господствует несправедливость: «Далеко-далеко, там где просыпается солнце, лежит большая прекрасная страна. С одной стороны ее границы ласкает своими волнами голубое море, а с другой залегли высокие горы, которые кутаются в седые нежные облака. <...> Но все богатства, которые давали поля, реки и море, в руки жителей не попадали. Все богатства у народа отбирал император и его прислужники» [Кузьмин б/г: 1]. Помочь своему народу решает «старейший из старейших» по имени Мао: «Его волосы черные как ночь, развевал ветер, на его лице, золотистом как солнечный отблеск, горело вдохновение, его глаза излучали отвагу, а на высокий лоб легла мудрость» [там же: 2]. Описание внешности героя напоминает не сказочный, а, скорее, «эпический стиль с его типическими формулами, повторениями, постоянными “украшающими” эпитетами или сравнениями» [Жирмунский 1962: 12]. Прототип героя сказки – реальное историческое лицо – Мао Цзэдун, на время создания сказки – председатель китайской коммунистической партии, лидер КНР. Это не мешает сказке развиваться по законам жанра.

Текст имеет фабулу волшебной сказки, содержит постоянные эпитеты: «высокие горы», «голубое море», «золотые лучи». Герои сказки Кузьмина выполняют традиционные «функции» (в терминологии В. Я. Проппа) персонажей волшебной сказки: вследствие «недостачи» «герой покидает дом» для «получения волшебного средства», проходит инициальные испытания, становится победителем [Пропп 1928]. Мотив «звезды счастья» по своей функции может быть отнесен к мотиву получения волшебного средства в фольклорной сказке, описанного В. Проппом: «сказочная завязка обычно содержит какую-нибудь беду и отправку героя из дома. <...> Эту беду нужно избыть, и обыкновенно это происходит так, что в руки героя попадает какое-нибудь волшебное средство» [Пропп 1946: 146]. Получение «звезды счастья» соотносится с сюжетом приобретения чудесного средства в волшебной сказке, приведенным, например, в «Сравнительном указателе сюжетов» (1979)². Заветную Звезду Мао обретает в Стране Счастья, которая находится в Сердце земли. По описанию читатель может уже догадываться, что речь идет об СССР: «А когда пришел Он в Страну Счастья, когда дошел до Сердца Земли ему протянул руку Великий Вождь Мира, ученик Славного Учителя Народов, имя которого хранится в каждом живом сердце» [Кузьмин б/г: 3]. Под именами Великого Вождя легко узнается Сталин, а Учителя – Ленин. Уже и потому, что такое изображение вождей – характерные формулы фольклора и литературы 1940–

1950-х гг., где строки текстов народной сказительницы Марфы Крюковой («Наш великий вождь, премудрой Сталин-свет, Вот Иосиф-то Виссарионович» [Крюкова 1946: 122]) немногим отличались от языка газет: «Сталин – это счастье нашего народа. Все великие победы и достижения советского социалистического государства связаны с именем товарища Сталина, являются плодами мудрого и испытанного сталинского руководства» [Правда 1946: 1].

Далее в сказке Кузьмина следует дар, акт передачи волшебного средства. «Протянул Великий Вождь Мира руку Мао, передал ему Рубиновую Звезду Счастья и сказал: «Пусть она будет вечным символом дружбы твоего и моего народа. Пусть твой народ будет счастлив также, как счастлив мой!» [Кузьмин б/г: 3]. Символика звезды здесь явно продиктована советской символикой – рубиновых звезд Кремля: «...когда вернулся Мао в свою страну, солнечную, но полную горя, весь его народ увидел как сверкает Рубиновая Звезда Счастья» [там же]. Звезда обладает волшебной природой, производит каскад чудесных эффектов: «Свет ее затмил сияние солнца, проник в каждое сердце, растопляя в нем печаль и зажигая отвагу. Свет ее заставил расцвести засохшие цветы. Заставил видеть глаза, не видевшие света от рожденья. И народ, озаренный рубиновым светом исполненный мужества, предводительствуемый отважным и мудрым Мао, восстал против своих притеснителей, сбросил их в море, которое навеки поглатило в своей пучине вместе с врагами и горе принесенное ими» [там же]. Сказка заканчивается апофеозом двух героев: «И горю никогда не завоевать эту страну. Потому что во главе ее стоит мудрый МАО-Цзэдун. Потому что у этой страны есть великий друг – Великий Вождь Мира – СТАЛИН!» [там же]. Имя Сталина названо только в самом конце сказки-панегирика, набрано прописными буквами с восклицательным знаком.

У этого диковинного сюжета есть основания, причем вполне актуальные для того времени. Стоит взглянуть в биографическое время рассказчика и в историческое время страны. Автору сказки на тот момент было около 25 лет. Молодой Лев Кузьмин, родившийся в селе Задорино Костромской губернии, в военные годы с 14 лет работавший в селе трактористом, в конце 1940-х жил в Ленинграде, учился в строительном техникуме и работал на стройке, писал стихи. После окончания техникума, примерно в начале 1950-х, Кузьмин работал по специальности в Сибири (г. Кемерово). Молодой строитель, вероятно, читал газеты и слушал радио. Автор, как мы можем убедиться, пишет сказку под впечатлением факта подписания в 1950 г. Договора о сотрудничестве

и взаимной помощи между СССР и Китаем. Это было выдающимся событием времени: Китай встал на путь строительства коммунизма, отношения СССР и Китая, как и личные отношения лидеров, представлялись советской прессой как важная историческая веха. В декабре 1949 г. Мао Цзэдун лично прилетел в Советский Союз, присутствовал на праздновании 70-летия Сталина, пробыл в России до февраля 1950 г. Советско-китайский «Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи» был подписан в Москве 14 февраля 1950 г. Газеты того времени изобилуют выдержками из этого договора: «Обе Договаривающиеся стороны обязуются в духе дружбы и сотрудничества и в соответствии с принципами равноправия, взаимных интересов, а также взаимного уважения государственного суверенитета и территориальной целостности <...> развивать и укреплять экономические и культурные связи между Советским Союзом и Китаем» [Правда 1950а: 1].

Описание встречи сказочных героев в тексте Кузьмина, вероятно, навеяно и договором, и сообщениями прессы о встречах Сталина и Мао Цзэдуна в конце 1949 – начале 1950 г. Для нашего исследования важно, что в советской прессе встречи героев характеризуются особой доброжелательностью: «16 февраля Председатель Совета Министров СССР И. В. Сталин дал обед в Кремле в честь Председателя Центрального Народного Правительства Китайской Народной Республики г. Мао Цзэ-дуна и Премьера Государственного Административного Совета и Министра Иностранных Дел г. Чжоу Эль-лан. <...> Обед прошел в теплой и дружественной обстановке» [Правда 1950б: 1]. Именно такая версия отношений между Мао и Сталиным нашла свое воплощение в сказке Кузьмина.

Отчего же в сказке начинающего автора эти факты приобрели столь гиперболизированные формы? Здесь надо признать, что произведение Льва Кузьмина – не столько даже акт индивидуального творческого самовыражения, сколько элемент общего дискурса сталинского времени, в котором смешивались языки газетных передовиц, литературы и фольклора. Специфике этого дискурса посвящены работы многих современных литературоведов: В. Паперного, Х. Гюнтера и Е. Добренко, Ф. Миллера, М. Bown и др. Х. Гюнтер, например, характеризует сталинский дискурс как театрализацию и ритуализацию жизни, цель которой – «видимость “единодушия фиктивного мира”, в котором ложь и правда слились неразделимо» [Гюнтер 2002: 8]. Речь идет о создании новой цивилизации, которая должна была выглядеть как мир «новой жизни» [там же]. В этой цивилизации особая роль отводится жанрам народной культуры: «Фольклор входит в ли-

тературу соцреализма как устная хроника народа и в этом качестве приобретает авторитетность абсолютной правды. <...> В линейном и одномерном сюжетостроении фольклорных текстов тотальное производство новой *реальности становится единственной целью*» [Юстус 2002: 77].

Наиболее ярким выражением сближения языка власти и языка литературы, а также литературы с фольклором можно считать деятельность народных сказителей. С 1930-х до начала 1950-х гг. сначала в периодических изданиях, а потом и отдельными сборниками печатаются «новины» советских сказителей М. С. Крюковой, М. Р. Голубковой, А. М. Пашковой, А. И. Гладкобородовой и др. Считается, что «новинами» (по аналогии с былинами и старинами) стала называть свои произведения знаменитая сказительница Марфа Крюкова. Новины были ориентированы главным образом на поэтику былин, но содержали формы причитаний и традиционной лирики (см: [Козлова 2013]).

По наблюдениям И. Козловой, «первые русскоязычные публикации “советского эпоса” появляются весной 1937 года» [там же]. В 1940–1950-х произведения М. С. Крюковой, П. И. Рябининой, Андреева, М. М. Коргуева, А. И. Гладкобородовой прочно заняли свое место на страницах периодики («Октябрь», «Правда», «Красноармеец»). В конце 1940-х были изданы сборники: «О богатырях старопрежних и нынешних» (1946) М. С. Крюковой, «Сказы и песни» (1947) А. И. Гладкобородовой. Главными героями новин становятся Ленин и Сталин:

Сталин дал ему слово верное,
Как булат оно было крепкое.
Он пошел путями Ленина
И стопами большевистскими...
[Крюкова 1937: 102–103]

К концу 1940-х движение по созданию нового фольклора было поставлено прямо-таки на научные рельсы. Сказители обрели настоящую славу. Сегодня известно, что в создании такого фольклора сказителям помогали собиратели: В. А. Попов, Э. Г. Морозова-Бородина, А. Я. Колотилова и др. Современные исследователи народного творчества в СССР (У. Юстус, Ф. Миллер, С. Лойтер) пишут об особой роли собирателей и фольклористов как внедрителей советской идеологии в фольклорные тексты 1930 – начала 1950-х гг. Например, Урсула Юстус отмечает: «Певцов и сказителей сопровождали фольклористы или литературоведы <...> обеспечивая их идеологическим материалом, которым певцы и сказители наполняли традиционные формы и сюжеты фольклора, воспевая новую советскую действительность» [Юстус 2002: 76]. Впрочем, по справедливому замечанию исследо-

вателя советской культуры Константина Богданова, создание таких фольклорных текстов не всегда сводится к идеологическому «заказу»: «существование “фальшлора” труднопредставимо вне аудитории, демонстрирующей свое согласие на его потребление» [Богданов 2009: 16].

Образ Сталина в это время распространен во многих фольклорных жанрах: «Стихи и песни народов Востока о Сталине» (1935), «Народные песни о Ленине и Сталине» (1936), «Песни горцев Кавказа о Ленине и Сталине» (1936), «Сказки народов Советского Союза» (1942). Активнее всего новый эпос создавался на Севере. Примечательно, что в сборнике сказок народов Севера есть сказка с таким же, как у Кузьмина, названием («Звезда счастья»), хотя и другим сюжетом. Здесь изображена встреча жителя Севера Баркауля со Сталиным и увиденная Кремлевская звезда становится ярким событием в жизни героя: «У Сталина гостил, как дома гостил. Трубку с другом вместе курил... Летел домой в тайгу Баркауль на огненной птице и пел песню:

Много на небе звезд,
Ярко горят они,
Но ярче их горят звезды
На башне Кремля.
Слава великому другу!»
[Сказки народов Севера 1951: 233]

Как видим, образ рубиновых звезд присутствует в обеих сказках с одинаковым названием.

Появление фигуры Сталина в сказке – не только тенденция фольклорных жанров 1930 – начала 1950-х гг. Вождя прославляли в стихотворениях, поэмах и песнях признанные мастера советской детской литературы (С. Маршак, А. Барто, А. Чуркин, С. Михалков и др.). Так, например, в стихотворении «Сталин думает о нас» (1952) Сергея Михалкова Сталин предстает в образе всезнающего и всевидящего помощника страны:

За Уралом, на Байкале,
Ты больной лежишь в избе,
Ты не бойся – знает Сталин,
Помнит Сталин о тебе.
Он пошлет людей надежных,
Чтоб тебя в тайге найти,
Отыскать в глуши таежной
И от гибели спасти.
[Михалков 1952: 6]

Таким образом, текст Льва Кузьмина оказывается вписанным в политический и культурный контекст времени. Заметим, однако, что сам этот контекст детерминирован глубинными, даже архаическими свойствами фольклора, мифа, народного сознания. Стремление героя кузьминской сказки освободить народ от гнета императора когда-то было предопределено «мотивами деятельности героя архаического эпоса, которые

объективно совпадают с общеплеменными интересами, со стремлением к гармонизации порядка...» [Неклюдов 2003]. Мотив дружбы между Мао и Великим Вождем повторяет мотив побратимства в русских былинах и богатырских сказках (см. подробнее: [Жирмунский 1962: 28]). Сталин и Мао изображены в духе двух богатырей – старшего и младшего, или Царя и Богатыря (примеры таких пар встречаются в фольклоре разных жанров – Илья-Муромец и Владимир, Павел и Суворов, Сталин и Ворошилов). Приведем для сравнения цитату из сборника «Сказки народов Севера»: «Те орлы – Ленин и Сталин. Далеко они полетели – везде злых шуленгов купцов прогонять. Жизнь новую построят» [Сказки народов Севера 1951: 229]. Сравнение Сталина с орлом («...возглавляемый великим Вождем Мира, подобным горному орлу в полете» [Кузьмин б/г: 2]) характерно для фольклорных сказок о богатырях-вождях 1930–1950-х гг. (см. подробнее: [Козлова 2013]).

Богатырские образы и образы вождей, в свою очередь, воплощают глубокие архетипические символы, характерные для изображения не только Царя, но и Бога. Х. Гюнтер в работе «Архетипы советской культуры» пишет о том, что образ «отца Сталина», который прославляется как свет, солнце, звезда, орел в творчестве советских сказителей, «...имеет свои истоки не только в фольклоре, но и восточной панегирике, так что можно говорить об “ориентализации” советской культуры» [Гюнтер 2002: 756]. Несомненно, сравнение Сталина с солнцем, светом («Наш ведь славной вождь, хвальной Сталин-свет...») [Крюкова 1946: 123] в советском фольклоре восходит к солярной мифологии, где «солнце из-за его всепроникающих лучей и занимаемой им господствующей позиции наводит на мысль о силе и свете, от которых ничто не может быть сокрыто. Олицетворение этого всевидящего ока само должно быть всезнающим существом» [Олкотт 1911].

Итак, первая сказка Кузьмина видится нам не столько как авторское произведение, сколько как полуфольклорный (по структуре и характеру образов) или постфольклорный (по способу обращения с материалом) текст, укорененный в общественно-политическом дискурсе времени (1950-е гг.), построенный на архетипических основаниях. Идеологический контекст здесь вторгается в сказочную структуру прямо, откровенно и наивно. И традиционные сказочные формулы соседствуют с дискурсивными формулами советской пропаганды. «Звезда счастья» демонстрирует «наивное» освоение жанра сказки начинающим писателем, рабочим паренком – и ценен текст, быть может, именно тем, как буквально он воспроизводит идеологический шум времени.

Стихи о вожде (уже Ленине) молодой Лев Кузьмин будет публиковать позже, уже в газетах Перми. После учебы в Ленинградском строительном техникуме Кузьмин будет трудиться на стройках Сибири и Украины, а в 1956 г. приедет в Пермь, будет работать прорабом, инженером. Первые свои публикации автор подписывал: «Лев Кузьмин, техник строитель» [Кузьмин 1960: 3]. В основном это были стихи о Ленине, о трудовых буднях стройки («День, когда родился Ленин», 1958, «Встреча с Ильичем», 1959). Но такого рода тексты – тоже литература потока, дежурная тема начала 1960-х гг. Впоследствии личные взгляды Кузьмина разойдутся с той трактовкой образа Сталина, что представлена в сказке «Звезда счастья». Трагические события в судьбе Льва Ивановича по отцовской и материнской линии, связанные с репрессиями в 1930-х гг., по свидетельству сына писателя, укоренили в его сознании образ Сталина как врага народа, «искалечившего судьбы многих людей» (Из беседы с А. Кузьминым от 23 января 2018 г.). В текстах Кузьмина его имя больше не появится. Может быть, поэтому сказка «Звезда счастья» не была опубликована автором. К жанру сказки Лев Иванович вернется лишь в начале 1960-х гг.

Скорее всего, «Звезда счастья» – первый опыт молодого автора, где он «почувствовал» свой жанр. В «пробе пера» проявились особенности призвания Льва Кузьмина: тяга к жанру сказки и его чувство времени, позволившие впоследствии стать детским писателем, востребованным новыми поколениями. Лев Кузьмин прочно вошел в число известных в Советском Союзе авторов сказок для детей, тексты которых вписаны в литературный, культурный, идеологический контекст эпохи.

Примечания

¹ Сотрудники Пермской областной (краевой) детской библиотеки (с 2000 г. – имени Л. И. Кузьмина) Л. В. Мальцева и Л. Н. Бузилова составили библиографический указатель, в котором отражены публикации автора, их переиздания и разночтения в названиях. Из примечания известно, что указатель составлен по каталогам и картотекам библиотек г. Перми, по ранее изданным указателям, по материалам музея Л. И. Кузьмина [Лев Иванович Кузьмин: Библиогр. указатель 2006]. Мы благодарны Л. В. Мальцевой и Л. Н. Бузиловой за помощь в настоящей работе.

² Герой сказки Кузьмина Мао должен получить некую чудесную вещь, которая изменит дальнейшую судьбу, как и герои сказочных сюжетов 560–561 (см.: [Сравнительный указатель сюжетов: Восточнославянская сказка 1979: 158, 160]).

Список литературы

Богданов К. А. VOX POPULI: Фольклорные жанры советской культуры. М.: Новое лит. обозрение, 2009. 368 с.

Бочкарева Н. С., Табункина И. А. Диалог писателя, художника и читателя в сборнике «Оляпка» // Бочкарева Н. С. и др. Языки региональной культуры: пермская художественная книга / под общ. ред. Н. С. Бочкаревой; Перм. гос. нац. иссл.-ун-т. Пермь, 2011. С. 70–90.

Гюнтер Х. Архетипы советской культуры // Соцреалистический канон: сб. ст. / под общ. ред. Х. Гюнтера и Е. Добренко. СПб.: Академ. проект, 2002. С. 743–784.

Гюнтер Х. Тоталитарное государство как синтез искусств // Соцреалистический канон: сб. ст. / под общ. ред. Х. Гюнтера и Е. Добренко. СПб.: Академ. проект, 2002. С. 7–15.

Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи между Союзом Советских Социалистических Республик и Китайской Народной Республикой // Правда. 1950. 15 февр. С. 1.

Жирмунский В. М. Народный героический эпос. Сравнительно-исторические очерки. М.; Л.: Гослитиздат, 1962. 435 с.

Козлова И. В. Жанровые новообразования в фольклорной культуре советского времени в творчестве сказителей Русского Севера. 2013. URL: <http://www.ruthenia.ru/folklore/kozlova8.htm> (дата обращения: 05.10.2018).

Крюкова М. С. О богатырях старопрежних и нынешних: в записях Э. Г. Бородиной-Морозовой и А. А. Морозова. Архангельск: ОГИЗ, 1946. 155 с.

Крюкова М. С. Слава Сталину будет вечная // Творчество народов СССР. М., 1937. С. 102–103.

Кузьмин Л. И. Звезда счастья. Автограф // ПКМ, Отдел фондов, Сектор ДИ, коллекция ЛСА, Фонд Кузьмина – 2079, № ПОКМ 20860 / 1373. 3 л.

Кузьмин Л. И. Улица Ленина // Звезда. 1960. 16 апр. С. 3.

Лев Иванович Кузьмин. Библиогр. указатель / Перм. обл. дет. б-ка им. Л. И. Кузьмина. Пермь, 2006. 162 с.

Михалков С. Сталин думает о нас // Веселая елка: Сборник стихов к новому году. М.; Л., 1952. С. 6.

Неклюдов С. Ю. Типология и история в памятниках героического эпоса. 2003. URL: <http://folk.spbu.ru/Reader/nekludov.php?rubr=Reader-lectures> (дата обращения: 06.10.2018).

Обед у И. В. Сталина // Правда. 1950. 17 февр. С. 2.

Олкотт У. Мифы о солнце. 1911. URL: https://kartaslov.ru/книги/Олкотт_У_Мифы_о_солнце/3 (дата обращения: 04.10.2018).

Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. Л.: Изд-во Ленингр. гос. ун-та, 1946. 340 с.

Пропп В. Я. Морфология сказки. Л.: Academia, 1928. 152 с.

Сахарнов С. О современной литературной сказке // О литературе для детей. Л., 1979. С. 14–15.

Сказки народов Севера. Л.: Гослитиздат, 1951. 672 с.

Сравнительный указатель сюжетов: Восточнославянская сказка. Л.: Наука, 1979. 435 с.

Юстус У. Вторая смерть Ленина: функции плача в период перехода от культа Ленина к культу Сталина // Соцреалистический канон: сб. ст. / под общ. ред. Х. Гюнтера и Е. Добренко. СПб.: Академ. проект, 2002. С. 926–952.

References

Bogdanov K. A. *VOX POPULI: Fol'klornye zhanry sovetskoy kul'tury* [VOXPOPULI: Folklore genres of Soviet culture]. Moscow, Novoe Literaturnoe Obozrenie Publ., 2009. 368 p. (In Russ.)

Bochkareva N. S., Tabunkina I. A. Dialog pisatelya, khudozhnika i chitatelya v sbornike 'Olyapka' [The dialogue of a writer, an artist and a reader in the collection 'Dipper']. *Bochkarva N. S. Yazyki regional'noy kul'tury: permskaya khudozhestvennaya kniga: kollektivnaya monografiya* [Languages of regional culture: Perm art book: collective monograph]. Ed. by N. S. Bochkareva. Perm, Perm State University Press, 2011, pp. 70–90. (In Russ.)

Günther H. Arkhetipy sovetskoy kul'tury [Archetypes of Soviet culture]. *Sotsrealisticheskiy kanon. Sbornik statey* [The socialist realist canon. A collection of articles]. Ed. by H. Günther and E. Dobrenko. St. Petersburg, Akademicheskii proekt Publ., 2002, pp. 743–784. (In Russ.)

Günther H. Totalitarnoe gosudarstvo kak sintez iskusstv [The totalitarian state as a synthesis of the arts]. *Sotsrealisticheskiy kanon. Sbornik statey* [The socialist realist canon. A collection of articles]. Ed. by H. Günther and E. Dobrenko. St. Petersburg, Akademicheskii proekt Publ., 2002, pp. 743–784. (In Russ.)

Dogovor o Druzhbe, Soyuze i Vzaimnoy Pomoshchi Mezhdru Soyuzom Sovetskikh Sotsialisticheskikh Respublik i Kitayskoy Narodnoy Respublikoy [The Sino-Soviet Treaty of Friendship, Alliance and Mutual Assistance]. *Pravda*, 1950, 15 February, p. 1. (In Russ.)

Zhirmunskiy V. M. *Narodnyy geroicheskijy epos. Sravnitel'no-istoricheskie ocherki* [The folk heroic epic. Comparative-historical essays]. Moscow, Leningrad, Goslitizdat Publ., 1962. 435 p. (In Russ.)

Kozlova I. V. *Zhanrovye novoobrazovaniya v fol'klornoy kul'ture sovetskogo vremeni v tvor-*

chestve skaziteley Russkogo Severa [Genre innovations in the folk culture of the Soviet era in the work of the Russian North narrators]. 2013. Available at: <http://www.ruthenia.ru/folklore/kozlova8.htm> (accessed 05.10.2018). (In Russ.)

Kryukova M. S. *O bogatyryakh staroprezhnikh i nyneshnikh: v zapisyakh E. G. Borodinoy-Morozovoy i A. A. Morozova* [About olden-times and modern heroes: in the records of E. G. Borodina-Morozova and A. A. Morozov]. Arhangel'sk, OGIZ Publ., 1946. 155 p. (In Russ.)

Kryukova M. S. *Slava Stalinu budet vechnaya* [Stalin's glory will be eternal]. *Tvorchestvo narodov SSSR* [Works of the peoples of the USSR]. Moscow, 1937, pp. 102–103. (In Russ.)

Kuz'min L. I. *Zvezda schast'ya*. Avtograf [The star of happiness. Autograph]. Perm Local History Museum, Department of funds, Sector DI, Collection of LSA, Fund of Kuzmin – 2079, no. POKM 20860 / 1373. 3 p. (In Russ.)

Kuz'min L. I. Ulitsa Lenina [Lenin street]. *Zvezda* [The Star], 1960, 16 April, p. 3. (In Russ.)

Lev Ivanovich Kuzmin. *Bibliogr. Ukazatel'* [Lev Ivanovich Kuzmin: Bibliographical Index]. Perm regional children's library named after L. I. Kuzmin. Perm, 2006. 162 p. (In Russ.)

Mikhalkov S. Stalin dumaet o nas [Stalin thinks about us]. *Veselaya elka: Sbornik stikhov k novogodnemu prazdniku* [New Year tree: Collection of poems for the New Year holiday]. Moscow, Leningrad, 1952, p. 6. (In Russ.)

Neklyudov S. Yu. *Tipologiya i istoriya v pamyatnikakh geroicheskogo eposa* [Typology and history in the monuments of the heroic epic], 2003. Available at: <http://folk.spbu.ru/Reader/nekludov.php?rubr=Reader-lectures> (accessed 06.10.2018). (In Russ.)

Obed u I. V. Stalina [Dinner with I. V. Stalin]. *Pravda*, 1950, 17 February, p. 2. (In Russ.)

Olkott U. *Mify o solntse* [Myths of the Sun], 1911. Available at: https://kartaslov.ru/книги/Олкотт_У_Мифы_о_солнце/3 (accessed 04.10.2018). (In Russ.)

Propp V. Ya. *Istoricheskie korni volshebnoy skazki* [The historical roots of the magic fairy tale]. Leningrad, Leningrad State University Press, 1946. 340 p. (In Russ.)

Propp V. Ya. *Morfologiya skazki* [The morphology of a fairy tale]. Leningrad, Academia Publ. 152 p. (In Russ.)

Sakharnov S. O sovremennoy literaturnoy skazke [On the modern literary fairy tale]. *O literature dlya detey* [On literature for children]. Leningrad, 1979, pp. 14–15. (In Russ.)

Skazki narodov Severa [The fairy tales of the peoples of the North]. Leningrad, GOSLITIZDAT Publ., 1951. 672 p. (In Russ.)

Sravnitel'nyy ukazatel' syuzhetov: Vostochnoslavianskaya skazka [The comparative index of plots: East Slavic fairy tale]. Leningrad, Nauka Publ., 1979, 435 p. (In Russ.)

Justus U. Vtoraya smert' Lenina: funktsii placha v period perekhoda ot kul'ta Lenina k kul'tu Stalina

[The second death of Lenin: functions of lamentation during the transition from the cult of Lenin to the cult of Stalin]. *Sotsrealisticheskiy kanon*. Sb. st. [The socialist realist Canon. A collection of articles]. Ed. by H. Günther and E. Dobrenko. St. Petersburg, Akademicheskii proekt Publ., 2002, pp. 926–952. (In Russ.)

**FIRST ATTEMPT AT WRITING:
ABOUT THE UNPUBLISHED TALE BY LEV KUZMIN
'THE STAR OF HAPPINESS'**

Marina P. Abasheva

**Professor in the Department of Theory,
History of Literature and Methods of Teaching Literature
Perm State Humanitarian-Pedagogical University**
24, Sibirskaya st., Perm, 614990, Russian Federation. m.abasheva@gmail.com

**Professor in the Department of Journalism and Mass Communication
Perm State University**
15, Bukireva st., Perm, 614990, Russian Federation. m.abasheva@gmail.com

SPIN-code: 2169-4629

ORCID: <http://orcid.org/0000-0001-5720-7916>

ResearcherID: R-8012-2016

Anna I. Zyryanova

**Postgraduate Student in the Department of Theory,
History of Literature and Methods of Teaching Literature
Perm State Humanitarian-Pedagogical University**
24, Sibirskaya st., Perm, 614990, Russian Federation. ann506343@yandex.ru

SPIN-code: 5300-5311

ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-4670-6167>

ResearcherID: P-7384-2017

Submitted 07.11.2018

The article provides a literary analysis and historical-literary commentary on the unpublished tale of the Perm writer Lev Ivanovich Kuzmin (1928–2000). The text entitled *The Star of Happiness* is a manuscript (typewritten) signed by the author himself. It was found in the personal archive of the writer stored in the Perm Local History Museum. The article provides attribution, approximate dating of the manuscript, and the analysis of the structure and genesis of the text. The fairy tale *The Star of Happiness*, presumably written before Lev Kuzmin's move to Perm, in Pushkin (Tsarskoye Selo) or in the Kemerovo region, where Kuzmin worked as a construction worker, became the first literary experience of the novice writer. The analysis of the genre nature of the text and its structure was conducted in accordance with the methodology of the fairy tale analysis proposed by V. Ya. Propp and in correlation with the existing indexes of fairy tales. It showed that the tale by L. I. Kuzmin contains some reduced properties of the epic, the tale (legend), rudiments of the heroic epic (heroic fairy tale), united by the genre form 'novina', characteristic of the Soviet culture of the 1950s. Novina is stylization of folklore devoted to an important (usually political) event. The reason for the creation of the fairy tale *The Star of Happiness* was the agreement between the Soviet Union and the People's Republic of China as well as Mao Zedong's visit to Moscow in 1949–1950. In addition to the archival materials, the comments of the writer's son Andrei Lvovich Kuzmin are used in the paper. The analysis helps to clarify the components of Lev Kuzmin's literary heritage and the mechanisms of functioning of dictatorial, political, literary, and folk discourses in the mass consciousness of the 1950s.

Key words: literary tale; Lev Kuzmin; Soviet literature; post folklore; novina.

УДК 821.111
doi 10.17072/2037-6681-2019-1-89-97

КОНЦЕПТ «ОБЕЗЬЯНА» В АНГЛИЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XX ВЕКА (на материале произведений Г. Честертон, Дж. Голсуорси, Г. Уэллса, О. Хаксли)

Екатерина Владимировна Васильева
к. филол. н., доцент кафедры русского языка,
современной русской и зарубежной литературы
Воронежский государственный педагогический университет
394043, Россия, г. Воронеж, ул. Ленина, 86. vevvrn@mail.ru
SPIN-код: 8859-5329
ORCID: <http://orcid.org/0000-0001-5455-7910>
ResearcherID: Y-7542-2018

Статья поступила в редакцию 20.12.2018

Просьба ссылаться на эту статью в русскоязычных источниках следующим образом:

Васильева Е. В. Концепт «обезьяна» в английской литературе XX века (на материале произведений Г. Честертон, Дж. Голсуорси, Г. Уэллса, О. Хаксли) // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2019. Т. 11, вып. 1. С. 89–97. doi 10.17072/2037-6681-2019-1-89-97

Please cite this article in English as:

Vasiljeva E. V. Kontsept “obez’yana” v angliyskoy literature XX veka (na materiale proizvedeniy G. Chestertona, Dzh. Golsuorsi, G. Uellsa, O. Khakli) [The Concept ‘Ape’ in English Literature of the 20th Century (in Works by G. Chesterton, J. Galsworthy, H. Wells, A. Huxley)]. *Vestnik Permskogo universiteta. Rossiyskaya i zarubezhnaya filologiya* [Perm University Herald. Russian and Foreign Philology], 2019, vol. 11, issue 1, pp. 89–97. doi 10.17072/2037-6681-2019-1-89-97 (In Russ.)

Анализируется художественная репрезентация концепта «обезьяна» в произведениях английских авторов XX в. На материале романов Г. К. Честертон, Дж. Голсуорси, О. Хаксли и повести Г. Уэллса показывается, что концепт «обезьяна» может возникать в тексте как портретная характеристика героя, выноситься в название произведения, использоваться как универсальный символ, отражающий состояние современной цивилизации. Исходя из различных смысловых возможностей символического образа «обезьяна», английские писатели подвергают художественному анализу состояние западноевропейского общества первой половины XX в. Г. К. Честертон в романе «Человек, который был Четвергом», опираясь на традиционную христианскую символику, концепт «обезьяна» использует для критики нигилистических философских концепций, характерных для рубежа XIX–XX вв. В повести «Игрок в крокет» Г. Уэллса утверждается мысль, что вырвавшаяся наружу «обезьянья» природа человека порождает разрушение и хаос, войну и насилие. Углубленное осмысление антиутопии О. Хаксли «Обезьяна и сущность» показывает, что английский писатель констатирует кризисное состояние западноевропейской цивилизации XX в.: подчинение разума низменным инстинктам и забвение нравственных и духовных ценностей приводит к деградации человеческого начала в человеке. В исследовании доказываем, что символическое развертывание концепта «обезьяна» тесно связано с возникновением и распространением революционных по своему содержанию и воздействию естественно-научных (Ч. Дарвин), социально-экономических (К. Маркс, Ф. Энгельс), психоаналитических (З. Фрейд) теорий, объясняющих природу человека и общества.

Ключевые слова: концепт «обезьяна»; Г. К. Честертон; Дж. Голсуорси; Г. Уэллс; О. Хаксли; символ.

Художественная литература – один из наиболее чутких культурных маркеров: она фиксирует малейшие изменения в повседневности, угадывает формирующиеся тенденции социально-исторической и духовно-интеллектуальной реальности. По доминирующим образам и мотивам, присутствующим в литературных произведениях, можно определить трансформации в материальной и духовной сферах, которые характерны для той или иной культурно-исторической эпохи в целом.

Нельзя не обратить внимание, что концепт «обезьяна» становится активно используемым в английской литературе XX в., выполняя самые различные художественные функции: он может возникать в тексте как портретная характеристика героя, выноситься в название произведения, выступать как универсальный символ, отражающий состояние современной цивилизации. На наш взгляд, это неслучайно: смысловое наполнение концепта отражает те революционные изменения в общественном сознании, которые были характерны для рубежа XIX–XX вв. и обусловили развитие культуры и цивилизации в XX в.

Определяя содержание термина «концепт», С. А. Аскольдов (Алексеев) обращает внимание на существенное различие познавательных и художественных концептов. «Неопределенность возможностей» порождения новых смыслов художественного концепта в процессе коммуникации С. А. Аскольдов объясняет «ассоциативной запредельностью», которая характерна для логики и прагматики художественного произведения [Аскольдов 1997: 274–275]. «Художественный концепт в гораздо большей степени интуитивен, индивидуален. Он связан прежде всего с особым подбором элементов, запускающих ассоциативный ряд» [Зусман 2001: 8]. В. Г. Зусман определяет литературный концепт как «пучок перекрещивающихся смыслов, восходящих одновременно к разным звеньям художественной коммуникативной системы» [там же: 14], которые имеют прямые и обратные связи (Автор – Произведение – Читатель; Автор – Традиция – Читатель; Автор – Реальность – Читатель) (см. подробнее: [Зинченко 2011; Зусман 2001]). В нашей статье мы будем опираться на понимание концепта, данное в работах В. Г. Зусмана: «Литературный концепт – 1) такой образ, символ или мотив, который имеет «выход» на геополитические, исторические, этнопсихологические моменты, лежащие вне художественного произведения, открывающий 2) одновременную возможность множества истолкований с разных точек зрения и выявляющий значимое 3) расхождение между значением и смыслом вы-

ражающих его словесно-художественных элементов» [Зусман 2001: 14].

Концепт «обезьяна» в художественной литературе редко появляется как самодостаточный, а присутствует в художественном мире произведения в соотношении с образом человека, что предполагает устойчивое положительное или отрицательное сравнение «человек как обезьяна».

Что способствует актуализации этого концепта в английской литературе XX в.? Не претендуя на всестороннее освещение данной проблемы, рассмотрим символическое развертывание концепта «обезьяна» и его обусловленность культурно-идеологическим контекстом эпохи на материале наиболее репрезентативных, с нашей точки зрения, произведений.

В романе Г. К. Честертон «Человек, который был Четвергом» (1908) в первой главе читатель видит героя Люциана Грегори, который обладает очень колоритной внешностью: одна из его портретных характеристик – это сравнение с обезьяной: «...темно-рыжие волосы, разделенные пробором, падали нежными локонами, которых не постыдилась бы мученица с картины прерафаэлитов, но из этой благодатной рамки глядело грубое лицо с тяжелым, наглым подбородком. Такое сочетание и восхищало, и возмущало слушательниц. Грегори являл собой олицетворение кощунства, помесь ангела с обезьяной» [Честертон 1992: 151]. Для условного повествования Честертон портретная деталь имеет символическое значение и является характеристикой не столько самого героя и его внутреннего мира, сколько оценочной характеристикой идеи, которую озвучивает данный персонаж. В романе Грегори выступает как поэт анархии: «Анархия и творчество едины. Это синонимы. Тот, кто бросил бомбу, – поэт и художник, ибо он превыше всего поставил великое мгновение. Он понял, что дивный грохот и ослепительная вспышка ценнее двух-трех тел <...> Поэт отрицает власть, он упраздняет условности. Радость его – лишь в хаосе» [Честертон 1992: 152].

Революционные настроения витали в атмосфере рубежа веков, идеи социальных, философских, эстетических революций становятся важной частью духовной культуры конца XIX – начала XX в. Можно предположить, что Честертон иронизирует по поводу идей М. Арнольда, изложенных в книге «Культура и анархия» (1869), которая в начале XX в. вновь обрела популярность. Грегори провозглашает: «Мы хотим снять пустые различия между добром и злом, честью и низостью – различия, которым верны обычные мятежники. Глупые, чувствительные французы в годы

революции болтали о правах человека. Для нас нет ни прав, ни бесправия, нет правых и левых» [там же: 158]. Это уже анархия глобального порядка, которая стремится уничтожить все рамки и границы, все законы, организующие социальную и нравственную жизнь общества.

Описывая Грегори как «помесь ангела с обезьяной» («a blend of the angel and the ape» [Chesterton 1995: 2]), Честертон опирается на христианскую символику: средневековые богословы Сатану нередко называли обезьяной Бога, безуспешно подражающего Творцу. На это недвусмысленно указывает и имя героя – Люциан. А слово «аре» в английском языке имеет не только прямое значение «примат», но и переносное «кривляка, обезьяна».

В философии и культуре конца XIX в. отрицание становится универсальной категорией. Новые научные открытия, крах механистической картины мира, утрата веры в безусловность капиталистического прогресса приводят, прежде всего, к сомнению в возможностях человеческого разума, а также к попытке опровергнуть существующие этические и эстетические законы как устаревшие. Нигилистические настроения, в том числе ницшеанские идеи бунта духа (освобождение человеческих потенций, «воля к власти», «преодоление человека»), Честертон оценивает в своем философском трактате «Ортодоксия» как несостоятельные: «Бунт современного бунтаря стал бессмыслен: восставая против всего, он утратил право восстать против чего-либо» [Честертон 1991: 385]. Для Честертонна было бесспорно, что человек, живя в мире реальных фактов и соприкасаясь с конкретными вещами, не может быть полностью от них свободным. Polemica с теориями и концепциями, которые утверждают хаос и распад мира, изжитость и исчерпанность бытия, с настроениями «конца» и «заката» становится основным содержанием творчества Г. К. Честертонна (см. подробнее: [Васильева 2015; Плахтиенко 1986; Coats 1984]). В главе «Как стать безумцем» («Автобиография») писатель четко определяет свое жизненное и творческое кредо: «...когда я действительно начал писать, я твердо и пылко решил спорить с декадентами и пессимистами, правившими тогдашней культурой» [Честертон 2005: 69].

В художественном мире Честертонна смысловое развертывание концепта «обезьяна» предполагает опору на традиционную христианскую символику, но наполняется современным актуальным смыслом. Философы («еретики» или «безумцы» в терминологии Честертонна), претендующие на создание новых, революционных

концепций мира и человека, есть только жалкое подражание Богу. Определяя состояние общественного сознания конца XIX – начала XX в. как умственный кризис и «интеллектуальную беспомощность» [Честертон 1991: 377], английский писатель утверждает, что болезненное, путаное состояние ума порождает политические и социальные беды, а также является опасностью для духовного здоровья своих сограждан.

Анализируя современные ему учения («Ортодоксия»): детерминизм и прагматизм, материализм и субъективный идеализм, – Честертон приходит к выводу, что «... в наиболее типичных современных философиях замечаешь не просто манию, но манию самоубийства» (самоубийства мысли. – *Е. В.*) [там же: 381], «дряхлость и окончательный распад» человеческой мысли. Отождествляя философов и мыслителей с сумасшедшими, Честертон трактует безумие как приверженность одной идее и взгляд на мир только с одной точки зрения, единственно верной, по мнению автора, идеи. «...Бывает узкая всемирность, маленькая, ущербная вечность – как во многих современных религиях. Наиболее явный признак безумия – сочетание исчерпывающей логики с духовной узостью» [там же: 367].

В диссертационном исследовании О. Плахтиенко подробно анализируется оценка и осмысление Честертонном современных ему идей и концепций и обращается внимание на то, что английский писатель уловил их основную тенденцию: однобокий взгляд на человеческую природу и мир: «Позитивисты, по мнению Честертонна, оставили все, за исключением разума, ницшеанцы абсолютизировали идею духовного бунта, социалисты свели жизнь к экономическим законам, а скептики увидели в ней только собственные впечатления» [Плахтиенко 1986: 52]. Однобокий взгляд, возведение в абсолют какого-то одного принципа (зачастую субъективного) восприятия действительности и приводят к идеям и теориям, которые английский писатель называет объяснениями «безумцев», претендующих занять место «умершего Бога».

К анализу состояния английского общества после Первой мировой войны обращается Дж. Голсуорси, выдающийся писатель старшего поколения, мастер социально-психологической прозы, которого волнуют произошедшие кардинальные перемены в первые десятилетия XX в. Дж. Голсуорси создает трилогию «Современная комедия» (романы «Белая обезьяна» (1924), «Серебряная ложка» (1926), «Лебединая песня» (1928)), являющуюся продолжением «Саги о Форсайтах» и рассказывающую о судьбах моло-

дого поколения Форсайтов: Флер, дочери Сомса Форсайта, Джона и др.

В центре авторского внимания попытка молодого поколения Форсайтов (Флер, Джон) и Монтгов, представителей английской буржуазии и аристократии, найти опору, смысл в жизни после Первой мировой войны, которая воспринимается как катастрофа, изменившая привычные представления о мире и его ценностях. Знаковым моментом послевоенного времени становится стремление к новизне, повседневность молодых людей диктуется модой, влияние которой распространяется на все сферы жизни: одежда и интерьер, образ жизни и семейные отношения, досуг и развлечения. Флер и ее муж Майкл Монт живут в «эмансипированном» доме, который, следуя новым веяниям времени, «не был выдержан в определенном стиле, не отвечал традициям и был свободен от архитектурных предрассудков» [Голсуорси 1962: 12]. Именно здесь главная героиня Флер коллекционирует знаменитостей, устраивая званые вечера, куда приглашаются художники, писатели и поэты, чье искусство характеризуется как «современное».

Стремление охватить все новое, необычное, разрушить старые традиции и представления уже ушедшего викторианства становится навязчивой идеей. Это приводит к тому, что жизнь, наполненная яркими, но бессмысленными событиями, теряет подлинное содержание. Флер, которая, по словам Майкла Монта, «летит и мчится без цели», «только касается жизни, как язычок пламени касается воздуха» [там же: 131]. Героиня и сама прекрасно понимает, что «она сама слишком суетна, слишком современна» [там же: 19].

Символом цивилизации новейшего времени в романе становится картина «Белая обезьяна», на которой изображена обезьяна, с тоской и недоумением рассматривающая кожуру от съеденного апельсина. Один из героев, художник Обри Грин, комментирует это полотно следующим образом: «Съесть плоды жизни, разбрасывать кожуру и попасться на этом. В этих глазах воплощена трагедия человеческой души. <...> Ей кажется, что в этом апельсине что-то скрыто, и она тоскует и сердится, потому что не может ничего найти» [там же: 141]. Поколение Флер жадно поглощает плоды цивилизации, не задумываясь о будущем. Сомс Форсайт, вспоминая о картине, использует слова Грина в оценке деловой жизни Англии. По мнению Сомса, Англия проживает свой капитал: «При сокращении морских перевозок и кризисе на европейском рынке Англия импортировала продовольствие, за которое не могла расплатиться». Говоря о правящей вер-

хушке, герой замечает: «...они на этом попадутся и даже очень скоро» [там же: 226].

В названии романа «Белая обезьяна» (англ. *The White Monkey*) Дж. Голсуорси использует не слово «аре» (букв. «примат», «бесхвостая обезьяна»), а «monkey», что в переносном значении на русский язык можно перевести как «мартышка» [Словарь 2010: 621]. Актуальный слой концепта «обезьяна» у Голсуорси включает значения «быстрота» и «ловкость», которые мотивируются любопытством и стремлением к новым впечатлениям и наслаждениям (схватить и съесть), но при этом на первый план выходит бессмысленность и безответственность, так характерные для жизни молодого поколения. Словами старого Монта в романе «Белая обезьяна» Дж. Голсуорси обличает стремление к новизне и безответственность современного человека: «За редкими исключениями все человечество – еще обезьяны, особенно ученая его часть. А если ты дашь обезьянам в лапы порох и горящую спичку, они сами себя взорвут, чтобы посмотреть, что из этого выйдет» [Голсуорси 1962: 184].

В произведениях современника Дж. Голсуорси, Г. Уэллса, автора научно-фантастических и социально-психологических романов, представление о человеческой природе и перспективах развития человечества развивается от оптимистически утопического (роман «Люди как боги», 1923) до скептически разочарованного.

В повести-притче «Игрок в крокет» (1936) Г. Уэллса концепт «обезьяна» используется с целью сатирического разоблачения конформизма, духовной узости западноевропейского обывателя накануне Второй мировой войны. Повествование ведется от лица героя-рассказчика, который хочет поведать о произошедших с ним необычных событиях и избавиться от смутного беспокойства и страха. Герой Джорджи Фробишер повествует о двух встречах, которые произвели на него неизгладимое впечатление, это встречи с доктором Финчэттоном и психиатром Норбергом. Глава «Крокетист представляется читателю» строится как самопрезентация героя, который сообщает о полученном воспитании, своем образе жизни и месте в обществе в соответствии с его видением. Формирование личности героя происходит в рамках ценностных ориентиров ушедшего викторианства: «Моя жизнь состояла из запретов и ограничений. Меня приучали сохранять спокойствие, быть учтивым и не выказывать своих чувств при всякого рода неожиданностях. А главное считаться только с тем, что общепризнанно, и соблюдать приличия» [Уэллс 1964: 483]. Джорджи неслучайно замеча-

ет, что он родился слишком поздно, чтобы принять участие в мировой войне, поэтому он не разочаровался в ценностях прошлой эпохи и жил «спокойно, окруженный комфортом». Фробишер с гордостью заявляет о своей принадлежности к «сливкам человечества» (выражение героя), знатным и богатым людям. Свое привилегированное положение он воспринимает как должное, само собой разумеющееся и неизменное. Интересно постоянное употребление местоимения «мы» в рассказе Джорджи, которое свидетельствует об определенной социальной группе, а точнее английской аристократии, от лица которой он выступает. Рассказ героя отмечен нотками и интонациями «простодушного». Герою тридцать три года, но рекомендует он себя уменьшительным именем Джорджи, и он «слишком похож на херувима». Традиционный прием, который активно использовался писателями еще в XVIII в. (Вольтер, Дидро и др.), предполагает с помощью остранения показ неразумного состояния общественного устройства. Но Уэллс прием простодушного выворачивает наизнанку. Невинность, незамутненность сознания (герой о себе: «Меня ничего не угнетает» [Уэллс 1964: 486]) говорят скорее о пороках самого героя, о его духовной слепоте, равнодушии к происходящему в окружающем мире, душевной черствости.

Встреча и беседы Фробишера с доктором Финчэттоном, который раньше активно интересовался политикой, вопросами общественной справедливости и войны, раскрывают, насколько герой-рассказчик («Вы как чистый лист бумаги!» – замечает Финчэттон [там же: 501]) чужд проблемам современности, не видит происходящего, спрятавшись в свой уютный мирок, комфортный и благополучный, символом которого является традиционная для английских аристократов игра в крокет.

В отличие от Фробишера, Финчэттон обладает обостренным чувством реальности. Страшное знание и опыт войны, неотъемлемой частью которой являлись бомбежки, страдания, смерть, приводят доктора Финчэттона к попытке убежать от действительности в глухое селение и жить без газет, не раскрывая «книг, написанных после Диккенса». Но и тут он ощущает постоянное беспокойство, интуитивно прозревает зло, которое таится в человеческой природе: жестокость, агрессивность, стремление к разрушению. Доктор Финчэттон старается передать ощущение неведомого страха, овладевшего им, поделиться предчувствиями надвигающейся опасности, пытается передать то состояние «кошмара», «сна наяву», которое он пережил, работая доктором в

селении Каиново болото. Найденный в этой местности череп доисторического пещерного человека становится символом всего темного, звериного в человеке, тех сторон человеческого существа, которые долго регулировались устойчивыми традициями культуры, особыми механизмами цивилизации. Но опыт XX в. разрушил привычные рамки и сдерживающие начала: принципы и традиции, нормы морали и религиозные представления. «Мы сломали рамки настоящего; и прошлое, долгое, темное прошлое, исполненное страха и злобы, о существовании которого наши деды не знали и даже не подозревали, хлынуло на нас. А будущее разверзлось, как пропасть, готовая нас поглотить. Вернулись звериные страхи, звериная ярость, и былая вера уже не в силах их сдержать. Пещерный человек, обезьяноподобный предок, зверь-прародитель вернулись», – рассуждает доктор Финчэттон [там же: 509] («We have broken the frame of the present, and the past, the long black past of fear and hate that our grandfathers never knew of, never suspected, is pouring back upon us. And the future opens like a gulf to swallow us up. The animal fears again and the animal rages again and the old faiths no longer restrain it. The cave-man, the ancestral ape, the ancestral brute have returned» [Wells]). Используя концепт «обезьяна» для изображения низменных сторон человеческой природы, Уэллс, без сомнения, следует традиции, заложенной Дж. Свифтом в знаменитом фантастическом романе «Путешествия Гулливера». В четвертой части произведения рассказывается о пребывании Гулливера в стране разумных лошадей, где герой знакомится с безобразными йеху. Обезьяноподобные существа, которые являются выродившимися потомками людей, воплощают различные человеческие пороки: жадность и коварство, ложь и тщеславие, агрессивность и похоть – и становятся индизнабельным образом «гносного озверения» [Свифт 1976: 357] человека, сатирическим разоблачением общественных болезней.

Но, что намного важнее, в произведении Уэллса концепт «обезьяна» опирается на естественно-научные теории происхождения человека. Стоит упомянуть, что Г. Уэллс прослушал курс биологии в колледже Лондонского университета (Ройал Сайенс колледж). Лекции читал крупнейший английский биолог Томас Хаксли, лучший ученик Ч. Дарвина [Жагарлицкий 1964: 15–16]. В повести актуализируются идеи и представления об устройстве общества и природе человека, которые сыграли революционную роль в формировании западноевропейского общественного сознания второй половины XIX в. Это

прежде всего теории Ч. Дарвина («Происхождение видов путем естественного отбора», 1859; «Происхождение человека и половой отбор», 1871), где эволюция рассматривается как принцип, связывающий высшие животные виды и человека в одно биологическое целое, социально-экономические (К. Маркс, Ф. Энгельс «Роль труда в превращении обезьяны в человека», 1876), психологические (З. Фрейд). Вектор культуры, который определяется материалистическим пониманием мира и социальных отношений (дарвинизм, позитивизм, марксизм), направлен на формирование представлений о человеке как о «венце природы». Развернутые метафоры, предполагающие сопоставление человека и обезьяны, в английской литературе теперь включают новый слой познавательного концепта – обезьяна не просто биологический вид, а предок человека, звено в эволюционной цепи.

Вырвавшаяся наружу «обезьянья природа» человека порождает разрушение и хаос, войну и насилие. В повествование доктора Финчэттона, которое больше похоже на бред больного человека или ужасные рассказы в духе Э. По, неожиданно вплетаются, казалось бы, бессмысленные фразы: «... я понял, почему убивают людей в Белфасте, Ливерпуле и Испании» [Уэллс 1964: 503], немного позже: «Маленькие дети, погибающие на улицах во время воздушных налетов» [там же: 512]. Герой из мира своих страхов и фантазий прорывается к реальным кошмарам эпохи, он видит зло, которое стало неотъемлемой частью человеческого существования XX в.

Уже из уст психиатра Норберта выносятся приговор современному человеку XX в: «Человек ничуть не изменился. Это – злобное, завистливое, коварное, жадное животное! Если отбросить все иллюзии и маски, человек оказывается все тем же трусливым, свирепым, лютым зверем, каким был сто тысяч лет назад. <...> Все вокруг нас рухнет <...> Вся цивилизация была жалкой бесполезной фикцией» [там же: 521]. Мысли о ненадежности механизмов культуры и цивилизации как регуляторов низменной («звериной») природы человека возникнут с новой силой после Второй мировой войны в произведениях таких английских писателей, как О. Хаксли, У. Голдинг, Дж. Оруэлл и др.

О. Хаксли был внуком выдающегося ученого Т. Г. Хаксли (Гексли). Несмотря на семейную традицию (старший брат Джулиан Хаксли был выдающимся биологом, сводный брат Эндрю Хаксли – знаменитый физиолог, лауреат Нобелевской премии), английский писатель выбирает другой путь изучения человеческой природы.

В антиутопии О. Хаксли «Обезьяна и сущность» (1948) представлена мрачная картина будущего человеческой цивилизации, которая поставлена на грань уничтожения в результате третьей мировой войны. Технократический путь развития человечества приводит к самоуничтожению, одичанию. В романе в художественной форме доводятся до логического завершения основные идеологические концепты XX в., которые отражают гордыню человека XX столетия: человек – венец природы, хозяин жизни, который с помощью разума и своей воли преобразовывает мир к лучшему, кардинально изменяет жизнь под влиянием научно-технического прогресса.

Основная часть романа – это киносценарий, который и рассказывает о постапокалиптическом будущем. Время действия – 2108 год, место действия – Калифорния, которая пережила атомную войну. В этом мире человек утрачивает свой облик и превращается в обезьяну, не метафорически, а буквально. Но как похоже это обезьянье общество на человеческое по своим внешним формам: кадры фильма предполагают изображение бабуинов в кинотеатре, на сцене яркая попида поет новый шлягер. Тоталитарное государство управляется с опорой на регуляцию основных инстинктов – голода и сексуального влечения. В этом мире Бог умер, выжившие поклоняются Дьяволу. Действие предполагаемого фильма сопровождается закадровыми комментариями Рассказчика, в которых концепт «обезьяна» приобретает символическое значение. Прямое обращение Рассказчика к читателю в духе эпического театра Б. Брехта придает произведению Хаксли черты памфлета.

Название романа (англ. *Ape and Essence*) – отсылка к комедии У. Шекспира «Мера за меру», где героиня Изабелла замечает: «Но гордый человек, что облечен / Минутным кратковременным величием / И так в себе уверен, что не помнит, / Что хрупок, как стекло, – он перед небом / Кривляется, как злая обезьяна (*an angry ape*), / И так, что плачут ангелы над ним, / Которые, будь смертными они, / Наверно бы до смерти досмеялись» (пер. Т. Л. Щепкиной-Куперник) [Шекспир 1960: 196–197]. Опять возникает семантика подражания, кривляния перед небом. Вся человеческая деятельность в романе оценивается как невежественная гордыня. Комментарий Рассказчика следует после шекспировской цитаты: «Едва ли следует добавлять: то, что мы называем знанием, – лишь другая форма невежества, разумеется, высокоорганизованная, глубоко научная, но именно поэтому и более полная, более чреватая злобными обезьянами. Когда неве-

жество было просто невежеством, мы уподоблялись лемурам, мартышкам и ревунам. Сегодня же благодаря нашему знанию – высшему невежеству – человек возвысился до такой степени, что самый последний из нас – это бабуин, а самый великий – орангутан, или, если он возвел себя в ранг спасителя общества, даже самая настоящая горилла» [Хаксли 2001: 37].

Для оценки разумной, а точнее интеллектуальной, деятельности человека Хаксли использует очень выразительную метафору – человеческий разум на поводке его обезьяньей сущности: поп-дива выводит Майкла Фарадея на поводке. А потом появляются и Альберты Эйнштейны (именно так, во множественном лице) на поводке у бабуинов-военных: ученые вынуждены создавать смертоносное оружие для уничтожения населения другой страны, понукаемые угрозами, подачками, идеологическими лозунгами («Где твой патриотизм?»). Обезьяна становится универсальным символом всего того, что угрожает жизни человека, подавляет его индивидуальность и свободу, гуманное начало. Обезьяна – это военщина, государство и церковь: «Церковь и государство, / Алчность и коварство – Два бабуина в одной верховной горилле», – комментирует Рассказчик [Хаксли 2001: 44].

В том, что человеческое терпит поражение, виноват сам человек, его разум. По мысли Хаксли, ответственность прежде всего лежит на людях образованных, ученых и философах, которые должны понимать, к каким последствиям приводят их теории и открытия. В словах Рассказчика чувствуется горькая ирония: «Биологи, патологи, физиологи – вот они идут домой, к семьям, после тяжелого трудового дня в лабораториях. Объятия сладкой женушки, возня с детками. Спокойный обед с друзьями, затем вечер камерной музыки, а может, умный разговор о политике или философии. <...> А утром, после апельсинового сока и овсяных хлопьев, они опять спешат на службу – выяснять, каким образом еще большее число семей, таких же, как их собственные, можно отравить еще более смертоносным штаммом...» [там же: 43].

Авторская мысль о том, что вся мощь человеческого интеллекта направлена на создание самых изощренных средств уничтожения: химического и бактериологического оружия, атомной бомбы и других, озвучивается Рассказчиком: «Цель обезьяной выбрана, лишь средства – человеком. / Кормилец Рарио и бабуинский содержанец, / Несется к нам на все готовый разум. / Он здесь, воняя философией, тиранам славословит; / <...> Здесь, с математикой вместе, готов напра-

вить все свои ракеты / На дом сиротский, что за океаном» [Хаксли 2002: 44].

Развернутая метафора «человек, как обезьяна», которую мы наблюдаем в более ранних произведениях (Г. К. Честертон, Дж. Голсуорси), в дальнейшем обретает презентацию в качестве художественного тождества «человек есть обезьяна» (Г. Уэллс, О. Хаксли). Английские писатели дают неутешительную картину, рисуя, чем стал человек XX в., утратив связь с Богом, уверившись в своем могуществе и избрности. Нравственный посыл писателей – сожаление, что человек забыл о другой части своей природы (духовной, идеальной), направив свой творческий потенциал не на созидание, а на разрушение.

Итак, концепт «обезьяна» в произведениях английских писателей XX в. возникает совершенно не случайно, а как реакция художественной литературы на болезненные процессы современной цивилизации, которая избрала индустриальный, технократический путь развития и в которой культура, духовность, нравственность играют незначительную роль. Изменение идеологической реальности (революционные научные открытия, новые социологические и философские концепции конца XIX – XX вв.) определяет символическое развертывание концепта «обезьяна», его художественную репрезентацию в английской литературе.

Список литературы

- Аскольдов С. А. Концепт и слово // Русская словесность. Антология / под общ. ред. проф. В. П. Нерознака. М., 1997. С. 267–279.
- Васильева Е. В. Духовный кризис рубежа XIX–XX веков в осмыслении Г. К. Честертон // Известия ВГПУ. 2015. № 3(286). С. 130–134.
- Голсуорси Дж. Собрание сочинений: в 16 т. М.: Правда, 1962. Т. 3. 568 с.
- Зинченко В. Г. Литература и методы ее изучения. Системно-синергетический подход: учеб. пособие. М.: Флинта: Наука, 2011. 280 с.
- Зусман В. Г. Диалог и концепт в литературе. Литература и музыка. Н. Новгород: ДЕКОМ, 2001. 168 с.
- Кагарлицкий Ю. И. Герберт Уэллс // Уэллс Г. Собрание сочинений: в 15 т. М.: Правда, 1964. Т. 1. С. 3–52.
- Плахтиенко О. П. Художественная проза Гилберта Кийта Честертон: дис. ... канд. филол. наук. Л., 1986. 272 с.
- Словарь. – Современный англо-русский русско-английский словарь. 75000. Ростов н/Д.: ООО «Удача», 2010. 768 с.

Свифт Дж. Сказка бочки. Путешествия Гулливера. М.: Худож. лит., 1976. 432 с.

Уэллс Г. Собрание сочинений: в 15 т. М.: Правда, 1964. Т. 12. 464 с.

Хаксли О. О дивный новый мир: Роман; Обезьяна и сущность: Роман; Через много лет: Роман / сост., вступ. ст. А. Шишкина; примеч. В. Бабкова. М.: ТЕРРА – Книжный клуб, 2002. 624 с.

Честертон Г. К. Вечный Человек. М.: Политиздат, 1991. 554 с.

Честертон Г. К. Избранные произведения: в 3 т. Т. 1: Наполеон Ноттингхилльский: Роман; Человек, который был Четвергом: Роман; Рассказы. М.: Худож. лит., 1992. 446 с.

Честертон Г. К. Человек с золотым ключом. М.: ЗАО Изд-во «Кукушка», 2003. 336 с.

Шекспир У. Полное собрание сочинений: в 8 т. М.: Искусство, 1960. Т. 6. 465 с.

Chesterton G. K. *The Man Who Was Thursday*. L.: Wordsworth EL, 1995. 150 p.

Coats J. D. *Chesterton and the Edwardian Cultural Crisis*. Hull: Hull Univ. Press, 1984. 266 p.

Wells H. *The Croquet Player*. URL: <https://ebooks.adelaide.edu.au/w/wells/hg/croquet-player/-chapter3.html> (дата обращения: 19.09.2018).

References

Askol'dov S. A. *Kontsept i slovo* [The concept and the word]. *Russkaya slovesnost' Antologiya* [Russian Literature. Anthology]. Ed. by Prof. V. P. Neroznak. Moscow, 1997, pp. 267–279. (In Russ.)

Vasil'eva E. V. *Dukhovnyy krizis rubezha 19–20 vekov v osmyslenii G. K. Chestertona* [G. K. Chesterton's understanding of the spiritual crisis at the turn of the 20th century]. *Izvestiya VGPU* [Izvestia VSPU], 2015, issue 3(286), pp. 130–134. (In Russ.)

Galsworthy J. *Sobr. soch. V 16 t.* [Collection of works. In 16 vols.]. Moscow, Pravda Publ., 1962, vol. 3. 568 p. (In Russ.)

Zinchenko V. G. *Literatura i metody ee izucheniya. Sistemno-sinergeticheskiy podkhod: uchebnoye posobie* [Literature and methods of studying it. System-synergetic approach: textbook]. Moscow, Flinta, Nauka Publ., 2011. 280 p. (In Russ.)

Zusman V. G. *Dialog i kontsept v literature. Literatura i muzyka* [Dialogue and concept in literature. Literature and music]. Nizhny Novgorod, DEKOM Publ., 2001. 168 p. (In Russ.)

Kagarlitskiy Yu. I. Gerbert Uells [Herbert Wells]. Uells G. *Sobranie sochineniy. V 15 t.* [Wells H. Collection of works. In 15 vols.]. Moscow, Pravda Publ., 1964, vol. 1, pp. 3–52. (In Russ.)

Plakhtienko O. P. *Khudozhestvennaya proza Gilberta Kiyta Chestertona*. Diss. kand. filol. nauk [Fiction by Gilbert Keiht Chesterton. Cand. phil. sci. diss.]. Leningrad, 1986. 272 p. (In Russ.)

Slovar' [Dictionary]. *Sovremennyy anglo-russkiy russko-angliyskiy slovar'* [Modern English-Russian, Russian-English Dictionary]. Rostov-on-Don, OOO Udacha Publ., 2010. 768 p. (In Eng., In Russ.)

Swift J. *A Tale of a Tub. Gulliver's Travels*. Moscow, Khudozhestvennaya Literatura Publ., 1976. 432 p. (In Russ.)

Wells H. G. *Sobraniye sochineniy. V 15 t.* [Collection of works. In 15 vols.]. Moscow, Pravda Publ., 1964, vol. 12. 464 p. (In Russ.)

Huxley A. *Brave New World: Novel; Ape and Essence: Novel*. Comp., preface by A. Shishkin, comments by V. Babkov. Moscow, Terra-Knizhnyy klub Publ., 2002. 624 p. (In Russ.)

Chesterton G. K. *Vechnyy chelovek* [The Everlasting Man]. Moscow, Politizdat Publ., 1991. 544 p. (In Russ.)

Chesterton G. K. *Izbrannyye proizvedeniya. V 3 t.* [Selected Works. In 3 vols.]. Moscow, Khudozhestvennaya Literatura Publ., 1992. Vol. 1. *Napoleon Nottingkhil'skiy: Roman; Chelovek, kotoryy byl Chetvergom: Roman; Rasskazy* [The Napoleon of Notting Hill: Novel; The Man Who Was Thursday: Novel]. 446 p. (In Russ.)

Chesterton G. K. *Chelovek s zolotym klyuchom* [The Man with a Golden Key]. Moscow, ZAO «Kukushka» Publ., 2003. 336 p. (In Russ.)

Shakespear W. *Polnoe sobraniye sochineniy. V 8 t.* [Complete Collection of works. In 8 vols.]. Moscow, Iskusstvo Publ., 1960, vol. 6. 465 p. (In Russ.)

Chesterton G. K. *The Man Who Was Thursday*. London, Wordsworth EL, 1995. 150 p. (In Eng.)

Coats J. D. *Chesterton and the Edwardian Cultural Crisis*. Hull, Hull univ. Press, 1984. 266 p. (In Eng.)

Wells H. G. *The Croquet Player*. Available at: <https://ebooks.adelaide.edu.au/w/wells/hg/croquet-player/chapter3.html> (accessed 19.09.2018). (In Eng.)

**THE CONCEPT 'APE' IN ENGLISH LITERATURE OF THE 20th CENTURY
(in Works by G. Chesterton, J. Galsworthy, H. Wells, A. Huxley)**

Ekaterina V. Vasiljeva

**Associate Professor in the Department of Russian Language, Modern Russian and Foreign Literature
Voronezh State Pedagogical University**

86, Lenina st., Voronezh, 394043, Russian Federation. vevvrn@mail.ru

SPIN-code: 8859-5329

ORCID: <http://orcid.org/0000-0001-5455-7910>

ResearcherID: Y-7542-2018

Submitted 20.12.2018

The article concerns the problem of artistic representation of the concept 'ape' in works of the 20th-century authors. Based on the novels by G. K. Chesterton, J. Galsworthy, A. Huxley, and the story by H. Wells, it is shown that the concept 'ape' may appear in titles, it is used in texts as a portrait description of a character or as a universal symbol of the modern civilization. Using various semantic features of the symbolic image of the ape, the English writers provide an artistic analysis of the Western European society of the first half of the 20th century. In the novel *The Man Who Was Thursday*, G. K. Chesterton, based on the traditional Christian symbols, uses the concept 'ape' to criticize nihilistic philosophic ideas characteristic of the late 19th – early 20th centuries. In the story *The Croquet Player*, H. Wells asserts that the 'ape' nature of a human being, when manifesting itself, leads to the destruction and chaos, war and violence. The analysis of the anti-utopia *Ape and Essence* by A. Huxley shows that the English writer observed the crisis of Western civilization of the 20th century: suppression of reason by base instincts as well as disregard of moral and spiritual values lead to degradation of the human. The research proves that the symbolic development of the concept 'ape' is closely connected with the emergence and development of scientific (C. Darwin), socio-economic (K. Marks, F. Engels) and psychoanalytical (S. Freud) theories explaining the nature of a human and society and being revolutionary in their essence and impact.

Key words: concept 'ape'; G. K. Chesterton; J. Galsworthy; A. Huxley; H. Wells; symbol.

УДК 821.161.1: 908

doi 10.17072/2037-6681-2019-1-98-109

РУССКИЙ АНАРХИЧЕСКИЙ ТЕКСТ В РОМАНЕ ТОМАСА БЕРНХАРДА «ИЗВЕСТКОВЫЙ ЗАВОД»: СТРАТЕГИИ РЕЦЕПЦИИ

Вера Владимировна Котелевская**к. филол. н., доцент кафедры теории и истории мировой литературы****Южный федеральный университет,****Институт филологии, журналистики и межкультурной коммуникации**344006, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 105/42. vvkotelevskaya@sfnu.ru

SPIN-код: 4877-5532

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-2650-7462>

ResearcherID: C-8059-2016

*Статья поступила в редакцию 11.12.2018***Просьба ссылаться на эту статью в русскоязычных источниках следующим образом:***Котелевская В. В. Русский анархический текст в романе Томаса Бернхарда «Известковый завод»: стратегии рецепции // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2019. Т. 11, вып. 1. С. 98–109. doi 10.17072/2037-6681-2019-1-98-109***Please cite this article in English as:***Kotelevskaya V. V. Russkiy anarkhicheskiy tekst v romane Tomasa Bernkharda «Izvestkovyy zavod»: strategii re-tseptsii [Russian Anarchist Text in the Novel ‘The Lime Works’ by Thomas Bernhard: Reception Strategies]. *Vestnik Permskogo universiteta. Rossiyskaya i zarubezhnaya filologiya* [Perm University Herald. Russian and Foreign Philology], 2019, vol. 11, issue 1, pp. 98–109. doi 10.17072/2037-6681-2019-1-98-109 (In Russ.)*

Исследуется рецепция австрийским писателем Томасом Бернхардом (1931–1989) русского анархического текста, рассматриваемого на примере «Записок революционера» Петра Кропоткина (1899). Бернхард читал этот текст во время работы над романом «Известковый завод» (*Das Kalkwerk*, 1970). Анализируются интертекстуальные параллели между данным романом и мемуарами П. Кропоткина, выявляются анархические идеи у раннего и позднего Бернхарда, прослеживаются биографические аналогии (дед писателя Йоханнес Фроймбихлер / Петр Кропоткин). В ходе исследования делаются выводы: 1) анархизм воспринимался Бернхардом как философия нигилизма – бунт против «отцов», «лжи» институций, непродуктивности «административной машины» (П. Кропоткин); 2) нигилистические взгляды Бернхарда развивались в контексте немецкой и австрийской «критики языка»; 3) кропоткинская идея освобождения людей от гнета государства апроприруется героем-эгоцентриком, не способным на кооперацию с людьми; 4) в «Записках революционера» описан опыт заключения Кропоткина в Петропавловской крепости, в то время как Бернхард искусственно моделирует изоляцию протагониста Конрада от мира в метафорической тюрьме языка / письма; 5) в отличие от героя Бернхарда, ставящего перед собой «абсолютную» цель (познание имманентной сущности слуха), автобиографический герой «Записок революционера» решает практические задачи, связанные с преобразованием социально-политической действительности. Таким образом, кропоткинский анархо-коммунизм деконструируется Бернхардом в неоромантическом ключе, лишается политической программности и возводится в модернистскую эстетическую программу абсолютного языка и абсолютного текста. Метафора известкового завода семантизируется как пространство творения, «анархической» свободы и одновременно аскетического мученичества, преступления, (само)разрушения.

Ключевые слова: русский анархо-коммунизм; австрийская литература XX в.; критика языка; тюрьма языка; литература модернизма; абсолютный текст; интертекстуальность; Петр Кропоткин; «Записки революционера»; Томас Бернхард; «Известковый завод».

Русская литература оказала большое влияние на творчество австрийского модерниста Томаса Бернхарда (1931–1989) [Леман 2018; Ritter 2014; Levkina 2016]. Об этом свидетельствуют обилие проблемно-тематических, сюжетных переключек с прозой Гоголя, Достоевского, Толстого; близость бернхардовского героя, добровольно ввергнутого в «ад ума» [Голосовкер 1963: 93], «подпольным» героям Достоевского, а его повествовательной маски – речевому поведению нарциссического субъекта Достоевского (ср.: [Ромашко 2004; Ташкенов 2009; Новикова 2013; Котелевская 2018; Levkina 2016]). Открыто признается в любви к русской литературе повествователь, альтер эго автора, в ряде романов, называя «моим» Пушкина, Гоголя, Достоевского. В документальном фильме-интервью «Три дня» (1970), пунктирно обозначая поле литературных влияний, Бернхард перечисляет Лермонтова, Достоевского, Тургенева, резюмируя: «по сути, все русские [писатели]» [Bernhard 1989: 87]. Бесспорно, эту реплику следует понимать не буквально, а как свойственный австрийскому «мастеру преувеличений» (В. Шмидт-Денглер) жест гиперболизации, однако такой жест как раз и оказывается важным для понимания значимости русского текста в художественном мире писателя. К. Риттер приводит описание библиотеки Бернхарда в его архиве: среди переводных русских книг – произведения Пушкина, Толстого, Достоевского, Гончарова, Тургенева, Лескова, Блока, Цветаевой, Шкловского, Айги и др., причем большинство из них буквально залистаны, во многих имеются пометки и записи на полях [Ritter 2014: 185–194].

Наиболее подробным исследованием компаративного аспекта «Бернхард и русская литература» на сегодняшний день является монография А. Левкиной [Levkina 2016]. Однако очевидно, что каждому из пунктов, рассмотренных в данной книге (Бернхард и Лермонтов, Бернхард и Достоевский и т. д.), может быть посвящена отдельная обстоятельная работа, при этом следует учитывать и целый ряд типологических сходжений, не связанных с заимствованиями, намеренными или непреднамеренными: например, воззрения Мандельштама и Бернхарда на «конец романа» [Мандельштам 1993], развивавшиеся в русле новаций модернизма¹; метапрозаические стратегии, сближающие прозу Бернхарда с творчеством Д. Хармса, К. Вагинова, С. Соколова; бернхардовские приемы музыкализации дискурса, в которых обнаруживается сходство с цветаевской «лингвистической» поэтикой 1920–1930-х гг.; и мн. др. Особый теоретический, культурно-типологический интерес представляют стратегии интертекстуального диалога: практиковавшиеся

Бернхардом присвоение, ассимиляция, деконструкция *чужого*, независимо от материала, свидетельствуют о виртуозном коммуникативном инструментарии австрийского автора, ощущавшего себя не встроенным в институции «писателем» («Schriftsteller»), а просто «пишущим» («jemand, der schreibt») [Bernhard 1989: 83], и свободно чувствовавшего себя только в изолированном от *шума времени* пространстве текста, своего и / или чужого.

В данной статье будет рассмотрен один из сюжетов обращения Бернхарда к русской культуре – освоение им идей, личности, текста Петра Алексеевича Кропоткина («Записки революционера», 1899). Объектом исследования являются стратегии рецепции русского анархического текста на примере формально-содержательных аналогий между романом Бернхарда «Известковый завод» и «Записками революционера» Кропоткина. Цель исследования – выявить стратегии диалога с русским анархическим текстом и продемонстрировать принципы его функционирования. В качестве материала привлекается обширный корпус текстов Бернхарда, понимаемый как целостный, связный гипертекст. В качестве методологической основы используются идеи русской поэтики романа (М. М. Бахтин, Л. Я. Гинзбург и др.), модель компаративной поэтики, а также общая для исследований литературы – западных после 1968 г. и российских с конца 1980-х гг. – концепция интертекстуальности как обращенности, намеренной и непреднамеренной, произведения к чужим текстам: объем и способы трансформации чужого текста реконструируются на трех уровнях – уровне *интенций автора* (1), *эксплицитно-текстуальном* (2) и *рецептивно-герменевтическом*, т. е. на уровне интерпретативного и культурного горизонта исследователя / читателя (3).

Специального исследования романа «Известковый завод» в контексте идей Кропоткина в отечественной германистике не проводилось, кроме того, роман не переведен на русский язык и пока не включен в поле отечественной литературоведческой рецепции.

Начнем с того, что анархизм представлен у Бернхарда в самых общих чертах, скорее как практическая философия нигилизма, а не политическая программа: это бунт против поколения «отцов», против «лжи» институций, непродуктивности «административной машины» (П. Кропоткин), против практик «дисциплинарности» (М. Фуко); это неприятие любых официальных партий и программ, благодаря чему возникает сквозной для всех его произведений лексико-семантический маркер – «так называемый» (sogepannt) знак деконструкции всякой институцио-

нальной «истины». В немецкой и австрийской мысли XIX–XX вв. эти идеи развивались в русле «критики языка» (Sprachkritik, Sprachkrise), разрабатывавшейся Ницше, Гофмансталем, Витгенштейном, Краусом, Маутнером, по сути, подготовившими почву для критической теории и постструктуралистской деконструкции (см. подробно: [Котелевская 2018: 49–103]).

В австрийской литературе после 1945 г., в которую входит юный Томас Бернхард, нигилистические, бунтарские настроения были подкреплены отчуждением молодежи от поколения отцов, запятнавших себя коллаборационизмом во времена аншлюса. В этом контексте можно вспомнить нашумевшую в 1966 г. пьесу Петера Хандке «Поругание публики» («Publikumsbeschimpfung») или скандальное стихотворение «срать и ссать» («scheissen und brunzen») Конрада Байера и Герхарда Рюма, представителей неоавангардной «Венской группы», встраиваемое исследователем М. Концеттом в ряд австрийских «иконоборческих» текстов. Карнавально-обценное поношение всех представителей семьи по очереди (матери, отца, деда и т. д.) отождествляется авторами с самим «искусством» («scheissen und brunzen sind kunsten») и предлагается в качестве негативной эстетической программы. М. Концетт так комментирует этот текст: «Стихотворение, намеренно провоцирующее хороший вкус, обнажает глубокую ненависть к семье как к институции с непререкаемым авторитетом. Кроме того, оно отражает сомнительность поддержки семейных ценностей в среде, где одни семьи слишком часто санкционировали убийство других семей. Во многих романах Бернхарда тоже разыгрываются гротескные, поистине готические семейные сценарии, подрывая этот традиционный источник национально-культурной идентичности. Послевоенное поколение Австрии сначала должно фигурально совершить отцеубийство, чтобы дистанцироваться от преступлений родителей и определить себя вне этого обременительного наследия» [Konzett 2002: 8].

В русской классической литературе, на которую был ориентирован Бернхард, обостренным чувством «лжи» институций (государства, церкви, семьи) и лжи языка как поля социальных конвенций обладали Толстой и Достоевский: неудивительно, что повесть «Смерть Ивана Ильича», в которой блестяще разоблачается фальшь «комильфотного» жизненного уклада и изображается обретение подлинной экзистенции на пороге смерти, была любимейшей у Бернхарда, а «Записки из подполья», «Униженные и оскорбленные», «Бесы», «Братья Карамазовы» перечитывались им на протяжении всей жизни и так или иначе встроены в его творчество. Анархиче-

ский бунт с большей или меньшей отчетливостью звучит в его пьесах «Охотничий клуб» («Die Jagdgesellschaft», 1974), «Президент» («Der Präsident», 1975), «Площадь героев» («Heldenplatz», 1988), в романах «Стужа» («Frost», 1963), «Амрас» («Amras», 1964), «Известковый завод» («Das Kalkwerk», 1970), «Ходить» («Gehen», 1970), «Причина: Прикосновение» («Die Ursache. Eine Andeutung», 1975), «Холод: Изоляция» («Die Kälte. Eine Isolation», 1981), «Изнитожение: Распад» («Auslöschung. Ein Zerfall», 1986). Русский анархический текст представлен у него именами Михаила Бакунина (в «Изнитожении: Распаде») и Петра Кропоткина (в целом ряде произведений, на которых будет сосредоточено внимание далее). Интерес Бернхарда к основателю русского анархо-коммунизма видится в этом контексте вполне обоснованным.

Имя Петра Кропоткина (1841–1921) настойчиво повторяется в двух его значимых романах. Австрийский писатель упоминает русского анархиста и революционера в «Известковом заводе» и в своем *opus magnum* «Изнитожение: Распад». Кропоткинский интертекст присутствует здесь в наиболее скупой, лаконичной версии из всех возможных: в виде упоминания фамилии (в «Известковом заводе» она фигурирует 76 раз) или названия одного-единственного произведения: «Записки революционера», «кропоткинские мемуары» («Memoiren eines Revolutionärs», «Kropotkinsche Memoiren»). В библиотеке Бернхарда сохранились два немецких издания (Франкфурт-на-Майне, «Инзель»): издание 1969 г., которое он читал во время работы над романом, и переиздание 1973 г., оба – в авторизованном переводе Макса Паннвица [Ritter 2014: 190].

Как видится, стратегии интертекстуального диалога Бернхарда с чужим текстом могут быть здесь охарактеризованы как *апология*, *присвоение* и *деконструкция*.

Это, во-первых, патетическая *апология* идеала анархиста – практика и философа социальной свободы, философа в эмиграции: Петр Кропоткин превращается под пером Бернхарда в своего рода культурного героя и сакрализируется в таких произведениях, как «Корректур» («Korrektur», 1975), «Площадь героев», «Известковый завод», «Изнитожение: Распад». Во-вторых, совершается присвоение, или *ассимиляция чужого* (так, например, «мемуарное» психологическое письмо и возврат к собственному детству осуществляются Бернхардом в автофикциональной пенталогии 1970–1980-х гг., в которой нельзя не заметить влияние кропоткинского повествовательного образца). В-третьих, чужое подвергается *деконструкции* (в «Известковом заводе» идея освобождения людей от гнета государства ин-

корпорирован в чуждый контекст – присваивается героем-нарциссом, «гением», эгоцентриком, патологически не способным на единение с людьми, кооперацию, столь важную в концепции Кропоткина (ср. о несоответствии «асоциального солипсизма» Конрада «общественной модели» русского анархиста: [Леман 2018: 385]). Деконструкции подвергаются и ключевые темы, образы «Записок» Кропоткина (например, «тюрьма»).

Итак, что изымается Бернхардом из чужого текста ради новой жизни в собственном художественном микрокосме? Каким способом чужое встраивается в архитектуру его прозы? Как это чужое меняет ее смыслы и при этом «корректируется» само, вплоть до искажения и анархического (sic!) «изничтожения» (если воспользоваться магистральными метафорами Бернхарда – *Korrektur* и *Auslöschung*)? Рассмотрим подробно, как это функционирует в романе «Известковый завод».

Идеи анархо-коммунизма русский дворянин, офицер, геолог и географ Петр Алексеевич Кропоткин выразил в программных текстах «Хлеб и воля», «Поля, фабрики и мастерские», «Взаимопомощь как фактор эволюции». Одно из европейских изданий, «Paroles d'un Révolté» («Речи мятежника»), предвосхитило название знаменитого «Бунтующего человека» («L'Homme Révolté») А. Камю. Немало статей Кропоткин печатал во французской анархистской газете «Le Révolté» («бунтарь», «мятежник»). После бегства из «госпитальной тюрьмы» топографию жизни и деятельности, политической и научной, Петр Кропоткин постоянно расширяет: Швейцария, Англия, Шотландия, Франция, Канада. Деятельность его с 1876 г. вплоть до 1917 г. протекает в Европе. Он читает лекции, знакомится с рабочими, просвещает их, изучает промышленно-экономическое устройство фабрик и заводов на месте, на практике. Ранее, во время своей службы в Сибири, он наблюдал бесчинство, коррупцию, лень чиновников и лицемерие подчиненных на всех уровнях государственного управления. Следует также добавить, что если унижительные условия существования рабочих он познает, активно участвуя в европейском и русском анархическом движении, то бесправие крестьян – наблюдая с детства устройство помещичьего быта (подробными зарисовками изобилуют начальные главы «Записок»).

Кропоткину было свойственно глубокое сострадание к тем, кого, по статусу, от рождения, он должен был бы воспринимать как законно эксплуатируемый класс. Приведем одну из красноречивых реплик в «Записках революционера»: «Мне хотелось разработать теорию о ледниковом периоде, которая могла бы дать ключ для пони-

мания современного распространения флоры и фауны, и открыть новые горизонты для геологии и физической географии. Но какое право я имел на все эти высшие радости, когда вокруг меня гнетущая нищета и мучительная борьба за черствый кусок хлеба? Когда все, истраченное мною, чтобы жить в мире высоких душевных движений, неизбежно должно быть вырвано из рта сеющих пшеницу для других и не имеющих достаточно черного хлеба для собственных детей? У кого-нибудь кусок должен быть вырван изо рта, потому что совокупная производительность людей еще так низка» [Кропоткин 1988: 236–237]. Подобное сострадание к крестьянам и городским беднякам, чувство вины перед ними за социальную несправедливость можно найти и в прозе Бернхарда, в особенности в романах «Подвал: Ускользание» («Der Keller. Eine Entziehung», 1979), «Изничтожение: Распад». А. Левкина находит множество сюжетно-тематических параллелей между последним романом и «Записками революционера» – в изображении «простого народа» [Levkina 2016: 160–172] или в критике социальных, религиозных, политических институций, в особенности семьи, – красноречиво обозначая «Изничтожение: Распад» как «антисемейный роман» [ibid.: 166].

«Записки революционера», почти 600-страничное сочинение, создаются уже 60-летним Кропоткиным, обзревающим свою жизнь с детства до зрелости. И хотя на протяжении всей книги он излагает свои воззрения на роль человеческой кооперации, развитие производства, равенство прав и пр., «Записки» читаются как глубоко личный текст: это классическая мемуарная проза, напоминающая в первых главах «Воспоминания» Аксакова и трилогию Толстого, полная психологических зарисовок, социальных портретов, живая и искренняя, прослеживающая связь политических идей с экзистенциальным самопостижением автора. И именно эту книгу, а не политические трактаты и программные статьи, вводит Бернхард в качестве «анархистского палимпсеста» (А. Левкина) в роман «Известковый завод».

Сюжетный контекст «кропоткинских мемуаров» в «Известковом заводе» следующий.

Больная жена протагониста Конрада просит мужа читать ей из «Генриха фон Офтердингена» Новалиса вслух, а он, в свою очередь, читает ей вслух «своего» (mein) Кропоткина. Эти два метафизических сигнала везде появляются в паре, составляя характерное для бернхардовского стиля антифонное двухголосие. Следует подчеркнуть, что отношения австрийского писателя с интертекстом почти всегда носят характер личностно-присваивающего жеста (из произведения

в произведениях им атрибутируются как «мой»: Новалис, Шопенгауэр, Стерн, Дидро, Жан-Поль, Паскаль, Монтень, Витгенштейн, Гоголь, Достоевский и др.). Из «революционных» авторов у Бернхарда фигурировал также Ленин, но не здесь, а в черновике дебютного романа «Стужа»: персонаж Ляйтлебиг, служащий железной дороги, публицист местной газеты и член компартии, штудирует его полное собрание сочинений (Бернхард, наделяя героя столь основательным подходом к предмету интереса, словно иронизирует над семантикой его фамилии: ‘беззаботный, легкомысленный’). Кстати, в библиотеке писателя имелись и сборник статей В. И. Ленина в немецком переводе, опубликованный в 1971 г. московским издательством «Прогресс» [Ritter 2014: 190], и «Капитал» К. Маркса [idid.: 195].

Между тем ни в тексте «Известкового завода», ни в прямых высказываниях писателя нет каких-либо объяснений насчет роли кропоткинских мемуаров в замысле романа.

Сюжет романа вкратце таков: Конрад, свободный исследователь, 20 лет работает над трактатом «Слух», в котором видит единственный смысл своей жизни. Для полного творческого уединения он выкупает у родственника заброшенный известковый завод, переезжает туда с больной женой (она прикована к инвалидному креслу); реконструирует здание, устранив все украшения, «все упростив», задраив окна решетками, двери – крепкими замками, окончательно изолировавшись от внешнего мира; однако текст трактата не движется вперед, рукопись постоянно уничтожается Конрадом, он на грани отчаяния. Тем временем отношения с женой, над которой он годами проводит фонологические эксперименты в исследовательских целях, окончательно разрушены; в ночь на Рождество он убивает ее из карабина «Маннлихер». Сообщением об убийстве и аресте начинается «Известковый завод».

Основной объем романа составляет вовсе не развертывание событийной канвы (она предельно скупа), а пассажи с нигилистической рефлексией героя над ключевыми для него узнаваемо романтическими темами: бунт против государства, критика «так называемой» науки, хвала музыке, звуку и слуху, гений и одиночество, гений и семья, гений и обыватели, исследование «в голове» и «на бумаге», страх чистого листа и др. Все размышления Конрада транспонированы: они пересказаны его знакомыми Фро и Визером, речь которых, в свою очередь, транслирована, словно судебным репортером, анонимным повествователем (о «воспроизводящей структуре» речи в связи с акустическими экспериментами Конрада см. подробно: [Prevešić 2014]). Прием

косвенной речи постоянно использовался Бернхардом как иллюстрация тотальной опосредованности (и, следовательно, искаженности, «лживости») всякой мысли, или, литературоведческим языком, интертекстуальности: как красноречиво замечает Каррер, герой романа «Ходить» («Gehen», 1970), «по сути, все, что говорится, цитирует [уже сказанное]» («Im Grunde ist alles, was gesagt wird, zitiert») [Bernhard 2006: 157] (курсив автора). Кстати, эту, как и другие реплики Каррера, цитирует Элер, фигуру которого вводит в роман рассказчик, цитирующий, в свою очередь, речи Элера. Интертекстуальность в системе координат Бернхарда – не только свобода жить в безграничной *Kopfbibliothek* (неологизм из «Изничтожения: Распада»), но и «тюрьма» языка. Метафоры тюрьмы, заточения, суда, – пожалуй, из тех, что наиболее тесно связывают роман Бернхарда с «Записками» Кропоткина, хотя интерпретация этих метафор существенно различается у двух авторов.

Есть всего одна, короткая, хотя и воодушевленная, реплика Бернхарда в письме к директору издательства «Зуркамп» З. Унзельду от 11.5.1969: «Я в восхищении от Кропоткина!!!» [Bernhard 2011: 110]. В постскрипуме реплика дополняется язвительным комментарием относительно современного состояния немецкой литературы: «Наша литература по большей части, как и то многое, что издаете Вы, себя-то я подвесил бы, конечно, повыше, это нескончаемая мертвечина [eine unendliche Leiche], без философии и поэзии и без элементарного вкуса и интеллекта» [ibid.]. Таким образом, реконструировать смыслы русского анархического интертекста следует, исходя из поэтики рассматриваемого здесь романа, не апеллируя к прямым высказываниям автора (или повествователя), а также из всего бернхардовского гипертекста – его лейтмотивов, образов, идей, биографических данных наконец. На этом пути выявляются несколько ключевых аспектов.

В первую очередь, Бернхард был впечатлен личностью и биографией Кропоткина и, бесспорно, находил в ней переключки с полной испытаний жизнью своего деда. В системе ценностей Бернхарда это философ в изгнании, непризнанный гений – топос, связанный с образом его деда Йоханнеса Фроймбихлера, писателя без читателя – человека, увлекавшегося в молодости анархическими идеями, преследуемого полицией, отдавшего впоследствии жизнь созданию большого романа (публикации он дождется лишь в глубокой старости). В различных интервью и документальной исповеди «Три дня», в автофикциональной пенталогии, в намеках, рассыпанных по романам (например, в «Бетоне»), писатель создает образ деда как сакральной, одновремен-

но любимой и ненавидимой фигуры. Страсть Йоханнеса Фроймбихлера к письму, модель жизни как письма, вопреки социальному неукладу, легла в основу магистрального сюжета всего творчества Бернхарда. Утопичность сизифова труда письма, притязающего стать абсолютным Gesamtkunstwerk, воплощенная в бесконечных попытках Конрада написать-таки идеальный трактат о слухе, возможно, соотносится в «Известковом заводе» с утопизмом всякого революционно-анархического проекта: так, вернувшийся после 1917 г. в Россию Кропоткин был глубоко разочарован той реальностью, с явными признаками тоталитаризма, репрессивности, несвободы, в которую воплотился проект русской большевистской революции. «Головной» проект, по мысли героев Бернхарда, всегда обречен на катастрофу в реальности. Здесь можно увидеть пути адаптации проекта Кропоткина в художественном проекте «анархиста» Конрада и других героев мятежного австрийца: «спаситель человечества» (если вспомнить название одной из пьес Бернхарда в переводе М. Рудницкого: в оригинале «Weltverbesser») человечеством не понят, идеи его неверно процитированы, транслированы и воплощены.

Неоромантическая фигура гения, не признанного и не понятого в своем отечестве, – сквозная в произведениях Бернхарда. В этом плане с Кропоткиным более мощно конкурирует, конечно, Витгенштейн, также сакрализованный Бернхардом [Котелевская 2018: 298–323]. Несомненно, нельзя не учитывать и обаяние личности Кропоткина, потрясающего в «Записках» подлинной любовью к несчастной родине, состраданием участия крестьян и рабочих, всех несправедливо угнетаемых и осужденных. *Милость к падшим*, симпатия к маргиналам, к жертвам несправедливости и насилия – любимая тема Бернхарда. Так, Ройтхамер из «Корректур» решает раздарить наделы родовой земли освободившимся из тюрем, а герой «Изничтожения: Распада» завещает наследство еврейской общине. О сострадании ко всем падшим говорит Штраух в «Стуже» (угадывается реминисценция Псалма 144: «Поддерживает Господь всех падающих и поднимает всех поверженных»). Следует учитывать и юношеский опыт Бернхарда – судебного репортера. Впоследствии, в интервью 1987 г., он высоко оценивал влияние на свое творчество наблюдений тех лет – картин социального неравенства, несправедливости государства и формального права в отношении самых незащищенных слоев населения: «Бесценный капитал. Я думаю, корни именно там» (цит. по: [Mittermaier 2015: 91]). Подобно Достоевскому, Кафке или Камю, он черпал из реальности фабульный

материал, возводя казус очередного «процесса» в экзистенциальный сюжет, общечеловеческую притчу о «преступлении и наказании». Свод таких сюжетов он представил в своем раннем сборнике миниатюр «Происшествия» («Ereignisse», 1967) [Бернхард 2017], аскетичный стиль которых выдержан в кафкианской судебно-процессуальной манере.

Представлением об анархической природе «гения» можно объяснить типаж бернхардовских протагонистов: его математики, философы, архитекторы, музыковеды, писатели всегда – аутсайдеры, «свободные исследователи», осуществляющие поистине сизифов труд – проводя свои исследования вне каких-либо институций. Сравним с Кропоткиным. Несмотря на то что он отнюдь не являлся аутсайдером, – напротив, пафос его деятельности всегда был направлен на наиболее полезное служение государству и обществу, – ему не были свойственны тщеславие или карьеризм: несколько раз он отказывался от выгодных карьерных предложений, трезво оценивая свои силы и беря во внимание прежде всего продуктивность той или иной должности для блага дела, а также прислушиваясь к внутреннему, экзистенциальному камертону. Например, успешно и со страстью занимаясь исследованиями русского Севера и мечтая о должности секретаря Географического общества (она позволила бы ему реально влиять на решения и действия этой институции), в момент, когда должность ему наконец предлагают официально, он отказывается. Как и герои Бернхарда, превыше всего ценящие возможность и способность «думать», прежде чем действовать, Кропоткин переосмысляет и свою жизнь, и задачи своей грядущей деятельности: «Часто случается, что люди тянут ту или другую политическую, социальную или семейную лямку только потому, что им некогда разобраться, некогда спросить себя: так ли устроилась их жизнь, как нужно? Соответствует ли их занятие их склонности и способности и дает ли оно им нравственное удовлетворение, которое каждый вправе ожидать в жизни? Дейтельные люди всего чаще оказываются в таком положении. Каждый день при носит с собою новую работу, и ее накапливается столько, что человек поздно ложится, не выполнив всего, что собирался сделать за день, а утром поспешно хватается за дело, недоконченное вчера. Жизнь проходит, и нет времени подумать, что некогда обсудить ее склад. То же самое случилось и со мной. Но теперь, во время путешествия по Финляндии, у меня был досуг. Когда я проезжал в финской одноколке по равнине, не представлявшей интереса для геолога, или когда переходил с молотком на плечах от одной балластной ямы к

другой, я мог думать, и одна мысль все более и более властно захватывала меня гораздо сильнее геологии...» [Кропоткин 1988: 234–235].

Иными словами, Кропоткину удается избежать участи толстовского карьериста Ивана Ильича, существовавшего «приятно и прилично», не задумываясь о *складе* жизни и с ужасом осознавшего перед кончиной, что «все то, чем он жил <...> все это было не то»: «И его служба, и его устройства жизни, и его семья, и эти интересы общества и службы – все это могло быть не то» [Толстой 1964: 112]. Кропоткин приходит к идее борьбы за равенство в доступе к знаниям и орудиям производства. Пока народ живет в нищете, проекты по изучению географии России и ее экономическому обустройству, исходя из понимания климатических, геологических зон и пр., видятся ему бессмысленными. Так из Кропоткина-ученого формируется Кропоткин-политик.

Герои Бернхарда не делают такого шага, упорно, вплоть до смерти, пребывая в стадии бунтарей-одиночек. Попытка быть полезным государству, встроиться в машину образования или науки терпит в его произведениях крах: именно так, например, выстроена в романе «Ходить» сюжетная линия ученого Холленштайнера, повесившегося после того, как государство лишило финансирования возглавляемый им институт химии (добавим, что переживший эту трагедию друг детства Холленштайнера, Каррер, математик без кафедры, в итоге «окончательно» сходит с ума и попадает в психиатрическую лечебницу, – вероятно, последнее свое пристанище). Анархическим, аутсайдерским духом проникнут и биографический миф, создаваемый Бернхардом о пианисте Гленне Гульде («Пропавший» / «Der Untergeher», 1983) или о Пауле Витгенштейне («Племянник Витгенштейна» / «Wittgensteins Neffe», 1982). Его протагонисты всегда движутся в направлении, противоположном мейнстриму, публичному успеху или сотрудничеству с властью (ср. лейтмотив «Gegenrichtung» в романе «Подвал: Ускользание»).

Бернхард, с одной стороны, предстает приверженцем анархической идеи, апологетически оценивая кропоткинский текст и встраивая его в роман «Известковый завод» как любимый текст героя, с другой стороны, он достаточно вольно его адаптирует, присваивая идею бунта против официальной «административной машины», но развертывая ее в неоромантическом ключе, по сути, выдвигая на первый план элитарную, автономную личность «гения». Так или иначе педалью в «Известковом заводе» имя Кропоткина, автор настойчиво настраивает «слух» читателя на анархический регистр.

Как было отмечено в начале статьи, есть между романом Бернхарда и «Записками» Кропоткина, помимо довольно общих идеологических схождений, и более предметные, детальные переклички. Речь идет о двух сюжетно-тематических блоках: «холод» и «тюрьма».

Кропоткин, повествуя о своей государственной службе в Сибири, Финляндии, а кроме того, описывая заточение в Петропавловской крепости, тематизирует *холод*. Сибирские ландшафты, суровый климат, постижение истории и геологии этого края, «строения Сибири» [Кропоткин 1988: 233] составляют одну из важных жизненных и научных вех Кропоткина. Тема холода важна в связи с деятельностью Кропоткина в Географическом обществе, его геолого-географическими штудиями: он пишет «Исследование о ледниковом периоде», проектирует «полярную экспедицию» в обстоятельном докладе для Географического общества [там же: 232]. Впоследствии жизнь в сырых и выстуженных казематах он сравнивает с «арктической зимовкой». Надо ли говорить, что тема холода является одной из сквозных в творчестве Бернхарда, начиная с романа «Стужа». Прогулки по обледенелым разломам, образ сдавленной горами деревни, ощущение пронизывающего холода – все это, включая гибель протагониста Штрауха во время зимней прогулки, составляет атмосферу этого романа. Страх задохнуться и замерзнуть – также одна из сквозных тем австрийца, она кочует из произведения в произведение («Холод: Изоляция», «Бетон», «Ходить» и мн. др.), связывая всех героев, усиливая свойственный всем им дух одиночества, изоляции, отторгнутости от мира, дышащего на них «стужей». Как видим, речь может идти исключительно о тематической перекличке, поскольку трактуется тема холода у Кропоткина и Бернхарда по-разному. Однако становится понятным восторг австрийского писателя, обнаружившего вдруг столь влекущие его картины суровой природы, образы стужи, льдов, вечной мерзлоты – те самые, которые проносились в его воображении во время работы над первым романом и, вероятно, составлявшие важную часть внутреннего ландшафта впоследствии (о воображаемых ландшафтах Бернхарда см. подробно: [Котелевская 2017]). Примечательно и другое совпадение, предвосхищающее интерес писателя к геологическим штудиям Кропоткина: первоначальное название романа «Стужа», отвергнутое в итоге издательством «Зуркамп», было «Ледниковый период» («Eiszeit») [Botond 2018]. Несомненно, Бернхард вкладывал в него философско-метафорический смысл, намекая на нравственное состояние человеческого рода и выводя этот смысл далеко за пределы конкретного значения –

суровых погодных условий в альпийской деревне Венг.

В этот же сюжетно-тематический блок вписывается и образ тюрьмы, раскрывающийся у Кропоткина в конкретно-историческом воплощении, а у Бернхарда – по большей части в метафорическом. Если у Кропоткина это документальный локус, у Бернхарда тюрьма наделена ассоциативно-разветвленным, художественным смыслом.

Одной из важных параллелей в изображении «тюрьмы» Кропоткиным и Бернхардом является сюжетная связь с письмом – *возможностью* / *невозможностью* сочинительства, интеллектуальной работы.

В Петропавловской крепости самым страшным наказанием для Кропоткина, судя по его воспоминаниям, оказался первоначальный запрет вести записи. Снять запрет удалось не сразу, только благодаря хлопотам его брата, который заручился поддержкой Географического общества и выпросил разрешение у самого Александра II. Работать было дозволено до заката солнца – в условиях Петербурга это было три часа пополудни. Кропоткин описывает свой восторг в главе «Научная работа в крепости»: «Итак, я мог снова работать. Трудно было бы выразить, какое облегчение я почувствовал, когда снова мог писать. Я согласился бы жить всю жизнь на хлебе и воде, в самом сыром подвале, только бы иметь возможность работать. <...> Моя тюремная жизнь приняла теперь более правильный характер. Было нечто непосредственно наполнявшее жизнь. К девяти часам утра я уже кончал мои первые две версты и ждал, откуда мне принесут карандаш и перья» [Кропоткин 1988: 338].

Упомянутые здесь «две версты» – придуманная Кропоткиным для сохранения физической формы и душевной бодрости практика хождения по камере и подсчитывания пройденного по периметру расстояния. Тема хождения – также сквозная у Бернхарда: Ройтхамер и его душеприказчик в «Корректуре» ходят по мансарде туда-сюда, обдумывая то, что предстоит записать; по своей комнате ходит в поисках нужных слов для грядущей книги Рудольф из романа «Бетон»; бродит по заводу Конрад, страдающий от неспособности перенести мысли на бумагу. У Кропоткина в «Записках» дана реалистичная картина «тюрьмы», основанная на действительном опыте заключения в Петропавловской крепости: письмо и изоляция соседствуют тут, так сказать, метонимически, ввиду репрессивно навязанных обстоятельств. Бернхард, напротив, искусственно моделирует изоляцию своего героя: Конрад добровольно удаляется из мира в *тюрьму языка* / *письма*. Замкнутое пространство «хождения»

всегда семантизируется Бернхардом как добровольная тюрьма письма и неизбежная, тотальная тюрьма языка.

Завод, в который он поселяет своего героя, сравнивается в тексте то с «тюремной камерой» (Kerkerzeller), «тюрьмой» (Kerker), «каторжной тюрьмой» (Zuchthaus), «работным домом, исправительно-трудовым заведением» (Arbeitshaus), «колонией» (Strafanstalt), наконец, «мертвым, заброшенным заводом» (ein totes, aufgelassenes Kalkwerk), то с пространством «идеального существования» (für die ideale Existenz), «идеальным каменным строением для жизни и исследовательской работы» (ein ideales Existenz – und Studiemauerwerk); кроме того, ассоциативно закрепляется и как локус идиллических детских воспоминаний. «Моя жизнь, мое существование», – настойчиво твердит Конрад о заводе, который так долго не хотел ему продавать племянник [Bernhard 1973: 41]. 20 лет он хлопочет о том, чтобы племянник продал ему наконец этот «так называемый мертвый» завод [ibid.: 42].

Заметим, что свое уединение в ольдорфском доме, где идет работа над «Известковым заводом», Бернхард тоже называет «тюремной камерой». Привычно обсуждая в переписке с издателем З. Унзельдом финансовые вопросы, он сетует, что должен срочно заплатить налоговой инспекции 57000 австрийских шиллингов: писатель играет словами, говоря, что «не хочет отправиться в тюрьму» (Gefängnis) сейчас, когда ощущает себя в «лучшей форме» и «так глубоко погружен в работу в... собственной тюремной камере» («Tatsächlich erschüttert mich diese Tatsache, weil ich ja in bester Form bin, nicht, aber ins Gefängnis kommen will ich im Augenblick, da ich so gut beschäftigt bin in mein ereigenen Kerkerzeller, auch nicht» [Bernhard, Unseld 2011: 91–92]). Процесс завершения произведения он комментирует в письме Унзельду от 25.01.1970 так: «Переписывание набело “Известкового завода” продвигается хорошо, хотя и дается мне это переписывание с величайшей мукой, какая только может постигнуть человека» [ibid.: 158]. Таким образом, и состояние автора, и изображенный им мир амбивалентны: уединение (Isolation, Alleinsein, Einsamkeit, Abgeschlossenheit, Abgeschnittenheit) необходимо для идеального творческого состояния, но оно опасно для его душевного состояния.

Семантика добровольного заточения подкрепляется действиями и распоряжениями Конрада по реконструкции завода («vergiftern», «verriegeln» и т. д.). Ср.: «Der Sicherheitsfaktor sei der allerwichtigste Faktor. Zuerst, habe Konrad zu seiner Frau gesagt, sagt Wieser, müßten sie vor der Außenwelt, der sie endlich entkommen seien, sicher sein, müßten also sofort die Fenster vergiftern und

die Türen verriegeln lassen und sie hätten ja auch, sagte Konrad zu Wieser, sofort nach ihrem Einzug, und schon den nächsten Tag nach Erlegung der unerhört hohen, ja unglaublichen Kaufsumme waren die Konrad im Kalkwerk eingezogen, sämtliche Fenster vergittern und sämtliche Türen verriegeln lassen, Riegel auch an die Kalkwerksinnentüren machen lassen, schwere Riegel und schwere Gitter» [Bernhard 1973: 20]. Появляется мотив разрастания внутренней тьмы [ibid.: 69]. В довершение внутреннего кошмара Конрад видит сон, словно материализующий образ тьмы (Finsternis): он окрашивает черной краской все стены, предметы, более того, «он выкрасил даже комнату своей жены, наконец, все в комнате своей жены и, наконец, саму жену в черный цвет <... > все в ее комнате, и, разумеется, ее инвалидное кресло тоже, как говорится, все, и, наконец, все и в своей собственной комнате, и на все ему потребовалось ровно семь дней, для того, чтобы, как рассказал Фро, весь известковый завод и всю внутренность известкового завода (das ganze Kalkwerksinnere), и внутренность внутренностей известкового завода (das Innere des Kalkwerksinneren) выкрасить и закрасить в черный» [ibid.: 188].

Итак, исторически вполне конкретный кропоткинский каземат с обитающим в нем ученым и анархистом превращается у Бернхарда в метафорическое пространство умственного эксперимента, «место бегства» из мира в письмо («Fluchtort» [Latini 2009: 237]). Вполне оправдана точка зрения М. Латини, прочитывающей в образе завода «лабиринт» и «тюрьму» бесконечного цитирования, невозможности мысли прорваться к последней «истине» и «целому», которые обречены оставаться неизреченными [ibid.]. Продолжая сопоставление семантики письма / тюрьмы у Кропоткина и Бернхарда, следует подчеркнуть, что, в отличие от ставящего перед собой некую «абсолютную» гносеологическую цель (познание имманентной сущности слуха) Конрада, автобиографический герой «Записок» решает вполне практические задачи, тесно связанные с преобразованием социально-политической действительности. Таким образом, «анархизм» бернхардовского героя – это анархизм *одного*, солипсический, герметичный универсум, анархизм Кропоткина – практическая политическая программа, увязанная с интересами *всех*.

Своеобразие пространства и язык визуализации в «Известковом заводе» уже рассматривались нами ранее [Котелевская 2016]. Сошлемся на уже собранные факты о прообразе завода. По воспоминаниям З. Унзельда, таким прообразом стал завод в Траунзее [Bernhard, Unseld 2011: 180]. «Этот завод был в период 1938–1945 гг.

одним из 49 филиалов австрийского концлагеря Маутхаузен (крупнейшего делового предприятия, организованного как частная компания). <...> В. Шмид указывает также на другое место – известковый завод неподалеку от Клаус-Штейрлинга (Steyrling bei Klaus), расположенный у отвесной скалы, как в романе, но без примыкающего к нему озера <...>. Иными словами, если один прообраз ассоциируется с зафиксированным в коллективной памяти насилием, подневольным трудом и смертью, второй представляет собой величественно-мрачную картину, мезальянс природы и индустрии» [Котелевская 2016: 31]².

Акт воображаемого закрашивания конкретно-чувственного, зримого пространства в черный может быть истолкован семиотически как акт аннигиляции цвета и предметности как таковой – возврат к абсолютному Ничто, апофатическое первоначало, в недрах которого пытается обрести герой свое первослово, преодолев страх чистого листа (ср.: авангардистские поиски Ничто в начале XX в.: К. Малевич, В. Гнедых, Х. Балль и др.). Модернистское творчество – всегда творение с самого начала, отсюда и предельное отчаяние всех пишущих у Бернхарда.

Историческая форма анархизма, кропоткинский анархо-коммунизм, таким образом, деконструируется Бернхардом, лишается политической программности и возводится в модернистскую эстетическую программу абсолютного языка и абсолютного текста – программу утопическую, а для героев романа чреватую личной катастрофой. Метафора известкового завода обретает множественные коннотации как пространство творения, «анархической» свободы и, одновременно, аскетического мученичества, преступления, (само)разрушения. Новалисовская целостность, гармония (ведь поочередно с «Записками революционера» читается вслух «Генрих фон Офтердинген») если и достигается, то лишь на формальном уровне – в тесно выстроенной, полифонической архитектонике, как бы умиряющей самой строгостью романной фуги содержательный «ад» отчаяния и распада. (Подобным образом Джойс пытался упорядочить распавшийся, дезориентированный мир современной горизонтальной культуры в схоластической, вертикальной архитектонике своего «Улисса».)

«Революция» Кропоткина, следуя логике Бернхарда, должна быть уравновешена романтическим пассажем Новалиса, предпочитающего прогрессистской модели истории возвратно-циклическую модель мифа, вечное возвращение в старину. Такое мировидение, бесспорно, не позволяло Бернхарду мыслить на языке конкретной социально-политической программы, именно

поэтому его рецепция «Записок революционера» представляет собой, в сущности, свободный «перевод» и, в итоге, властную художественную деконструкцию.

Примечания

¹ И высказывания Бернхарда, и его художественная практика удивительным образом переключаются с идеями эссе О. Э. Мандельштама «Конец романа» (1922) относительно распада «биографии» как ценностного центра, «композиционной меры», «позвоночника» романа, ослабления фабулы и «психологической мотивировки», хотя выводы из ситуации делаются разные (ср. также: пародийно-иронический взгляд В. Вулф, прозу которой высоко ценил Бернхард, на «биографический роман» в «Орландо»; идеи о конце «буржуазного романа» А. Роб-Грийе, Ф. Соллерса и других «новых романистов», современников Бернхарда).

² В указанной публикации есть фотография завода в Клаус-Штейрлинге [Котелевская 2016: 32].

Список литературы

Бернхард Т. Происшествия / пер. с нем. Е. Гайдуковой, А. Огнева, В. Черкасова. М.: Libra, 2018. 39 с.

Голосовкер Я. Э. Достоевский и Кант. М.: Изд-во АН СССР, 1963. 105 с.

Котелевская В. В. «Внутренний человек» модернизма: языки визуализации у Томаса Бернхарда и Френсиса Бэкона // Практики и интерпретации: журнал филологических, культурных и образовательных исследований. 2016. Т. 1, № 1. С. 15–43.

Котелевская В. В. К модернистской поэтологии прогулки: Р. М. Рильке, Р. Вальзер, Т. Бернхард, П. Хандке // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2017. Т. 9, вып. 3. С. 96–108.

Котелевская В. В. Томас Бернхард и модернистский метароман. Ростов н/Д; Таганрог: Изд-во Южн. федер. ун-та, 2018. 352 с.

Кропоткин П. А. Записки революционера. М.: Моск. рабочий, 1988. 544 с.

Леман Ю. Русская литература в Германии. Восприятие русской литературы в художественном творчестве и литературной критике немецкоязычных писателей с XVIII века до настоящего времени / пер. с нем. Н. Бакши, А. Жеребина. М.: Изд. дом ЯСК, 2018. 480 с.

Мандельштам О. Э. Конец романа // Мандельштам О. Э. Собр. соч.: в 4 т. Т. 1: Стихи и проза. 1921–1929. М.: Арт-бизнес-центр, 1993. С. 271–275.

Новикова С. Ю. Модели автофикционального письма: к вопросу о рецепции Достоевского в

автобиографических повестях Т. Бернхарда // Проблемы модерна и постмодерна: материалы XLII Междунар. филол. конф. в СПбГУ, 11–16 марта 2013 г. / ред. А. В. Белобратов. СПб.: Петербург. XXI век, 2013. С. 88–94.

Ромашко С. А. Достоевский и Томас Бернхард: говорящий субъект как организующий момент текста // Вопросы филологии. 2004. № 1(16). С. 81–86.

Ташикенов С. П. Проза Томаса Бернхарда: кризис языка и проблема диалогического слова: дис. ... канд. филол. наук. М., 2009. 185 с.

Толстой Л. Н. Собр. соч.: в 20 т. Т. 12: Повести и рассказы. 1885–1902. М.: Худож. лит., 1964. 511 с.

Bernhard Th. Das Kalkwerk. Frankfurt a. M.: Suhrkamp Taschenbuch, 1973. 211 S.

Bernhard Th. Drei Tage // Bernhard Th. Der Italiener. Frankfurt a. M.: Suhrkamp Taschenbuch, 1989. S. 78–90.

Bernhard Th., Unseld S. Der Briefwechsel. Frankfurt a. M.: Suhrkamp Verlag, 2011. 869 S.

Botond A. Briefe an Thomas Bernhard. Mit unbekanntenen Briefen von Thomas Bernhard 1963–1971 / Hg. von R. Fellinger. Mattighofen: Korrekturverlag, 2018. 212 S.

Konzett M. Introduction. National Iconoclasm: Thomas Bernhard and the Austrian Avant-garde // M. Konzett (ed.). Companion to the Works of Thomas Bernhard. Rochester: Camden House, 2002. P. 1–22.

Latini M. Verlorene Sätze. Zu *Das Kalkwerk* // Huber M., Judex B., Schmidt-Dengler W. u. a. (Hg.). Thomas Bernhard Jahrbuch 2007/2008. Wien – Köln – Weimar: Böhlau Verlag, 2009. S. 235–246.

Levkina A. Thomas Bernhard und die Tradition der russischen Literatur. Würzburg: Ergon Verlag, 2016. 228 S.

Mittermayer M. Thomas Bernhard: Eine Biografie. Wien – Salzburg: Residenz, 2015. 456 S.

Prevešić B. “Das unzurechnungsfähigste Gehör”. Die Funktion der Wiederholung in Thomas Bernhards *Kalkwerk* // Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte. 2014 (2). S. 256–270.

Ritter Ch. Slavica in Thomas Bernhard Bibliothek // Belobratow Alexander W., Sommer G., Kohl S. (Hg.). Österreichische Literatur: Ort der Bewegungen. Австрийская литература: место встреч. St. Petersburg: Verlag “PETERBURG. XXI VEK”, 2014. S. 185–196.

References

Bernhard Th. *Proisshestviya* [Events]. Transl. from German by E. Gaydukova, A. Ognev, V. Cherkasov. Moscow, Libra Publ., 2018. 39 p. (In Russ.)

Golosovker Ya. E. *Dostoevskiy i Kant* [Dostoyevsky and Kant]. Moscow, USSR Academy of Sciences Publ., 1963. 105 p. (In Russ.)

Kotelevskaya V. V. 'Vnutrenniy chelovek' modernizma: yazyk i vizualizatsii u Tomasa Bernkharda i Frensis Bekona [The internal person of modernism: Thomas Bernhard's and Francis Bacon's visual languages]. *Praktiki i interpretatsii: zhurnal filologicheskikh, kul'turnykh i obrazovatel'nykh issledovaniy* [Practices & Interpretations: A Journal of Philology, Teaching and Cultural Studies], 2016, vol. 1, issue 1, pp. 15–43. (In Russ.)

Kotelevskaya V. V. K modernistskoy poetologii progulki: R. M. Ril'ke, R. Val'zer, T. Bernhard, P. Khandke [On modernist poetics and poetology of walking: R. M. Rilke, R. Walser, Th. Bernhard, P. Handke]. *Vestnik Permskogo universiteta. Rossiyskaya i zarubezhnaya filologiya* [Perm University Herald. Russian and Foreign Philology], 2017, vol. 9, issue 3, pp. 96–108. (In Russ.)

Kotelevskaya V. V. *Thomas Bernhard i modernistskiy metaroman* [Thomas Bernhard and the Modernist Metafiction]. Rostov-on-Don, Taganrog, South Federal University Press, 2018. 352 p. (In Russ.)

Kropotkin P. A. *Zapiski revolyutsionera* [Memoirs of a Revolutionist]. Moscow, Moskovskiy rabochiy Publ., 1988. 544 p. (In Russ.)

Leman Yu. *Russkaya literatura v Germanii. Vospriyatie russkoy literatury v khudozhestvennom tvorchestve i literaturnoy kritike nemetskoyazychnykh pisateley s 18 veka do nastoyashchego vremeni* [Russian literature in German. Russian literature reception in artworks and literary criticism of German writers from the 18th century to the present]. Transl. from German by N. Bakshi, A. Zherebin. Moscow, LRC Publishing House, 2018. 480 p. (In Russ.)

Mandelstam O. E. Konets romana [The end of the novel]. Mandelstam O. E. *Sobr. soch. V 4 t.* [Collected Works. In 4 vols.]. Moscow, Art-biznes-tsentr Publ., 1993, vol. 1. Stikhi i proza. 1921–1929 [Poems and Prose. 1921–1929], pp. 271–275. (In Russ.)

Novikova S. Yu. Modeli avtofiksional'nogo pis'ma: k voprosu o retseptsii Dostoyevskogo v avtobiograficheskikh povestyakh T. Bernkharda [Models of the autofictional writing: to the issue of reception of Dostoyevsky in Bernhard's autobiography]. *Problemy moderna i postmoderna: materialy XLII Mezhdunarodnoy filologicheskoy konferentsii v SPbGU: 11–16 marta 2013.* [Issues of modernism and postmodernism: proceedings of the XLII international philological conference in St. Petersburg State University, 1–16 of March, 2013]. Ed. by A. V. Belobratov. St. Petersburg, XXI vek Publ., 2013, pp. 88–94. (In Russ.)

Romashko S. A. Dostoevskiy i Tomas Bernhard: govoryashchiy sub'yekt kak organizuyushchiy moment teksta [Dostoyevsky and Thomas Bernhard: speaking person as an organizing factor of the text]. *Voprosy filologii* [Issues of Philology], 2004, vol. 16, issue 1, pp. 81–86. (In Russ.)

Tashkenov S. P. *Proza Tomasa Bernkharda: krizis yazyka i problema dialogicheskogo slova.* Diss. kand. filol. nauk [Thomas Bernhard's Fiction: Language Crisis and the Problem of the Dialogic Word. Cand philol. sci. diss.]. Moscow, 2009. 185 p. (In Russ.)

Tolstoy L. N. *Sobr. soch. V 20 t.* [Collected Works. In 20 vols.], Moscow, Khudozhestvennaya literatura Publ., 1964, vol. 12. Povesti i rasskazy. 1885–1902 [Narratives and Short Stories. 1885–1902]. 511 p. (In Russ.)

Bernhard Th. *Das Kalkwerk.* Frankfurt am Main, Suhrkamp Taschenbuch Verlag, 1973. 211 p. (In Germ.)

Bernhard Th. *Drei Tage. Der Italiener.* Frankfurt am Main, Suhrkamp Taschenbuch Verlag, 1989, pp. 78–90. (In Germ.)

Thomas Bernhard. Siegfried Unseld: *Der Briefwechsel.* Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag, 2011. 869 p. (In Germ.)

Botond A. *Briefe an Thomas Bernhard. Mit unbekanntenen Briefen von Thomas Bernhard 1963–1971.* Ed. by R. Fellingner. Mattighofen, Korrekturverlag, 2018. 212 p. (In Germ.)

Konzett M. Introduction. National Iconoclasm: Thomas Bernhard and the Austrian Avant-garde. *Companion to the Works of Thomas Bernhard.* Ed. by M. Konzett. Rochester, Camden House, 2002, pp. 1–22. (In Eng.)

Latini M. Verlorene Sätze. Zu Das Kalkwerk. Ed. by Huber M., Judex B., Schmidt-Dengler W. *Thomas Bernhard Jahrbuch 2007/2008.* Wien – Köln – Weimar, Böhlau Verlag, 2009, pp. 235–246. (In Germ.)

Levkina A. *Thomas Bernhard und die Tradition der russischen Literatur.* Würzburg, Ergon Verlag, 2016. 228 p. (In Germ.)

Mittermayer M. *Thomas Bernhard: Eine Biografie.* Wien – Salzburg, Residenz Verlag, 2015. 456 p. (In Germ.)

Prevešić B. "Das unzurechnungsfähigste Gehör". Die Funktion der Wiederholung in Thomas Bernhards Kalkwerk. *Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte*, 2014, issue 2, pp. 256–270. (In Germ.)

Ritter Ch. Slavica in Thomas Bernhard Bibliothek. Ed. by Belobratov Alexander W., Sommer G., Kohl S. *Österreichische Literatur: Ort der Bewegungen.* St. Petersburg, Verlag PETERBURG, XXI VEK Publ., 2014, pp. 185–196. (In Germ.)

**RUSSIAN ANARCHIST TEXT IN THE NOVEL
'THE LIME WORKS' BY THOMAS BERNHARD:
RECEPTION STRATEGIES**

Vera V. Kotelevskaya

Associate Professor in the Department of Theory and History of World Literature

Southern Federal University, Institute of Philology, Journalism and Intercultural Communication

105/42, Bolshaya Sadovaya st., Rostov-on-Don, 344006, Russian Federation. vvkotelevskaya@sfedu.ru

SPIN-code: 4877-5532

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-2650-7462>

ResearcherID: C-8059-2016

Submitted 11.12.2018

The paper examines the reception of Russian anarchist text by the Austrian writer Thomas Bernhard (1931–1989), considered through the example of *Memoirs of a Revolutionist* by Peter Kropotkin (1899). Bernhard read this text while working on the novel *The Lime Works* (*Das Kalkwerk*, 1970). In the article, intertextual relationships between this novel and Kropotkin's memoirs are traced, anarchist ideas in the early and late works by Bernhard are revealed, and biographical analogies (the writer's grandfather, Johannes Freimbichler vs. Peter Kropotkin) are drawn. The study concludes: 1) anarchism was perceived by Bernhard as philosophy of nihilism, i. e. rebellion against the 'fathers', 'lies' of institutions, unproductive 'administrative machinery' (Kropotkin); 2) nihilistic views of Bernhard developed in the context of the German and Austrian 'language criticism'; 3) Kropotkin's idea of liberating people from the yoke of the state is appropriated by an egocentric hero who is not capable of cooperating with people; 4) *Memoirs of a Revolutionist* describe the experience of imprisoning Kropotkin in the Peter and Paul Fortress, while Bernhard artificially models the isolation of the protagonist Conrad from the world in a metaphorical prison of language / writing; 5) unlike the Bernhard's hero, who sets himself an 'absolute' goal (the knowledge of the immanent essence of hearing), the autobiographical hero of *Memoirs of a Revolutionist* solves practical problems related to the transformation of social and political reality. Thus, Kropotkin's anarcho-communism is deconstructed by Bernhard in a neo-romantic way, is deprived of political programmability, and is built into a modernist aesthetic program of the absolute language and absolute text. The metaphor 'lime works' is semantized as space of creation, 'anarchic' freedom and, at the same time, ascetic martyrdom, crime, (self)destruction.

Key words: Russian anarcho-communism; Austrian literature of the 20th century; language criticism; prison of language; modernist literature; absolute text; intertextuality; Peter Kropotkin; *Memoirs of a Revolutionist*; Thomas Bernhard; *The Lime Works*.

УДК 821.161.1(09)

doi 10.17072/2037-6681-2019-1-110-121

«ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ» И БИБЛЕЙСКАЯ КНИГА СУДЕЙ, ИЛИ О ПОЭТИКЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ПОВЕСТВОВАНИЯ И ИСТОКАХ ПОЛИФОНИИ ДОСТОЕВСКОГО

Георгий Сергеевич Прохоров

д. филол. н., профессор кафедры литературы

Государственный социально-гуманитарный университет

140415, Россия, г. Коломна, ул. Зеленая, 30. hoshea.prokhorov@gmail.com

SPIN-код: 7506-0123

ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-4652-8698>

ResearcherID: I-9202-2018

*Статья поступила в редакцию 07.09.2018***Просьба ссылаться на эту статью в русскоязычных источниках следующим образом:**

Прохоров Г. С. «Дневник Писателя» и библейская книга Судей, или О поэтике исторического повествования и истоках полифонии Достоевского // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2019. Т. 11, вып. 1. С. 110–121. doi 10.17072/2037-6681-2019-1-110-121

Please cite this article in English as:

Prokhorov G. S. «Dnevnik Pisatelya» i bibleyskaya kniga Sudey, ili O poetike istoricheskogo povestvovaniya i istokakh polifonii Dostoevskogo [‘A Writer’s Diary’ and the Book of Judges: on the Poetics of History and Origins of Dostoevsky’s Polyphony]. *Vestnik Permskogo universiteta. Rossiyskaya i zarubezhnaya filologiya* [Perm University Herald. Russian and Foreign Philology], 2019, vol. 11, issue 1, pp. 110–121. doi 10.17072/2037-6681-2019-1-110-121 (In Russ.)

Рассматривается поэтика публицистики Достоевского, прежде всего – создание писателем особой «расширенной реальности», где сконструированный мир – своеобразный «слоеный пирог», объекты которого как отсылают к фактам эмпирического бытия, так и ведут за рамки журналистского дискурса, в креативный вымысел. Газетное или эпистолярное сообщение, художественная вариация, личное воспоминание, герои других художественных произведений совмещены Достоевским в одной плоскости. Биографический рассказ жены о встрече на петербургской улице с глубокой старушкой оборачивается историей о столетней, идущей в гости к правнукам и умирающей в их доме. Ближайшей типологической параллелью к публицистике Достоевского в плане совмещения истории как последовательности фактов и истории как нарратива оказывается «ближневосточная словесность» (С. С. Аверинцев), например, исторические книги Библии. В их основе – подобное же пересечение истории и литературы, подобная же наполненность изображенных фигур «чужими» (М. М. Бахтин) голосами и жестами, уже произнесенными в Пятикнижии. Подобно древнему книжнику, Достоевский смотрит на окружающий его мир как на сакральный объект, стремясь прозреть в фактах *высшие* прообразы, *высший* сюжет и *высшую* авторскую волю. Это тяготение к библейскому образцу обуславливает уникальность публицистики Достоевского в контексте журналистики XIX в., например, привносит в журналистский текст полифоничность, так что текст вместо прямого высказывания своего автора становится медиальным пространством, вмещающим многочисленные голоса, личности и их установки на мир.

Ключевые слова: Достоевский; публицистика; «Дневник Писателя»; Библия; история; нарратив.

«В это утро я слишком запоздала, – рассказывала мне на днях одна дама, – и вышла из дому почти уже в полдень, <...> и у самых ворот дома встречаю эту самую старушку, и такая она мне показалась старенькая, согнутая, с палоч-

кой, только все же я не угадала ее лет; дошла она до ворот и тут в уголку у ворот присела на дворницкую скамеечку отдохнуть. Впрочем, я прошла мимо, а она мне только так мелькнула. <...>

Выслушал я в то же утро этот рассказ, – да, правда, и не рассказ, а так, какое-то впечатление при встрече с столетней (в самом деле, когда встретишь столетнюю, да еще такую полную душевной жизни?), – и позабыл об нем совсем, и уже поздно ночью, прочтя одну статью в журнале и отложив журнал, вдруг вспомнил про эту старушку и почему-то мигом дорисовал себе продолжение о том, как она дошла к своим победать; вышла другая, может быть, очень правдоподобная маленькая картинка» (XIII, 85–86)¹.

Реальная старушка с петербургской улицы, реальная история, рассказанная Достоевскому женой, А. Г. Сниткиной, продолжается в некоей истории, сочиненной писателем. Причем акцент фрагмента скорее на этом вымышленном продолжении, нежели на самом факте встречи.

«Есть одна такая смешная тема, и, главное, она в моде: это – черти, тема о чертях, о спиритизме. В самом деле, что-то происходит удивительное: пишут мне, например, что молодой человек садится на кресло, поджав ноги, и кресло начинает скакать по комнате, – и это в Петербурге, в столице! Да почему же прежде никто не скакал, поджав ноги, в креслах, а все служили и скромно получали чины свои? Уверяют, что у одной дамы, где-то в губернии, в ее доме столько чертей, что и половины их нет столько даже в хижине дядей Эдди. Да у нас ли не найдется чертей! Гоголь пишет в Москву с того света утвердительно, что это черти. Я читал письмо, слог его» (XIII, 37).

Общественная дискуссия о спиритизме, проверка Менделеевым и комиссией под его руководством медиумов братьев Петти и Клайр, информация о братьях Горацио и Вильяме Эдди переплетаются с частной перепиской с Вс. С. Соловьевым, романом Бичер-Стоу, полемикой вокруг черновиков ко второму тому «Мертвых душ» Гоголя, якобы сохранившихся у полковника Ястржембского, но оказавшихся его подделкой. (А. Н. Пыпин, защищая версию о подлинности, допустил, что тексты могли быть продиктованы Гоголем с того света, поскольку Ястржембский был спиритом.)

Творческое, преобразующее видение автора-творца направлено на публичную сферу, которая, впрочем, выступает приглашением к разговору и предоставляет ряд хорошо узнаваемых фактов. Наррация выстроена таким образом, чтобы уйти от реальности фактов, сформировать им некую альтернативу. Альтернативу, в которой средоточие – авторское видение (см.: [Прохоров 2016]). Собственно, Достоевский эксплицированно указывал на такой путь работы с фактами:

«Если б я был живописец, я именно бы написал этот “жанр”, эту ночь у еврейки-родильницы.

Я ужасно люблю реализм в искусстве, но у иных современных реалистов наших нет нравственного центра в их картинах <...>. Да и для художника роскошь сюжета. Во-первых, идеальная, невозможная, смрадная нищета бедной еврейской хаты. Тут можно бы много даже юмору выразить и ужасно кстати <...>. С тонким чувством и умом можно много взять художнику в одной уже перетасовке ролей всех этих нищих предметов и домашней утвари в бедной хате, и этой забавной перетасовкой сразу оцарапать вам сердце. Да и освещение можно бы сделать интересное: на кривом столе догорает оплывшая сальная свечка, а сквозь единственное заиндевевшее и обледенелое оконце уже брезжит рассвет нового дня, нового трудного дня для бедных людей. Трудные родильницы часто родят на рассвете: всю ночь промучаются, а к утру родят. Вот усталый старичок, на миг оставив мать, берется за ребенка. Принять не во что, пеленок нет, ни тряпки нет (бывает этакая бедность, господа, клянусь вам, бывает, чистейший реализм – реализм, так сказать, доходящий до фантастического), и вот праведный старичок снял свой старенький вицмундирчик, снял с плеч рубашку и разрывает ее на пеленки. Лицо его строгое и проникнутое. Бедный новорожденный еврейчик копошится перед ним на постели, христианин принимает еврейчика в свои руки и обвивает его рубашкой с плеч своих» (XIV, 104–105).

Прекрасный набросок для рассказа. Но есть одно «но»: перед нами журналистика. Было ли так, как сообщено? Не Достоевский ли конечный автор передаваемого им случая? Вопросы, видимо, почувствованные Д. Дарским, подчеркнувшим, что «Достоевский никогда не был бытовиком, пошлость, обыденность и ничтожность жизни его никогда не интересовали сами по себе <...> при всем кажущемся натурализме Достоевский оставался визионером и фантастом, окруженным мистически-загадочным роєм видений, образов и снов» [Дарский 1924: 200].

Публицистика Достоевского пронизана этим пересечением историчности и креативной альтернативы; предлагается факт как бы в двух ипостасях – как выглядящее и как сущее. Причем акцент автора-творца направлен на последнее, приоткрывающееся в творческой переработке видимых реалий.

История: между наукой и рассказом

Письмо художественное и письмо историческое – две формы словесности, замеченные еще на самой заре филологической рефлексии: «...задача поэта – говорить не о происшедшем, а о том, что могло бы случиться, о возможном по вероятности или необходимости. Историк и поэт

различаются не тем, что один говорит стихами, а другой прозой. Ведь сочинения Геродота можно было бы переложить в стихи, и все-таки это была бы такая же история в метрах, как и без метров. Разница в том, что один рассказывает о прошедшем, другой о том, что могло бы произойти» ([Аристотель 1984: 655], ср.: [Jancko 1987: 91–92]). Пока мы находимся в мире, где существует некое единое, общепринятое прошлое, разграничение Аристотеля рабочее. Одно письмо о сущем и случившемся, другое – о не сущем, но в реальность которого вполне можно бы и поверить. Ведь ключевой разграничитель для аристотелевской традиции – это не сущее vs. вымысел, а скорее сущее на самом деле vs. способное существовать:

Художникам, как и поэтам,
Право дерзанья на все одинаково всем представлялось.
Знаем и милость мы эту даем и просим взаимно,
Только не с тем, чтоб сливать свирепое с кротким,
не с тем, чтоб
Змеи и птицы в любви сочетались, ягнята и тигры.
[Гораций 1993]

Аристотель и порожденная им традиция ведет речь не о фантазмах, она никогда не признавала за поэтом права на свободный вымысел:

Если б художнику вдруг к голове человека приставить
Вздумалось шею коня, разукрасивши в пестрые перья,
Члены отвсюду собрав, чтоб уродливо черною рыбой
Кончилась женщина, сверху прекрасная, и довелось бы
Видеть вам это, друзья, вы могли б удержаться от смеха?
[там же]

Речь идет скорее о праве наложить ретушь на слепок. Разграничивая литературу и историю, философ оставил эти две области словесности теснейшим образом переплетенными. С одной стороны, нечто ученое и бывшее; с другой – рассказ, нарратив, у которого есть свой автор (Εὐαγγέλιον *κατὰ* Ματθαίου). И если для ряда историков, например, для Антонио Лабриолы, история – явление объективное [Лабриола 1898: 17], то для других, например, для Бенедетто Кроче, она неизбежно субъективна и вне связи с субъектом теряет всякий смысл: «...факт, из которого творится история, должен жить в душе историка <...> если этот факт сопровождается толкованием или пересказом, это лишь обогащает его, но сам факт ни в коем случае не утрачивает своей значимости, эффекта своего присутствия» [Кроче 1998: 9], «...какой нынешний интерес можно усмотреть в истории Пелопоннесской войны или войны с Митридатом, в мексиканском искусстве или арабской философии? По мне, в данный момент – никакого, значит, для меня в данный момент это вовсе не история, в лучшем случае названия исторических книг...» [там же: 10]. Возможность «вытащить» из нарратива собственно исторические факты – проблема, инте-

ресовавшая и XIX в. ([Погодин 1838; Ключевский 1871]) и продолжающая интересоваться современность [Святославский 2017].

Введение субъекта, отношение которого к материалу дифференцирует типы письма, серьезно усложняет аристотелевскую дефиницию: границы «могущего быть» передаются в руки человеческие – автора и /или читателя. А соответственно, – нравится это [Барт 1994: 384] или не нравится [Гуревич 1996: 6] – исторический текст смыкается с критиками – Feminist, Social, Post-Colonial & others; граница между художественным письмом и историческим во многом становится гранью между History и Alternative History.

«...[Н]ет рационального исторического *познания*. Достоверный, но единственный факт не историчен; только связанный с другим фактом он образует историю, связь же возможна лишь в повествовательном, хотя бы минимальном, высказывании <...>. Верно и обратное: если нет истории, то нет и повествования» [Котельников 2013: 11].

Проблемность исторического как типа текста – явление, отнюдь не выявившееся в XX в. [см. обзор: там же: 12–28] и в общем-то не связанное постмодернизмом. Два дискурса издавна смешиваются, перетекают один в другой, как это прекрасно видно у Н. М. Карамзина:

«Летописи в первый раз упоминают об нем в конце XII века; он может быть, древнее – и гораздо древнее Москвы. Вообще имя Коломны встречается в Истории по двум случаям: или Татары жгут ее, или в ней собирается Русское войско итти против Татар <...>. Что касается до имени города, то его для забавы можно произвести от славной Итальянской фамилии Colonna. Известно, что Папа Бонифаций VIII гнал всех знаменитых людей сей фамилии, и что многие из них искали убежища не только въ других землях, но и в других частях света. Некоторые могли уйти въ Россию, выпросить у наших великих Князей землю, построить город и назвать его своим именем!» [Карамзин 1997: 241].

В историческое повествование Карамзин вплетает откровенную байку о Карле Колонне. Дело, впрочем, осложнено тем, что в документах конца XVIII – XIX в. эта байка была почти «общим местом» (см.: [СПб ФИРИ РАН. Ф. 36. Оп. 1. № 513. Л. 29; Ф. 36. Оп. 1. № 512. Л. 9 об.; Ф. 513. Оп. 1. № 514. Л. 15 об.]), более того, оказалась отражена на городском гербе.

Или находим у Н. П. Гилярова-Платонова:

«Как подобает старине, город потонул в легендах. В одной из башен содержалась Марина Мнишек: это исторический факт. В той же башне кроются несметные богатства: это легенда. В одной из церквей венчался Димитрий Донской и

осталось его кресло. Это тоже история (сохранилось ли кресло донныне, не имею сведения). А об одной башне в зимние вечера при горящей лучине (свечи у нас полагались почти только для гостей) тетушка Марья Матвеевна заводила речь, что башня эта, угольная, к Москве-реке, называется “Мотасовою”, и вот почему: на ней сидел черт несколько сот лет и мотал ногами» [Гиляров-Платонов 2016: 29].

Приводимые исторические факты о заточении Марины Мнишек в башне или о кресле Дмитрия Донского – такие же байки, как о мотающем ногами черте. Хотя... и гораздо более правдоподобные, вплоть до археологических раскопок 1903 г. в Наугольной башне Коломенского кремля, вплоть до полемики историков П. Пирлинга и Г. Т. Синюхаева о судьбе Марины Мнишек [Линдеман 1910], вплоть до указания Коломны местом смерти Марины Мнишек в польской Википедии...

По меньшей мере с XVIII в. русская литература активно играет с переплетением истории и вымысла. В XIX в. это взаимодействие становится еще более сложным, по мере того как выделяется еще одна словесная сфера – журналистика. Собственно, еще Аристотель отделял художественное письмо не только от исторического, но и от риторики. При этом если дифференцирующая с историей дефиниция была введена, то грань поэтики и риторики в общем-то осталась открытой [Herrick 2000: 86–88]. Как и история, журналистика концентрируется на бывшем, обсуждает общественно значимые факты. Но опять-таки что есть факт? Где его границы? Где личное мнение журналиста переходит в пропаганду и вымысел – в пресловутые ныне *fakenews*? Историк Карамзин, мемуарист Гиляров-Платонов, писатель Достоевский задействуют в общем-то один и тот же нарратологический инструментарий – конструируют «дополненную реальность», отпочковываясь от некоторых фактических деталей. Сама грань бывшего и способного быть становится для них точкой креативных усилий.

Библия рассказывает историю

Задолго до Достоевского, а значит, и XIX в., словесность начала осваивать сферу, которая затем станет дискурсивной границей художественной и исторической прозы. Например, библейская книга Судей, повествующая о событиях еврейской истории от смерти Иисуса Навина до Самуила. Перечисление различных ситуаций, в которых оказывался народ, бедствий, нашествий, покаяний, чудесных спасений – это все то, что дало основание составителям библейского канона воспринять эту книгу как историческую.

Стандартной формулой вводится и фрагмент о Гедеоне: «Сыны Израилевы стали опять делать злое пред очами Господа, и предал их Господь в руки Маданитян на семь лет» [Суд. 6: 1]. В какой-то момент народ традиционно кается: «и возопили сыны Израилевы к Господу», а Бог посылает избавление: «послал Господь пророка к сынам Израилевым». Однако рассказ о призвании Гедеона не столь прост – за стандартными для книги речевыми формулами лежит напластование противоречивых нарративных стратегий. Есть нарратив общественной истории, официальный и патетичный: «послал Господь пророка к сынам Израилевым, и сказал им: так говорит Господь, Бог Израилев: Я вывел вас из Египта, вывел вас из дома рабства; избавил вас из руки Египтян и из руки всех, угнетавших вас, прогнал их от вас, и дал вам землю их...» [Суд. 6: 8–9]. Рядом с ним есть нарратив частный: «И пришел Ангел Господень и сел в Офре под дубом, принадлежащим Иоасу, потомку Авиезерову; сын его Гедеон выколачивал тогда пшеницу в точиле, чтобы скрыться от Маданитян» [Суд. 6: 11]. Пресловутое «как было» оказывается проблематизированным. Например, мы так и не знаем, поставил ли Бог Гедеона судьей публично или ангел незаметно для всех явился к прячущемуся Гедеону, так что никто в момент инициации так и не узнал о свершающемся ключевом событии.

Если всмотреться в диалог Гедеона и Ангела, то видно, насколько их разговор [Суд. 6: 12–19] сплетен из уже звучавших в Библии голосов, иначе говоря, наполнен «двухголосыми» (М. М. Бахтин) словами.

«[К]как спасу я Израиля? вот, и племя мое в колене Манассином самое бедное, и я в доме отца моего младший», – сетует Гедеон, но за этими словами мы слышим и другие: «Моисей сказал Богу: кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых?» [Исх. 3: 11];

«[Е]сли я обрел благодать пред очами Твоими, – говорит Гедеон, – то сделай мне знамение, что Ты говоришь со мною: не уходи отсюда, доколе я не приду к Тебе и не принесу дара моего и не предложу Тебе», – и опять же слышим отнюдь не исключительно это, но и: «...и сказал [Авраам]: Владыка! если я обрел благоволение пред очами Твоими, не пройди мимо раба Твоего; и принесут немного воды, и омоют ноги ваши; и отдохните под сим деревом, а я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши; потом пойдите; так как вы идете мимо раба вашего. Они сказали: сделай так, как говоришь» [Быт. 18: 3–5].

Сомнения и рефлексия «если Господь с нами, то отчего постигло нас все это? и где все чудеса Его <...> [н]ыне оставил нас Господь и предал нас в руки Маданитян» вроде как Гедеоновы,

но не о том же ли думал Моисей, противостоя фараону: «И обратился Моисей к Господу и сказал: Господи! для чего Ты подвергнул такому бедствию народ сей, для чего послал меня? Ибо с того времени, как я пришел к фараону и стал говорить именем Твоим, он начал хуже поступать с народом сим; избавить же, – Ты не избавил народа Твоего» [Исх. 5: 22–23].

Хронотоп, в котором Ангел находит Гедеона, – тоже не исключительно его: дуб, козленок, неожиданный пришелец, Бог – это уже однажды было: «И явился ему Господь у дубравы Мамре <...>. Он возвел очи свои и взглянул, и вот, три мужа стоят против него. И поспешил Авраам в шатер к Сарре и сказал: поскорее замеси три саты лучшей муки и сделай пресные хлебы. И побежал Авраам к стаду, и взял тельца нежного и хорошего, и дал отроку, и тот поспешил приготовить его. И взял масла и молока и тельца приготовленного, и поставил перед ними, а сам стоял подле них под деревом. И они ели» [Быт. 18: 1, 6–8].

Личность, таким образом, в исторической книге Библии изображена не просто как-она-есть, а ответом, переплетением слов других личностей, как их вариация. Слова, мысли, чувства Гедеона даны в сплошном обрамлении других библейских фрагментов. Контекст буквально врывается в нарратив, оставаясь за горизонтом лишь самого Гедеона. Фрагмент, собственно, строится на этом несовпадении сюжетной событийности и нарративного «избытка видения». Гедеон плохо знает Библию, не очень верит в историю Исхода в этот семантический центр Ветхого Завета в еврейской традиции – «где все чудеса Его, о которых рассказывали нам отцы наши...». И в то же время: «Гедеон пошел и приготовил ... опресноков из ефы муки». Опресноки, иначе говоря маца, ассоциируются с Песачом, сомнение в историчности которого Гедеон только что выразил.

И что за силу – «Господь, возрев на него, сказал: иди с этою силою твоею и спаси Израиля от руки Маданитян» – вдруг обнаружил Бог в весьма жалкой фразе Гедеона: «Гедеон сказал ему: господин мой! если Господь с нами, то отчего постигло нас все это? и где все чудеса Его?» Контекстные параллели, неизвестные или забытые самим Гедеоном, но открытые ангелу и Богу, равно как и читателю. Внешний наблюдатель, знакомый с Пятикнижием, испытывает при чтении этого фрагмента дежавю: много веков спустя, опять сидит *Авраам*, который вот-вот опять побежит за козленком и хлебом, но который, однако, практически ничего не знает ни об Аврааме, ни о том, насколько они похожи.

Прозвучавшие однажды слова погружаются в прошлое, но не в небытие, так что обрывки этих

слов сохраняют актуальность и способность обернуться новым настоящим.

Текст книги Судей выткан героями-двойниками, бесконечно зеркалящими друг друга – чаще всего за пределами их эксплицированного кругозора. Текст использует речевые пересечения как стартовую черту, как предмет для разговора, как фон, на котором будет разыграна драма, испытывающая все фигуры книги, ставящая их на самую грань надежды и отчаяния, близости к Богу и греха, геройства и трусости.

Библейские истории в их нарративности и полифоничности

По мысли С. С. Аверинцева, античные жанровые понятия, сформировавшие европейскую поэтику и эстетику, лишены конвергентности с древней словесностью Ближнего Востока [Аверинцев 1996: 14–15]. Различающие дискурсы грани пролегают по-разному. А потому приложить к книге Судей историю в аристотелевском духе («подражание тому, что было») – крайне проблематично. Древний Ближний Восток не знал «эстетической автономии» – краеугольного камня европейского художественного письма. Зато сформировал «ученую словесность». Вот и книга Судей – поучающая история, прозревающая глубь веков, и одновременно – нарратив, рассказанный кем-то и кому-то, частный, сиюминутный, личный. «В те дни не было царя у Израиля...» – повторяющийся рефрен книги Судей – книги, составленной уже при дворе и в эпоху царств [Matthews 2004: 23]. Это сожаление нарратора, определяющее сам тон истории, – оценка? ирония? пропаганда? Что бы ни было: это не бывшее, а голос другой эпохи, говорящий извне и поверх приводимых событий.

Совершенно иначе, нежели литература античного мира, библейский автор выводит на первый план мир как мозаику, складывающуюся из личностей, их видений и их голосов. И в отличие от автора греческого, библейский автор отказывается от хора – усредненной, объективной, сгармонизированной позиции. Голоса повсеместно сталкиваются, накладываются один на другой, не совпадая, противореча: «И пришел Ангел Господень из Галгала в Бохим и сказал: “Я вывел вас из Египта и ввел вас в землю, о которой клялся отцам вашим дать вам, и сказал “Я не нарушу завета Моего с вами вовек; и вы не вступайте в союз с жителями земли сей; жертвенники их разрушьте”. Но вы не послушали гласа Моего. Что вы это сделали? И потому говорю “Я не изгоню их от вас, и будут они вам петлею, и боги их будут для вас сетью”. Когда Ангел Господень сказал слова сии всем сынам Израилевым, то народ поднял громкий вопль и заплакал. От сего и

называют то место Бохим. Там принесли они жертву Господу. Когда Иисус распустил народ, и пошли сыны Израилевы, каждый в свой удел, чтобы получить в наследие землю, тогда народ служил Господу...» [Суд. 2: 1–7].

Но... изгнали ли они ханаанеев затем? Считает ли Ангел, что ханаанеи должны быть изгнаны? Поменялся ли первоначальный план? Но тогда зачем нужно осуждение Ангела? Можно ли служить Богу на земле, в которой бок-о-бок живут язычники? И т. д. И т. п. Потенциально возможные варианты будущего сосуществуют параллельно – неслиянно и нераздельно. Мы видим отраженное в речи столкновение, коллизии, но не разрешение ее в некоем новом высказывании, выражающем консенсус.

Не из чтения ли Библии пошла полифоничность Достоевского и его публицистика, не соответствующая общепринятым представлениям о журналистском письме?

Подобно историческим книгам Библии, голоса, сталкивающиеся один с другим, приходящие откуда-то и уходящие вовне, разнообразие несводимых к единой позиции личностей и их взглядов на мир – это визитная карточка поэтики Достоевского [Бахтин 2000: 12]. Подобная техника, акцентирующая персональность изображаемого [там же: 15], параллельно задает полифонический «ландшафт» [там же: 68]. Эта техника прослеживается не только в рамках фикционального мира писателя, но и парадоксальным образом обустроивает его журналистику, например, «Дневник Писателя» [Сидоров 1924: 114–115].

Тема Достоевский и Библия более чем проработана. Однако внимание исследователей падает на Новый Завет ([Тихомиров 2017; Евангелие 2017]), тогда как воздействие Ветхого Завета на писателя оказалось в тени. Книга Судей примечательна тем, что ее сюжеты и герои находились в творческом сознании писателя. Например, у Достоевского присутствует Гедеон – в оде «На европейские события в 1854 году»:

Но с нами бог! Ура! Наш подвиг свят,
И за Христа кто жизнь отдать не рад!
Меч Гедеонов в помощь угнетенным,
И в Израили сильный Судия! [IX, 341].

Достоевский рассказывает историю

Сопряжение разных личностей – эмпирических и фикциональных, увиденных сейчас и давным-давно – носит в публицистике Достоевского текстопорождающий характер. Если мы обратимся к фрагменту «Дневника Писателя» за 1877 г., посвященному полемике с В. Г. Авсеенко, то на поверхности найдем «агон» – идеологическое и личное противоборство журналистов разных идеологических станом: «...читатель ви-

дит, с каким критиком имеет дело, и уже отсюда слышу вопросы: да зачем же вы с ним связываетесь?» (XIV, 123). Достоевский сталкивается с Авсеенко – все, как и свойственно журналистике. Однако отнюдь не все, так что буквально предположением спустя обнаруживаем, что биографический Авсеенко автора «Дневника Писателя» мало интересует: «Повторяю еще раз, что хочу лишь разъяснить собственную оплошность, а собственно г-ном Авсеенко занимаюсь в эту минуту, как и сказал выше, не как критиком, а как отдельным и любопытным литературным явлением. Тут своего рода тип, мне полезный» (там же). Писателя интересует Авсеенко как тип, впрочем, в обычном мире был конкретный Василий Григорьевич, типа же не существовало.

Наш журналист ведет полемику с лицом, которого сам и выдумал?

Перед нами журналистика, которая использует формы и ходы классические для этой области, но замещает фактическую персональность голосами вторичными и перекомбинированными в соответствии с творческим видением автора-творца. А параллельно завлекает нас в «расширенную реальность», где позади реальных фигур действуют некие характеры, созданные автором, но якобы выражающие реальность лучше оригинала: «...не в том совсем дело, а в том, что я сущность писателя понял, <...> г-н Авсеенко изображает собою, как писатель, деятеля, потерявшегося на обожании высшего света. Короче, он пал ниц и обожает перчатки, кареты, духи, помаду, шелковые платья (особенно тот момент, когда дама садится в кресло, а платье зашумит около ее ног и стана) и, наконец, лакеев, встречающих барыню, когда она возвращается из итальянской оперы» (XIV, 124). Допустим, что Достоевский, действительно, «раскусил» *всего* Авсеенко. Однако это «прозрение» автора «Дневника Писателя» взято из романа «Млечный путь» самого Авсеенко: «Раиса Михайловна подошла к барьеру ложи и, мягко волнуя тяжелые складки платья, опустилась на свое обычное место. Облитая перчаткой рука ее поправила скользившие по плечу локоны и подняла бинокль...» (цит. по: XIII, 466).

Достоевский вменяет биографическому Авсеенко «особого рода манию, почти болезненную» – «Карета высшего света едет, например, в театр: вы только посмотрите, как она едет и как свет от фонарей, врываясь в окошки кареты, веселит в ней сидящую даму: это уж не перо, это молитва, и этому надобно сострадать!» (XIV, 125). Но это видение снова заимствовано. И снова из романа самого Авсеенко. «Лошади быстро несли по подмороженному снегу; свет от уличных фонарей врывался в карету скользкими пятнами, на мгновение озаряя лицо княгини, до

половины закрытое соболями. Ее глаза, задумчиво обращенные на Юхотского, как бы вспыхивали при этом переменяющемся освещении, неопределенно и радостно волнуя его» (цит. по: XIII, 467). (Не предугадывает ли тут Достоевский-критик логические ходы психологизма и психоанализа, которые увидят в героях литературы разные стороны авторской персональности?)

Факт – эмоциональное впечатление – ряд параллелей-аналогов – все более и более отдаленные ассоциации... Это почти композиционная схема публицистики Достоевского.

Вместо реальности, которую публицист обсуждает с нами, мы в мире, сплошь состоящем из цитат и парафразов, отсылающих друг к другу. Но перед нами не просто набор аллюзий. То, как Достоевский-публицист видит мир, – это особое применение концепции прообразований – влиятельного в русской экзегетической традиции XIX в. метода чтения Ветхого Завета. Согласно ему, конечный смысл Ветхого Завета раскрывается лишь в Новом, а потому «...заключенные в лицах, событиях и священных вещах и действиях Ветхого Завета <суть>предызображения того, что в Новом Завете относится к лицу Иисуса Христа и к основанной Им Церкви» [Смирнов 1852: 4]. Смысловой акцент переносится с причины на следствие, так что *высшее* значение события прошлого проступает при правильном его соотношении с событием в будущем [там же: 5]. (Понятно, что с сугубо литературоведческой точки зрения, такое прочтение является созданием нового произведения – Ветхого Завета христианской Библии на месте ТаНаХа – бывшего целого [Thompson 1989: 45–46] и в этом плане сродни сверхинтерпретации [Есо: 1992, 45–53]. Однако для христианского мира [Смирнов 1991: 93] и для XIX в. с его верой в «высоту времени» европейской культуры, цивилизации, религии [Ортега-и-Гассет 2008: 31–34] такая методология была более чем распространенной.)

Достоевский относится к профанной реальности так, будто она сакральна и наполнена прообразами. Именно поэтому приводимые им высказывания оказываются «двойным словом», намеком на нечто другое, а аллюзивный план – чуть ли не более существенным по семантике.

Но если Библия – текст, заверченный с большим, но все же конечным числом «параллельных мест», то реальность ежемоментно выбрасывает на поверхность все новые и новые события и ситуации. А потому прообраз и противополообраз должны быть не просто связаны, но сперва найдены в текущем потоке. И лишь затем совмещены, чтобы наметить контуры реальности высшей. Работая с реалиями текущей жизни, Достоевский оказывается в «творческом хроно-

пе», с которым некогда столкнулись авторы исторических книг Библии, книги Судей в частности. Не потому ли в публицистике Достоевского мы, читатели, движемся между рядами потенциальных прообразов. Например, обнаруживаем, что за предпринятой полемикой Достоевский vs. Авсеенко стоит не просто общественно значимый факт, не просто роман Авсеенко, но и некий случай, приключившийся некоторое время назад с Достоевским:

«Кстати, припоминаю теперь один случай, бывший со мною два с половиною года назад. Я ехал в вагоне в Москву и ночью вступил в разговор с сидевшим подле меня одним помещиком <...>. Был он чрезвычайно порядочного типа – в манерах, в разговоре, в суждениях и говорил даже очень толково <...>. И что же вы думаете: вдруг, как-то к слову, совершенно не заметив того, он изрек, что считает себя и в физическом отношении несравненно выше мужика и что это уж, конечно, бесспорно.

– То есть, вы хотите сказать, как тип нравственно развитого и образованного человека? – пояснил было я.

– Нет, совсем нет, совсем не одна нравственная, а прямо физическая природа моя выше мужикой; я телом выше и лучше мужика <...>.

Спорить тут было нечего: этот слабый человек, с золотушным красным носом и с большими ногами (в подагре, может быть, – дворянская болезнь) совершенно добросовестно считал себя физически, телом, выше и прекраснее мужика!» (XIV, 125–126).

1876 год. Федор Михайлович пишет о юбилее Российского общества покровительства животным. Формально ближайший жанр – статья: «В № 359 “Голоса” мне случилось прочесть о праздновании торжественного юбилея первого десятилетия Российского Общества покровительства животным. Какое приятное и гуманное общество! Сколько я понял, главная мысль его заключается почти вся в следующих словах из речи князя А. А. Суворова, председателя Общества:

“И на самом деле, задача нашего нового благотворительного учреждения казалась тем труднее, что в покровительстве животным большинство не желало видеть тех моральных и материальных выгод для человека, какие проистекают из снисходительного и разумного с его стороны обращения с домашними животными”.

И действительно, не одни же ведь собачки и лошадки так дороги “Обществу”, а и человек, русский человек, которого надо образить и очеловечить, чему Общество покровительства животным, без сомнения, может способствовать. Научившись жалеть скотину, мужик станет жалеть и жену свою. А потому, хоть я и очень люб-

лю животных, но я слишком рад, что высокоуважаемому “Обществу” дороги не столько скоты, сколько люди, огрубевшие, негуманные, полуварнары, ждущие света!» (XIII, 29–30).

Ирония, обусловленная несоответствием целей благотворительного общества, социальных проблем в стране, информационной помпы в освещении юбилея? – ее тон мы ощущаем. В обществе, наполненном насилием, плохо ведающем о ценности человеческой жизни, заниматься покровительством животным в каком-то смысле странно. Но за первым слоем, проявляющем полемичку Достоевский vs. журналист «Голоса», скрываются другие планы. Например, заданное локкианской традицией и ставшее типичным для Европы XVIII–XIX вв. восприятие отношения людей к животным: «Локк был одержим животными. <...>. То, как дети обращаются с животными, для него было моральным тестом, проявлением внутреннего “я” ребенка. Каждый, кто “находит удовольствие в издевательствах и уничтожении низших тварей, не способен проявлять сочувствие или быть добропорядочным по отношению к окружающим”» [Leger 2008: 108–109]. «Наши дети, – продолжает Достоевский, – воспитываются и возрастают, встречая отвратительные картины. Они видят, как мужик, наложив непомерно воз, сечет свою завязшую в грязи клячу, его кормилицу, кнутом по глазам» (XIII, 30). Мужик, секущий свою последнюю клячу по глазам; ребенок, наблюдающий эту картину, – это уже не просто причина, вызвавшая Общество к жизни, и не просто Локк. Однажды это уже было... в романе «Преступление и наказание». Художественный/ые мир(ы) вклинивае(ю)тся в реальность, становятся призмой, через которую мир обретает *высший* смысл и мозаичный образ. Достоевский иронизирует над высокопарным слогом председателя Общества, но вопреки этому слогу Достоевский обнаруживает и прообразы, подчеркивающие важность предпринимаемого Обществом дела – дела, которое защищает социум от раскольниковых.

«Преступление и наказание» с его героями и сюжетом – последняя ли отсылка в разговоре о злободневности сегодняшнего дня? Вряд ли: роман Достоевского – еще один шаг в череде поиска прообраза. Неудивительно, что позади романа окажется еще один жизненный факт:

«Анекдот этот случился со мной уже слишком давно, в мое доисторическое, так сказать, время, а именно в тридцать седьмом году <...>. Я и старший брат мой ехали, с покойным отцом нашим, в Петербург, <...>. Был май месяц, было жарко. <...>. Мы с братом стремились тогда, в новую жизнь, мечтали об чем-то ужасно, обо всем «прекрасном и высоком», – тогда это сло-

вечко было еще свежо и выговаривалось без иронии. <...>. Брат писал стихи, каждый день стихотворения по три, и даже дорогой, а я беспрерывно в уме сочинял роман из венецианской жизни. <...>. И вот раз, перед вечером, мы стояли, на станции, на постоялом дворе, в каком селе не помню, кажется в Тверской губернии <...>

Прямо против постоялого двора через улицу приходился станционный дом. Вдруг к крыльцу его подлетела курьерская <...>. Тотчас же выскочил и фельдъегерь, сбегал с ступенек и сел в тележку. Ямщик тронул, но не успел он и тронуть, как фельдъегерь приподнялся и молча, безо всяких каких-нибудь слов, поднял свой здоровенный правый кулак и, сверху, больно опустил его в самый затылок ямщика. Тот весь тряхнулся вперед, поднял кнут и изо всей силы охлестнул коренную. Лошади рванулись, но это вовсе не укротило фельдъегеря. Тут был метод, а не раздражение, нечто предвзятое и испытанное многолетним опытом, и страшный кулак взвился снова и снова ударил в затылок. <...>. Парень воротится, смеются над ним: *Ишь, тебе фельдъегерь шею накомтылял*, а парень, может, в тот же день прибьет молодую жену: *Хоть с тебя сорву*; а может, и за то, что *смотрела и видела...*» (XIII, 32).

Случай из биографической жизни самого Федора Михайловича занимает теперь место ключевого прообраза: «Эта отвратительная картинка осталась в воспоминаниях моих на всю жизнь. <...>. В конце сороковых годов, в эпоху моих самых беззаветных и страстных мечтаний, мне пришла вдруг однажды в голову мысль, что если б случилось мне когда основать филантропическое общество, то я непременно дал бы вырезать эту курьерскую тройку на печати общества как эмблему и указание» (XIII, 33).

Впрочем, перед нами ведь не просто нарратив об изувере-фельдъегере. Он едет в тройке, которая несется по провинциальной дороге, – это же вкрапление голоса из «Мертвых душ»: «И в самом деле Селифан давно уже ехал, зажмуря глаза, изредка только потряхивая вприсонках вожжами по бокам дремавших тоже лошадей; а с Петрушки уже давно нивесть в каком месте следет картуз, и он сам, опрокинувшись назад, уткнул свою голову в колено Чичикову, так что тот должен был дать ей щелчка. Селифан приободрился и, отшлепавши несколько раз по спине чубарого, после чего тот пустился рысцой, да помахнувши сверху кнутом на всех, примолвил тонким певучим голоском: “Не бойся!” Лошадки расшевелились и понесли <...>. Чичиков только улыбался, слегка подлетывая на своей кожаной подушке, ибо любил быструю езду. И какой же русский не любит быстрой езды?» [Гоголь 1951: 246]. Патриархальная и благоже-

тальная утопичность («уткнул свою голову в колено Чичикову, так что тот должен был дать ей щелчка») уходит, уступив место чиновничьему техникцизму и упоению властью. Впрочем, такой Всадник в русской литературе уже тоже был:

Куда ты скачешь, гордый конь,
И где опустишь ты копыта?
Омощенный властелин судьбы!
Не так ли ты над самой бездной
На высоте, уздой железной
Россию поднял на дыбы?
[Пушкин 1977: 286]

Общеизвестно: у Достоевского библейский текст регулярно выступает в качестве подтекста (см.: [Гроссман 1921: 107; Прохоров 2013: 386–400; Касаткина 2015]). Примечательно: влияние Библии отнюдь не ограничивается текстовыми пересечениями или заимствованными максимами и мотивами. Достоевский видит окружающий его повседневный и внешне профанный мир сквозь Библию; он использует интратекстовый инструмент Библии – ряды «параллельных мест», систему ‘прототип – образ’ для «прочтения» внебиблейской реальности. В этом использовании элементов поэтической техники, сформировавшей библейские исторические книги, в культурных условиях Европы конца XIX в. зиждется уникальность журналистики Достоевского и его взгляда на окружающий мир как публициста.

Примечание

¹ При цитировании текстов Ф. Достоевского в круглых скобках указываются номер тома и номера страниц по: Собр. соч.: в 15 т. (Л.: Наука, 1988–1996).

Список литературы

Аверинцев С. С. Греческая «литература» и ближневосточная «словесность»: (противостояние и встреча двух творческих принципов) // Аверинцев С. С. Риторика и истоки европейской литературной традиции. М.: Языки рус. культуры, 1996. С. 13–75.

Аристотель. Поэтика // Сочинения: в 4 т. М.: АН СССР; Мысль, 1984. Т. 4. С. 645–680.

Барт Р. Смерть автора // Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М.: Прогресс, 1994. С. 384–391.

Бахтин М. М. Проблемы творчества Достоевского // Собр. соч.: в 7 т. М.: Русские словари, 2000. Т. 2. С. 11–174.

Гиляров-Платонов Н. П. Из пережитого: Автобиографические воспоминания: [коломенские главы]. Коломна: ИД «Лига», 2016. 528 с.

Гоголь Н. В. Мертвые души // Полное собрание сочинений: в 14 т. М.: АН СССР, 1951. Т. 6. 923 с.

Гораций. Собрание сочинений. СПб.: Биографический институт; Студия биографика, 1993. URL: http://www.lib.ru/POEEAST/GORACIJ/hor1_6.txt_with-big-pictures.html (дата обращения: 31.07.2018).

Гроссман Л. П. Путь Достоевского // Гроссман Л. П. (ред.) Творчество Достоевского. 1821–1881–1921: сб. статей и материалов. Одесса: Всеукраинское гос. изд-во, 1921. 152 с.

Гуревич А. Я. Историк конца XX в. в поисках метода // Одиссей. Человек в истории. М.: Наука, 1996. С. 5–10.

Дарский Д. Достоевский-мыслитель // Творческий путь Достоевского / под ред. Н. Л. Бродского. Л.: Сеятель, 1924. С. 197–215.

Достоевский Ф. М. Собрание сочинений: в 15 т. Л.: Наука, 1988–1996.

Евангелие Достоевского: в 3 т. / под ред. В. Н. Захарова. Тобольск: Возрождение Тобольска, 2017. URL: <http://deniskmc.beget.tech/library.html> (дата обращения: 28.07.2018).

Карамзин Н. М. Путешествие вокруг Москвы // Коломенский альманах. Коломна: КГПИ, 2007. Вып. 11. С. 239–242.

Касаткина Т. А. Священное в повседневном. Двусоставный образ в произведениях Ф. М. Достоевского. М.: ИМЛИ РАН, 2015. 528 с.

Ключевский В. О. Древнерусские жития святых как исторический источник. М.: Изд. К. Солдатенкова, 1871. 496 с.

Котельников В. А. Ιστορία – Historia – История: история и эпика в их единстве и раздельности // Дмитриев А. П. (ред.) Никита Петрович Гиляров-Платонов: Исследования. Материалы. Библиография. Рецензии. СПб.: Росток, 2013. С. 11–35.

Кроче Б. Теория и история историографии. М.: Языки рус. культуры, 1998. 192 с.

Лабриола А. К вопросу о материалистическом взгляде на историю. СПб.: Н.И. Березин и М. Н. Семенов, 1898. 95 с.

Линдеман И. К. Маринкина башня в Коломне. Вопрос о смерти Марины Мнишек. М.: Тип. Г. Лисснера и Д. Собко, 1910. 35 с.

Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс // Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс. Дегуманизация искусства. Бесхребетная Испания. М.: АСТ; СТ Москва, 2008. С. 13–198.

Погодин М. П. Нестор, историческо-критическое рассуждение о начале русских летописей. М.: Унив. тип., 1839. 231 с.

Прохоров Г. Газетная заметка или эстетический объект? Фельетон как литературный жанр // Przegląd Rusycystyczny. 2016. № 3(155). С. 89–101.

Прохоров Г. С. Поэтика художественно-публицистического единства: (на материале литера-

туры периода классического посттрадиционализма): дис. ... д-ра филол. наук. М., 2013. 431 с.

Пушкин А. С. Медный Всадник // Полн. собр. соч.: в 10 т. Л.: Наука, 1977. Т. 4. С. 273–288.

Святославский А. В. Между вымыслом и реальностью: Художественная литература и публицистика как исторический источник // Профессиональная историография и историческая память: Опыт пересечения и взаимодействия в сравнительно-исторической перспективе / под ред. О. В. Воробьевой, О. Б. Леонтьевой. М.: Аквилон, 2017. С. 49–72.

Сидоров В. А. О «Дневнике Писателя» // Ф. М. Достоевский: Статьи и материалы / под ред. А. С. Долинина. Сб. 2. Л.; М.: Мысль, 1924. С. 109–116.

Смирнов И. П. О древнерусской культуре, русской национальной специфике и логике истории // Wiener Slawistischer Almanach. Bd. 28. Wien, 1991. 200 p.

Смирнов С. К. Предъизображение Господа нашего Иисуса Христа и Церкви Его в Ветхом Завете. М.: Университетская тип., 1852. 208 с.

Тихомиров Б. Н. Достоевский – «гениальный читатель» Священного Писания: (Задачи и принципы комментирования библейских интертекстов писателя) // Что и как читали русские классики? (От круга чтения к стратегиям письма) / под ред. Н. Ю. Грякаловой. СПб.: Изд-во «Пушкинский Дом», 2017. С. 99–222.

Eco U. Interpretation and Overinterpretation. Cambridge UK: Cambridge UP, 1992. P. 23–88.

Herrick J. A. The History and Theory of Rhetoric: An Introduction. 2-d ed. Boston: Allyn & Bacon, 2000. 304 p.

Janko R. (ed.) Aristotle: Poetics I with the Tractatus Coislinianus, a hypothetical reconstruction of Poetics II, the fragments of the On Poets. Indianapolis: Hackett Publishing Company, 1987. 238 p.

Lerer S. Children's Literature: A Reader's History, From Aesop to Harry Potter. Chicago: Chicago Univ. Press, 2008. 390 p.

Matthews V. H. Judges and Ruth. Cambridge UK: Cambridge UP, 2004. 274 p.

Thompson L. L. From Tanakh to Old Testament // Approaches to Teaching the Hebrew Bible as Literature in Translation. N. Y.: MLA, 1989. P. 45–53.

References

Aristotle Poetika [Poetics]. *Sochineniya*: v 4 t. [Collection of works in 4 vols.]. Moscow, USSR Academy of Sciences Publ., Mysl' Publ., 1984, vol. 4, pp. 645–680. (In Russ.)

Averintsev S. S. Grecheskaya 'literatura' i blizhnévostoch'naya 'slovesnost': (protivostoyanie i vstrecha dvukh tvorcheskikh printsipov) [Greek 'literature' and Near Eastern 'narration': (the conflict and

encounter of the two literary principles)]. Averintsev S. S. *Ritorika i istoki evropeyskoy literaturnoy traditsii* [Averintsev S. S. Rhetoric and origins of European literary tradition]. Moscow, Languages of the Russian Culture Publ., 1996, pp. 13–75. (In Russ.)

Bakhtin M. M. Problemy tvorchestva Dostoevskogo [The Problems of Dostoevsky's Writing]. *Sobr. soch.*: v 7 t. [Collection of works: In 7 vols.]. Moscow, Russkie slovari Publ., 2000, vol. 2, pp. 11–174. (In Russ.)

Bart R. Smert' avtora [The Death of the Author]. Bart R. *Izbrannyye raboty: Semiotika. Poetika* [Selected works: Semiotics. Poetics]. Moscow, Progress Publ., 1994, pp. 384–391. (In Russ.)

Croce B. *Teoriya i istoriya istoriografii* [Theory and history of historiography]. Moscow, Languages of the Russian Culture Publ., 1998. 192 p. (In Russ.)

Darskiy D. Dostoyevskiy – myslitel' [Dostoevsky as a thinker]. *Tvorcheskiy put' Dostoyevskogo* [Dostoevsky's creative development]. Ed. by N. L. Brodskiy. Leningrad, Seyatel' Publ., 1924, pp. 197–215. (In Russ.)

Dostoyevsky F. M. *Sobraniye sochineniy*: v 15 t. [Collection of works: in 15 vols.]. Leningrad, Nauka Publ., 1988–1996. (In Russ.)

Evangeliiye Dostoyevskogo: v 3 t. [Dostoevsky's Gospel: in 3 vols.]. Ed. by V. N. Zakharov. Tobol'sk, Vozrozhdenie Tobol'ska Publ., 2017. Available at: <http://deniskmc.beget.tech/library.html> (accessed 28.07.2018). (In Russ.)

Gilyarov-Platonov N. P. *Iz perezhitogo: Avtobiograficheskie vospominaniya: (kolomenskie glavy)* [The by-gones: autobiographical memoirs (Kolomna chapters)]. Kolomna, ID 'Liga' Publ., 2016, 528 p. (In Russ.)

Gogol' N. V. Mertvye dushi [Dead Souls]. *Polnoye sobraniye sochineniy*: v 14 t. [Complete collection of works: in 14 vols.]. Moscow, USSR Academy of Sciences Publ., 1951, vol. 6. 923 p. (In Russ.)

Grossman L. P. Put' Dostoyevskogo [Way of Dostoevsky]. *Tvorchestvo Dostoyevskogo. 1821–1881–1921: Sbornik statey i materialov* [Dostoevsky's writings. 1821–1881–1921. Collection of articles and documents]. Ed. by L. P. Grossman. Odesa, Vseukrainskoe Gosudarstvennoe Izdatel'stvo Publ., 1921. 152 p. (In Russ.)

Gurevich A. Ya. Istorik kontsa 20 v. v poiskakh metoda [The historian of the late 20th century in his search for method]. *Odissey. Chelovek v istorii. 1996* [Odysseus. Man in history. 1996]. Moscow, Nauka Publ., 1996, pp. 5–10. (In Russ.)

Horatius *Sobraniye sochineniy* [Collection of works]. St. Petersburg, Biographical Institute, Studiya biografika, 1993. Cited from: Available at: http://www.lib.ru/POEEAST/GORACIJ/hor1_6.txt_with-big-pictures.html (accessed 31.07.2018). (In Russ.)

Karamzin N. M. Puteshestvie vokrug Moskvy [Journey around Moscow]. *Kolomenskiy al'manakh* [Kolomna literary miscellany]. Kolomna, KSPI UP Press, 2007, vol. 11, pp. 239–242. (In Russ.)

Kasatkina T. A. *Svyashchennoe v povsednevnom. Dvusostavnyy obraz v proizvedeniyakh F. M. Dostoyevskogo* [Sacrality in mundane life. A two-part image in F. M. Dostoevsky's works]. Moscow, IWL RAS Publ., 2015. 528 p. (In Russ.)

Klyuchevskiy V. O. *Drevnerusskie zhitiya svyatykh kak istoricheskiy istochnik* [Old Russian lives of saints as a historical source]. Moscow, Izd. K. Soldatenkova Publ., 1871. 496 p. (In Russ.)

Kotel'nikov V. A. Ἱστορία – Historia – Istoriya: istoriya i epika v ikh edinstve i razdel'nosti [Ἱστορία – Historia – Istoriya. History and epics in their unity and separateness]. *Nikita Petrovich Gilyarov-Platonov: Issledovaniya. Materialy. Bibliografiya. Retsenzii* [Nikita Petrovich Gilyarov-Platonov. Studies. Documents. Bibliography. Reviews]. Ed. by A. P. Dmitriyev. St. Petersburg, Rostok Publ., 2013, pp. 11–35. (In Russ.)

Labriola A. *K voprosu o materialisticheskom vzglyade na istoriyu* [Essays on the Materialistic Conception of History]. St. Petersburg, Publishing House of N. I. Berezin and M. N. Semenov, 1898. 95 p. (In Russ.)

Lindeman I. K. *Marinkina bashnya v Kolomne. Vopros o smerti Mariny Mnishek* [Marinka's tower in Kolomna. The question of Marina Mniszech's death]. Moscow, Publishing House of G. Lissner and D. Sobko Publ., 1910. 35 p. (In Russ.)

Ortega-y-Gasset J. Vosstaniye mass [The revolt of the masses]. Ortega-y-Gasset J. *Vosstaniye mass. Degumanizatsiya iskusstva. Beskhrebetnaya Ispaniya* [The revolt of the masses. The dehumanization of art. Invertebrate Spain]. Moscow, AST Publ., ST Moskva Publ., 2008, pp. 13–198. (In Russ.)

Pogodin M. P. *Nestor, istoricheskoe-kriticheskoe rassuzhdenie o nachale russkikh letopisey* [Nestor, a critical and historical essay on the origins of Russian chronicles]. Moscow, University Publ., 1839. 231 p. (In Russ.)

Prokhorov G. S. Gazetnaya zametka ili esteticheskiy ob'ekt? Fel'eton kak literaturnyy zhanr [Newspaper information or fictional text? Feuilleton as a literary genre]. *Przeгляд Rusycystyczny* [Russian Studies Review], 2016, issue 3(155), pp. 89–101. (In Russ.)

Prokhorov G. S. *Poetika khudozhestvenno-publitsisticheskogo edinstva: (na materiale literaturnykh periodov klassicheskogo posttraditsionalizma)*. Dis. ... d-ra filol. nauk [Poetics of literary journalism from Enlightenment to Symbolism]. Dr. philol. sci. diss.]. Moscow, 2013. 431 p. (In Russ.)

Pushkin A. S. Mednyy Vsadnik [The Bronze Horseman]. *Polnoye sobr. soch.: v 10 t.* [Complete collection of works: in 10 vols.]. Leningrad, Nauka Publ., 1977, vol. 4, pp. 273–288. (In Russ.)

Sidorov V. A. O «Dnevnikе Pisatelya» [On 'A Writer's Diary']. *F. M. Dostoyevskiy: Stat'i i materialy* [F. M. Dostoevsky. Articles and documents]. Ed. by A. S. Dolinin. Leningrad, Moscow, Mysl' Publ., 1924, vol. 2, pp. 109–116. (In Russ.)

Smirnov I. P. O drevnerusskoy kul'ture, russkoy natsional'noy spetsifike i logike istorii [On Old Russian culture, Russian national specificity and logic of history]. *Wiener slawistischer Almanach*. Wien, 1991, vol. 28. 200 p. (In Russ.)

Smirnov S. K. *Pred"izobrazheniye Gospoda nashogo Iisusa Khrista i Tserkvi Ego v Vetkhom Zavete* [Antitypes of Jesus Christ and his church in the Old Testament]. Moscow, University Publ., 1852. 208 p. (In Russ.)

Svyatoslavskiy A. V. Mezhdumyislom i real'nost'yu: Khudozhestvennaya literatura i publitsistika kak istoricheskiy istochnik [Between fiction and reality. Literature and journalism as historical sources]. *Professional'naya istoriografiya i istoricheskaya pamyat': Opyt peresecheniya i vzaimodeystviya v sravnitel'no-istoricheskoy perspektive* [Historiography and historical memory: Attempt of juxtaposition and interaction in a comparative historical perspective]. Ed. by O. V. Vorob'yeva, O. B. Leont'eva. Moscow, Akvilon Publ., 2017, pp. 49–72. (In Russ.)

Tikhomirov B. N. Dostoyevskiy – «genial'nyy chitatel'» Svyashchennogo Pisaniya: (Zadachi i printsipy kommentirovaniya bibleyskikh intertekstov pisatelya) [Dostoevsky as a 'brilliant reader' of the Holy Scripture. (Perspectives and principles in interpretation of biblical intertexts of the writer)]. *Chto i kak chitali russkiye klassiki? (Ot kruga chteniya k strategiyam pis'ma)* [What and how did Russian classics read? (From literary canon to strategies of writing)]. Ed. by N. Yu. Gryakalova. St. Petersburg, Izdatel'stvo 'Pushkinskiy Dom' Publ., 2017, pp. 99–222. (In Russ.)

Eco U. *Interpretation and Overinterpretation*. Cambridge UK, Cambridge UP, 1992, pp. 23–88. (In Eng.)

Herrick J. A. *The History and Theory of Rhetoric: An Introduction*. Boston, Allyn&Bacon, 2nd ed., 2000. 304 p. (In Eng.)

Janko R. (ed.) *Aristotle: Poetics I with the Tractatus Coislinianus, a hypothetical reconstruction of Poetics II, the fragments of the On Poets*. Indianapolis, Hackett Publishing Company, 1987. 238 p. (In Eng.)

Lerer S. *Children's Literature: A Reader's History, From Aesop to Harry Potter*. Chicago, Chicago Univ. P., 2008, 390 p. (In Eng.)

Matthews V. H. *Judges and Ruth*. Cambridge UK, Cambridge UP, 2004. 274 p. (In Eng.)

Thompson L. L. From Tanakh to Old Testament. *Approaches to Teaching the Hebrew Bible as Literature in Translation*. New York, MLA, 1989, pp. 45–53. (In Eng.)

**‘A WRITER’S DIARY’ AND THE BOOK OF JUDGES:
ON THE POETICS OF HISTORY AND ORIGINS OF DOSTOEVSKY’S POLYPHONY**

George S. Prokhorov

Professor in the Department of Literature

State University for the Humanities and Social Studies

30, Zelenaya st., Kolomna, 140415, Russian Federation. hoshea.prokhorov@gmail.com

SPIN-code: 7506-0123

ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-4652-8698>

ResearcherID: I-9202-2018

Submitted 07.09.2018

Based on *A Writer's Diary*, we consider some elements of Dostoevsky's journalism, namely what can be called 'extended reality', which is emblematic of the writer's works and which has always excited interest of many of the readers and professional critics. Despite the emerging vision of journalism as an analytical field where a journalist interprets facts rather than creates or deliberately changes them, Dostoevsky writes his articles in a "layer-like" manner, as their subjects refer both to the facts of social life and to fiction. Information from newspapers or his private letters, events from Dostoevsky's past, protagonists of other writers, and fictional sketches form a peculiar blend. For example, his wife's narrative about her meeting with an old woman in a street in Saint Petersburg, an event which did really take place, is transformed into a story about a centenarian who wanders around the capital looking for her great-grandchildren and dies in their house during dinner. What appears to be the closest typological parallel to Dostoevsky's journalism is the style of 'Near-Eastern narration', e. g. the historical books of the Bible. *The Book of Judges* contains the same mixture of history and literature, direct speech of its protagonist and words already spoken by other figures of the Bible from the earlier episodes. Like a scribe of the past, Dostoevsky interacts with the world as if it was sacral. He is eager to trace glimpses of *higher* antitypes, *higher* plot, and even an intention of the *higher* Writer in mundane situations. The closeness to the Biblical 'prototype' shapes the uniqueness of Dostoevsky's articles among other 19th century journalistic writings. It brings some polyphony into the texts, so that the articles are not so much a direct speech of Dostoevsky as 'crossroads' created by the writer and mingling different persons, their voices and their outlooks on the world.

Key words: Dostoevsky; journalism; *A Writer's Diary*; Bible; history; narrative.

УДК 821.133

doi 10.17072/2037-6681-2019-1-122-129

ВАРИАЦИИ МИСТИЧЕСКИХ ИДЕЙ В ЛИТЕРАТУРЕ XIX ВЕКА (О. де Бальзак, Ж. де Местр, Ш. Бодлер)

Наталья Владимировна Решетняк**к. филол. н., доцент кафедры романо-германской филологии и перевода****Санкт-Петербургский государственный экономический университет**

191023, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, 21. agapital17@mail.ru

SPIN-код: 9713-7746

ORCID: <http://orcid.org/0000-0001-7400-6163>

ResearcherID: R-2444-2018

*Статья поступила в редакцию 28.09.2018***Просьба ссылаться на эту статью в русскоязычных источниках следующим образом:**

Решетняк Н. В. Вариации мистических идей в литературе XIX века (О. де Бальзак, Ж. де Местр, Ш. Бодлер) // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2019. Т. 11, вып. 1. С. 122–129. doi 10.17072/2037-6681-2019-1-122-129

Please cite this article in English as:

Reshetnyak N. V. Variatsii misticheskikh idey v literature XIX veka (O. de Bal'zak, Zh. de Mestr, Sh. Bodler) [Variations of Mystical Ideas in 19th-Century Literature (Honoré de Balzac, Joseph de Maistre, Charles Baudelaire)]. *Vestnik Permskogo universiteta. Rossiyskaya i zarubezhnaya filologiya* [Perm University Herald. Russian and Foreign Philology], 2019, vol. 11, issue 1, pp. 122–129. doi 10.17072/2037-6681-2019-1-122-129 (In Russ.)

Затронут важнейший аспект творчества трех авторов XIX столетия, Жозефа де Местра, Оноре де Бальзака и Шарля Бодлера, объединяемых приверженностью теории соответствий, или «универсальных аналогий», согласно которой каждая земная вещь является символом незримого мира и каждое земное событие соответствует божественным законам. Автор статьи показывает, что без понимания мистической идеи невозможно полное осмысление художественного наследия этих писателей – «ясновидцев» и «пророков», – выстраивающих собственные отношения с мистиками Луи-Клодом де Сен-Мартеном и Эмануэлем Сведенборгом. Отголоски мистических трудов «Небесные тайны» и «Человек желания» можно встретить на страницах бальзаковских романов и повестей, влияние «Неведомого философа» Сен-Мартена ощутимо в «Санкт-Петербургских вечерах» Местра, Бодлер также неоднократно упоминает имя Сведенборга в своих прозаических сочинениях. Автора «Цветов зла» также можно назвать наследником эстетических принципов Жозефа де Местра, поскольку за революционной патетикой Бодлера проглядывает местровская политическая теософия, в основе которой лежит концепция действия высшей божественной воли в земном мире – Провидения. Основные положения провиденциализма де Местра совпадают с философскими тезисами другого последователя теории соответствий – Бальзака – в том, что касается божественного Числа, однако расходятся, когда речь идет о материи. Согласно автору «Мистической книги», невидимый духовный мир и видимый физический мир составляют одну и ту же материю, она может преобразовываться, но не исчезать, тогда как Местр воспринимает материю лишь как знак всеильного духа. При жизни писателям были чужды откровенные признания в пристрастии к мистической философии, однако написанные ими произведения доказывают, насколько глубоки их познания в области мистицизма и как ясно сила воображения позволила им передать посредством метафоры глубинную суть божественной идеи. Каждый из них желал обновления христианской религии и искал возможные пути возвращения к утраченному Единству, отводя поэту, наделенному даром ясновидения, роль толкователя священных знаков.

Ключевые слова: Провидение; теория соответствий; мистицизм; универсальная аналогия; аллегорические знаки; теория Числа; догмат обратимости.

Целью данной работы является исследование вариаций мистических идей трех выдающихся авторов XIX столетия – Оноре де Бальзака (1799–1850), Жозефа де Местра (1753–1821), Шарля Бодлера (1821–1867), – которые легли в основу их творческого наследия. Таким образом, в круг поставленных задач входят: выявление отношения этих авторов к фигурам великих мистиков и их сочинениям, изучение степени влияния теософов на творчество Бальзака, Местра и Бодлера, сравнительный анализ взглядов писателей относительно центральных понятий мистических доктрин и, наконец, выявление специфических черт их мистицизма. Взяв за основу компаративистский метод, будем сопоставлять «мистическое» творчество Бальзака, которое уже исследовалось в наших недавних работах¹ и которому полностью посвящен один из номеров журнала, носящего имя великого романиста [L'Année balzacienne 2013], с теософскими воззрениями двух других авторов.

Из трех французских писателей Жозеф де Местр – фигура наименее известная отечественным литературоведам: франкоязычный автор, владеющий блестящим стилем, религиозный и политический мыслитель, Местр провел около пятнадцати лет своей жизни при дворе российского императора Александра I в качестве посла королевства Сардинии². Необычная судьба, высокое положение философа в Петербурге впоследствии вызывали зависть Оноре де Бальзака, также мечтавшего о блистательной карьере придворного советника. В России графом де Местром были написаны главные произведения, которые он оценивал как работы в области метафизики, и среди них самое крупное религиозно-философское сочинение – «Санкт-Петербургские вечера, или Беседы о верховной власти Провидения» (1821).

Истоки христианского провиденциализма Местра уходят в глубь тайных знаний масонских лож. «Проклятый поэт» и «один из величайших авторов, когда-либо писавших по-французски», – согласно авторитетному суждению современного французского литератора и публициста Филиппа Соллерса³ (род. в 1936), – в молодости был франкмасоном, что позволило ему досконально узнать изнанку истории религий внутри христианства. Титул «Великого Исповедника» (Grand Profès) [Виат 1998: 613], закрепленный за писателем, доказывает, что он принадлежал к вершине масонской иерархии, являясь одним из тайных высших руководителей мастерских. Его эрудиция в области мистицизма является обратной, тайной стороной его католической ортодоксальности, и в этой, на общепринятый взгляд, несовместимости заключен удивительный пара-

докс местровских религиозных исканий, столь притягательный для исследователей его творчества. Местр мечтал использовать знания тайных обществ с целью воссоединения церковей и найти в масонских ложах ключ к истинному христианству. «Орлом мысли» назвал Местра Бальзак в своем романе «Утраченные иллюзии» [Бальзак VIII, 1960: 324]. Обоих писателей объединяет то, что своим творчеством они провозглашали борьбу за религиозно оправданную науку, кроме того, им в равной степени была близка идея обновления религии.

И Бальзака, и Местра одинаково интересовали опыты алхимиков эпохи Возрождения, мистические сочинения Якоба Бёме (1575–1624), Мадам Гюйон (1648–1717) и Эмануэля Сведенборга (1688–1772). Что касается мистика Луи-Клода де Сен-Мартена (1743–1803), «Неведомого философа», уроженца родной Бальзаку Турени, то он был современником автора «Санкт-Петербургских вечеров». Сен-Мартен первым перевел труды Бёме с немецкого на французский, а последующие годы жизни посвятил написанию своих основных работ и переводам сочинений немецкого мистика. Местр, безусловно, испытывал глубокий интерес к творчеству самого знаменитого из французских теософов, его первые отзывы о Сен-Мартене граничили с восторгом, но, тем не менее, масоном он стал еще до выхода в свет сен-мартеновского сочинения «Заблуждения и истины» (1785). Они встречались в 1787 г. в Шамбери, когда «Неведомый философ» ехал через Савойю в Италию: «савойский мыслитель» оставил об этой встрече интересные воспоминания, свидетельствующие о симпатии к нему со стороны Сен-Мартена.

В письме к сестре граф де Местр пылко превозносит «Человека желания», называет книгу Сен-Мартена «истинным шедевром изящества» [Виат 1998: 619], а позднее Граф, один из героев-собеседников из «Санкт-Петербургских вечеров», заимствует выражение «человек желания», чтобы применить его по отношению к Фенелону [Maistre 2007: 604]. В 1793 г. в дни, когда французские войска осуществили вторжение в его родную Савойю, Местр, сохраняя хладнокровие, предавался чтению «Нового человека» Сен-Мартена, а впоследствии собственноручно переписывал три работы амбуазского теософа. Реминисценции из «Неведомого философа» постоянно приходят ему на ум, а иногда он цитирует удачные выражения Сен-Мартена, как например: «Молитва – дыхание души» [ibid.: 558]. Пережив духовную эволюцию в 1810 г., Местр в «Санкт-Петербургских вечерах» вновь возвращается к мартинизму.

В 1822 г., уже после смерти «савойского мыслителя», в одной брошюре теософского толка было замечено со ссылкой на собственное признание Жозефа де Местра, что «разрешение всех важных вопросов, трактуемых в “Санкт-Петербургских вечерах”, заимствовано из сочинений и теорий Сен-Мартена» [Виат 1998: 609]. Что касается Бальзака, отец и дед которого также были франкмасонами, то французский писатель лично признался в первой версии «Предисловия к “Мистической книге”» (1835), что грандиозная сцена Вознесения в его романе «Серафита», а также возвращение на землю героев Вильфрида и Минны заимствованы им из сен-мартеновского трактата «Человек желания» [Balzac 1980: 1449]. Таким образом, очевидно, что великий романист не только отдавал дань уважения «Неведомому философу», но и активно задействовал в своих трудах темы и мотивы Сен-Мартена.

Известно также, что Бальзак читал Одиннадцатую беседу «Санкт-Петербургских вечеров» Местра, посвященную иллюминизму, где Сен-Мартен охарактеризован как «самый образованный, рассудительный и изящный из современных теософов» [Maistre 2007: 771].

Если в сочинении Жозефа де Местра встречаются реминисценции и цитаты из трактатов теософа, то в случае Бальзака можно говорить о «поглощении» им терминов и идей Сен-Мартена. Во введении к изданию бальзаковского «Трактата о молитве» французский исследователь Филипп Берто писал, что когда «последовательно читаешь “Луи Ламбера”, “Серафиту”, “Человека желания” и “Служение Человека-Духа” (*Le Ministère de l'Homme-Esprit*), можно констатировать, что словарь терминов Сен-Мартена глубоко проник в сознание и стиль Бальзака» [Bertault 1942: 49]. Берто приводит несколько ключевых понятий мистика из Турени, задействованных автором «Трактата о молитве»: *pâtiments* – страдания, *Réparateur* – преобразователь, *Parole vraie* – истинное Слово, *hiéroglyphes* – священные знаки, *prière active* – действенная молитва. Однако автор «Мистической книги» часто использует сен-мартеновские термины и понятия по-своему: «Он придает этим словам иное или противоположное значение», – пишет в своей статье «Бальзак и Сен-Мартен» Робер Амаду [Amadou 1965: 38].

Как уже отмечалось ранее, Бальзака и Жозефа де Местра объединяло желание обновить религию; в предисловии к своему «Трактату о молитве» Бальзак писал: «Мы верим, что наша доктрина о молитве будет оценена, поскольку она необходима нашему веку. В обновленные, закалившиеся души должен быть вложен новый религиозный принцип» [Bertault 1942: 19]. Оба писателя верили, что возможности человека огромны и

«высший, истинный род его духовной деятельности заключается в молитве, посредством которой человек вступает в соприкосновение с Богом...» [Maistre 2007: 592]. На страницах «Санкт-Петербургских вечеров» Местр бесконечное число раз воспекает силу молитвы, утверждая, что «если нет молитвы, то нет и религии» [ibid.: 558]. От лица своего героя Графа он утверждает, что «молитва не только полезна для устранения физического зла, но и является для него истинным противоядием, особым лечебным средством, которое по природе устроено так, что стремится уничтожить зло...» [Maistre 2007: 582].

Об интересах Сен-Мартена известно из его переписки: он был увлечен спиритуализмом, магнетическим лечением, магическими эвокациями (окультными обрядами вызывания духов) и произведениями Сведенборга. Подобные склонности были также у Бальзака, тем не менее в «Предисловии к “Мистической книге”» ее автор признается, что ставит Сведенборга выше Сен-Мартена и Бёме. Очевидно, что Бальзак не мог найти глубоких точек соприкосновения с теософами, которые отвергали научное знание и хотели объяснить сущность человека, избежав разговора о материи. В итоге в основу всех трех произведений «Мистической книги» легло теологическое учение мистического характера скандинавского пророка Эмануэля Сведенборга, которого Бальзак называл «христианским Буддой» и сравнивал с Иоанном Богословом, Пифагором и Моисеем [Balzac 1835: IX].

Фигура Сведенборга привлекла французского писателя в первую очередь потому, что шведский теософ был ученым, который владел абстрактным мышлением и точными научными методами. Откровения, высказанные мистиками в туманной форме, в его уме кристаллизовались в четкую систему. На протяжении всей жизни для Сведенборга было характерно стремление соединить науку и религию. И в конце концов мистический взгляд Сведенборга, согласованный с системой, которую провозгласил и обосновал французский зоолог-эволюционист Жоффруа Сент-Илер (1772–1844), совпал, по словам Бальзака, с его собственными представлениями о единстве мира и о Божьем могуществе [Бальзак I, 1960: 22].

На страницах своего объемного теософского труда «Тайны небесные» (1749–1756) (*Arcana Coelestia*) Сведенборг изложил теорию соответствий. Ее суть сводится к тому, что всякая земная вещь связана с небом и имеет символическое значение, однако понять его могут только ангельские духи, для которых ничтожнейший цветок являет собою мысль и жизнь, соответствующую некоему элементу великого целого. Идея соответствий восходит в Европе еще к Платону,

ее разделял и Сен-Мартен, однако концепция соответствий, свойственная французскому философу, отличает его от Сведенборга. Бальзак же, напротив, в романе «Серафита» поэтизировал именно сведенборгианский вариант теории соответствий, сделав главным героем своего произведения Ангела.

Всеведущий Ангел – андрогинное существо, по авторскому замыслу, открывает истину о том, что невидимый духовный мир и видимый физический мир составляет одна и та же материя, которая может преобразовываться, но никогда не исчезает. Духовный мир состоит из бесконечных связей, порожденных конечным материальным миром, однако человек не в силах охватить эти связи и узреть отдаленную цель, в которой они находят свое выражение. В этом они сравнимы с числами, которые неизвестно, откуда берут начало и где заканчиваются. Бесконечность чисел существует и не доказывается, однако и время, и пространство определяются лишь числами. Бог – это Число, обладающее движением, оно ощущает себя и не требует доказательств. Движение и Число порождены Божественным Словом. Данный тезис основан на том, что даже слабое человеческое слово способствует появлению обществ, памятников, действий, страстей. Лишь Бог может распорядиться бесконечностью во всем объеме, человек не в состоянии этого сделать, иначе он был бы Богом. Природа идентична, подобно числу, в своих бесконечных принципах, но она никогда не бывает такой в своих конечных следствиях. Бог не создавал ни растений, ни животных, ни звезд. В основе всего лежит одна и та же субстанция и движение, но все определяется непрерывностью отношений.

Автор «Мистической книги» не единственный, чье внимание привлекли «символы» и «соответствия»: среди наиболее известных стихотворений Шарля Бодлера, собранных в книге «Цветы зла», принято называть сонет «Соответствия» (*Correspondances*), со временем ставший для французских символистов отправной точкой теории и поэтической практики. Автор «Цветов зла» разделяет идеи Сведенборга о том, что все в природном мире – форма, движение, количество, цвет, запах – значимо в сфере духовного, все соответствует всему и перетекает одно в другое. В письме французскому мыслителю, натуралисту и фурьеристу Альфонсу Туссенелю (1803–1885) от 21 января 1856 г. Бодлер вновь затрагивает тему «соответствий» и рассуждает в том же ключе, что и «визионер» Бальзак в «Луи Ламбере»: «...лишь разум и воображение поэта, гения как независимо мыслящего существа, способны воспринять всеобщую аналогию, или то, что мистическая религия называет соответствием» [Бодлер

2012: 85]. Идеи Сведенборга дают автору «Цветов зла» основу для построения собственной теории «универсальных аналогий», и «хотя бодлеровские “соответствия” выстраиваются, подобно сведенборгианским, по ассоциативному принципу, они при этом не столь жестко эмблематически закреплены, в их вариативности доминирует индивидуальное, личностное начало» [Соколова 2015: 62].

Назвав среди самых красивых и возвышенных романтических пейзажей «фьорд Серафитуса»⁴, Бодлер стал одним из немногих, кто полностью понял замысел бальзаковской «Серафиты» и идею андрогинного существа, которая трактуется в ключе теософии Сведенборга. Мистическая концепция андрогина как совершенного человека импонирует автору «Цветов зла» более любой другой, поэтому он и восхищается «великим духом» и «ясновидением» Бальзака, который воплотил в своем персонаже идеи Сведенборга, Месмера и Сент-Илера. «Я много раз удивлялся тому, что великая слава Бальзака приписывается его дару наблюдателя, – писал Бодлер, – мне же всегда казалось, что его главная заслуга в том, что он был мистиком, страстным мистиком» [Baudelaire 1962: 678].

Мысль Бодлера взаимодействует также во многих планах восприятия с мыслью другого «ясновидца» – Жозефа де Местра. Хорошо известна знаменитая фраза из «Дневников» поэта, где он признается, что «рассуждать меня научили де Местр и Эдгар По» [Бодлер 1997: 423]. В письме Туссенелю поэт называет Местра «величайшим гением нашего времени» и не раз привлекает его имя в своих сочинениях, например, в наброске к понятию «универсальной религии» («Мое обнаженное сердце», 1862–1864). Согласно выражению исследователя местровского творчества Пьера Глода, идеи автора «Санкт-Петербургских вечеров» постоянно звучат в сознании Бодлера «приглушенным эхом» [Фокин 2011: 126].

Как наследнику эстетических принципов «савойского мыслителя» Бодлеру свойственны вспышки пламенного воображения, метафизические прозрения и иронические предчувствия опустошительных иллюзий современности. Чтобы понять некоторые идеи бодлеровской философии, необходимо вначале обратиться к «Санкт-Петербургским вечерам»: говоря о фейерверке, пламени Революции, которую он не переживал, как граф де Местр, но которая в его сознании является аналогией Поэзии, автор «Цветов зла» словно переводит слова Местра на другой язык, более поэтический или патетический. Восприятие мира как «леса символов» в сонете «Соответствия», несмотря на отсылку к Сведенборгу, в первую очередь воскрешает в памяти Десятую беседу

местровского сочинения и рассуждения его героев о том, что «все существующее в нашем мире имеет отношение к миру незримому» [Maistre 2007: 736].

Мысль Местра нашла продолжение в поэтической мысли автора «Цветов зла», противоборствующей и неистойой, о чем свидетельствуют интонации особенно «позднего» Бодлера. Однако сама мысль Местра не менее поэтична, поскольку ее развитие связано с метафорой. Она зиждется на аналогии между видимым и духовным миром, поэтому события Истории и рассматриваются «савойским мыслителем» как аллегорические знаки, начертанные Провидением. По мнению автора монографии «Бодлер и традиция аллегории» Патрика Лабарта, для Местра, как и для Бодлера, очевидно, что виной всему происходящему в земном мире нужно считать первородный грех, давший толчок неотступной мысли, которая терзает сознание и заставляет постоянно вспоминать о боли. Понятие первородного греха теологически объясняет как постыдное клеймо разделения и изгнания, так и одержимый поиск единства. Бодлер говорит об отождествлении свободы и судьбы (когда свобода наций и отдельных людей соединится с замыслом Провидения), что случится лишь благодаря возврату к утраченному Единству, а способствовать этому должен «истинный прогресс», т. е. уменьшение следов Вины.

Вина порождает блуждания существа, обремененного угрызениями совести, однако, в представлениях Местра, вина может считаться и божественным орудием, бичом, который исцеляет своим ударом. Боль становится одновременно испытанием и искуплением, а злой человек – самобичевателем, – об этом свидетельствует и стихотворение Бодлера «L'Héautontimorouménos» (в переводе с греческого «сам себя карающий»). Внушающий ужас палач, расчлняя тело, возвращает Единство, а война, названная де Местром божественной, обращает кровопролитие в отпущение грехов, поэтому мученикам необходимо стать священной жертвой, обретя смирение и согласившись с вечным Разумом, что самопожертвование наделено силой очищения. Благодаря боли свершается «великое таинство вселенной» – обратимость.

Стихотворение Бодлера «Обратимость» (*Réversibilité*), которое в русском варианте также интерпретируют как «Искупление», обязано местровской теории об обратимости страданий, являющейся краеугольным камнем его теософии. Догмат, который привлек внимание поэта, объясняет смысл страданий, возложенных на невинных, и дает ответ, как мир живых, разделенный первородным грехом, может окончательно при-

мириться через жертву путем перевоплощения зла в добро. В толковании автора «Санкт-Петербургских вечеров» теория обратимости невинности и порока – одна из самых великих врожденных истин: она же в созвездии его идей, взаимодействующих и сливающихся, является «настоящим средоточием местровского провиденциализма» [Maistre 2007: 413].

Логика «савойского мыслителя», которую подхватывает Бодлер, признаваясь, что рассуждать его научил Местр, парадоксальная и исполненная тождества противоположностей, черпает силы в древней риторике, способствующей тому, согласно П. Лабарту, чтобы в местровском сознании рождались картины одержимой земли, которая кричит и требует крови, «словно для того, чтобы, пропитавшись ей, истребить все зло» [Labarthe 2015: 344].

Вспоминая об опьянении в 1848 г. («Мое обнаженное сердце»), Бодлер перенимает местровскую интонацию и провозглашает «естественную радость разрушения». Разрушение касается и его личной жизни, в которой «искупление играет огромную роль», о чем он признается матери в письме от 8 декабря 1848 г. По Местру, падение ножа гильотины свидетельствует о невиновности, Бодлер же постоянно напоминает, что страдание духовно возрождает: «Идите через горнило испытаний, они всякому идут на пользу» [Бодлер 2012: 267], – пишет он Мадам Поль Мёрис 24 мая 1865 г. Поэт страдает и тоскует в Брюсселе, но все равно там останется, пока не исчезнут «причины покаяния».

Как уже было сказано выше, теософское видение Жозефа де Местра способствует особому восприятию событий Истории. Согласно «савойскому мыслителю», множество видимых знаков, посланных Провидением, которое «никогда не действует вслепую», нужно уметь читать. Отвергая аналитический, раскладывающий на части рационализм Ф. Бэкона, Местр поддерживает идею апостола Павла о том, что «этот мир есть совокупность невидимых вещей, явленных взору» [Maistre 2007: 736]. Подобное восприятие требует расшифровки, толкования, о котором напоминает бодлеровское определение поэта: «...что такое поэт, – спрашивает он в статье о Викторе Гюго, – я беру слово в самом широком значении, если не толкователь, дешифровщик? У превосходных поэтов нет ни одной метафоры, сравнения или эпитета, которые не являлись бы математически точной адаптацией, поскольку все эти сравнения, метафоры и эпитеты заимствованы в неисчерпаемой глубине универсальной аналогии, и они не могут заимствоваться где-либо еще» [Baudelaire 1962: 735]. Бодлер отдает дань воображению как самому научному из

свойств, способному черпать в неисчерпаемой глубине универсальной аналогии и благодаря метафоре подбирать ключи, которые открывают царство Единого, находящееся по ту сторону разделения. Очевиден неоплатонический след этой теории, которая созвучна идее Местра, связанной с мотивом Числа; то, что слово должно быть математически связано с числом, автор «Санкт-Петербургских вечеров» утверждает в Восьмой беседе: «...Бог даровал нам число, и именно числом обнаружил он нам свое существование, точно так же и человек посредством числа свидетельствует о себе ближнему. Уничтожьте число – и вы лишитесь искусств, наук, языка, а значит, и разума...» [Maistre 2007: 694].

В работе «Платонизм Бодлера» Марк Эгелдингер отмечает, что христианизм Местра, наделенного даром ясновидения, освещен «пламенем аналогии», которое помогает преодолеть путь от земного к божественному [Labarthe 2015: 356]. Число, являясь своего рода обещанием возврата к утраченному Единству, словно кодирует «точное соотношение» видимого символа и его значения, которое лишь поэт-пророк посредством метафоры или образного выражения способен установить между внешним обликом вещи и ее обликом духовным. Бодлер в продолжение местровской теории аналогий обдумывает идею абсолютной точности языка, о чем свидетельствует пассаж в статье о Теофиле Готье, посвященный лексическому или метафорическому соответствию: «...Невыразимого не существует» [Vaude-laire 1962: 677]; речь идет не просто о том, чтобы выбрать в языковом словаре наиболее точное слово, а о том, чтобы почерпнуть соответствующую метафору в неиссякаемом пространстве универсальной аналогии.

В свою очередь Местр в соответствии с идеей аналогии продолжает искать ответ на вопрос, сможет ли этот раздробленный мир, включая его части, пораженные безрассудством и жестокостью, слиться с Единым без остатка? В Третьей беседе боль за человечество, «раздробленное» Провидением, представлена как восхождение «к великому Единству, которое мы должны приветствовать издалека». В отличие от Бальзака, Местр в своей теософии отводит материи исключительно пассивную роль; она «сама по себе ни к чему не способна, и в сущности она есть не что иное, как доказательство существования духа» [Maistre 2007: 580]. Восприятие материи лишь как священного знака всесильного духа объясняет значение молитвы – божественного инструмента, способного пробудить материю и помешать физическому злу.

«Служение» поэта или «пророка», сообразно терминам Местра, подразумевает способность

выходить за пределы времени. Метод аналогии сжимает временное пространство, упраздняет хронологию и последовательность, а также внутреннее временное разделение. Постигание аналогий – «глубоких и тайных отношений между вещами» – наделяет поэта почти божественной способностью интуитивно воспринимать истинную реальность.

Таким образом, Местр усматривает в аллегории послание фундаментальной мысли, что помогает ему различать в ужасах и насилии образ позитивного будущего. В соответствии с идеей мыслителя, История – это драматический театр, находящийся между потерянным и обретенным раем, или арена, где искупление значит больше невинности, где палач, расчлняя, соединяет и отпускает грехи, где пролитая кровь вознаграждает. Постулат о единстве субстанций приводит Местра к утверждению идеи об «универсальной аналогии», позволяющей каждому земному событию «соответствовать» божественным законам. Именно поэтому местровский «пророк» никогда не перестанет расшифровывать священные знаки человеческой истории с помощью аналогии и молитвы. В равной степени аллегорическое толкование является призывом бодлеровского поэта. Христианский провиденциализм Местра заставляет автора «Цветов зла» сопереживать космической и личной драме, разворачивающейся под крики и стоны земных существ, которые, тем не менее, однажды сольются с общим гулом задуманного Богом мироздания, чтобы раствориться в Едином без остатка.

В данной работе мы затронули наиважнейший аспект творчества трех авторов, связанных теорией «универсальных аналогий», без которой невозможно было бы полное понимание их художественного наследия, и одновременно выявили склонности каждого из них по отношению к мистикам и мистицизму. Бальзак, и еще в большей степени Бодлер, избегали слишком откровенных признаний в интересе к мистической философии, тогда как «савойский мыслитель», называя себя ортодоксальным католиком, до самой смерти оставался адептом учения Сен-Мартена. В отличие от Бальзака, поэт «Цветов зла» не доверял магнетизерам и не любил спиритических сеансов, но при этом испытывал страсти к Сведенборгу, которого упоминает в своих прозаических сочинениях, например, в поэме «Добрые собаки». Писатели, чьи произведения представляют собой своеобразную энциклопедию XIX в., каждый по-своему были очарованы «алхимиком мысли» Местром. Благодаря христианскому провиденциализму Местра Бодлер опосредованно «впитал» теософию Сен-Мартена. Для Бодлера, парии в пантеоне поэтов,

как и для Жозефа де Местра, свойственно одухотворение, даже сакрализация Зла, через которое приходит Очищение. Бодлер, разделивший принцип искупления, который вдохновил его на трепетные строки стихотворения «Обратимость»: «Вы, ангел радости, когда-нибудь страдали?», придал теологическому догмату о великом отпущении грехов свое неповторимое поэтическое звучание.

Примечания

¹ См.: Решетняк Н. В. Мистицизм и оккультные науки в произведениях Оноре де Бальзака // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 2007. № 3. С. 95–102; Решетняк Н. В. Неизвестный Бальзак – последователь мистического учения Сен-Мартена // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9. Филология. Востоковедение. Журналистика. 2007. № 2–1. С. 12–18.

² Отметим здесь публикацию материалов российско-французской конференции «Актуальность Жозефа де Местра», организованной С. Н. Зенкиным в РГГУ (19–20 июня 2009 г., Москва), явившуюся наглядным подтверждением необходимости и своевременности обращения к творчеству савойского графа.

³ URL: www.philippesollers.net/maistre_entretien.html.

⁴ Салон 1859 года. VIII. Пейзаж.

Список литературы

Бальзак О. де. Предисловие к «Человеческой комедии» // Собрание сочинений: в 24 т. М., 1960. Т. I. 484 с.

Бальзак О. де. Утраченные иллюзии // Собр. соч.: в 24 т. М., 1960. Т. VIII. 439 с.

Бодлер Ш. Цветы зла. Обломки. Парижский сплин. Искусственный рай. Эссе, дневники. Статьи об искусстве. М.: РИПОЛ КЛАССИК, 1997. 960 с.

Бодлер Ш. Избранные письма. СПб.: Machina, 2012. 366 с.

Виат О. Граф Жозеф де Местр // Санкт-Петербургские вечера. СПб.: Изд-во «Алетейя», 1998. 732 с.

Сведенборг Э. Избранное. М: Изд-во «Астрель», 2003. 880 с.

Соколова Т. В. Грани творческой жизни: Очерки о Шарле Бодлере. СПб.: ИД «Петрополис», 2015. 288 с.

Фокин С. Л. Пассажи. Этюды о Бодлере. СПб.: Machina, 2011. 224 с.

Amadou R. Balzac et Saint-Martin // L'Année balzacienne. 1965. P. 35–60.

Balzac H. de. Préface // Livre Mystique. I. 1-éd. Paris: Werdet, 1835. 352 p.

Balzac H. de. Préface du Livre mystique. La Comédie Humaine. Paris: Gallimard, 1980. T. XI. 1952 p.

Baudelaire Ch. Curiosités esthétiques. L'Art romantique. Paris: Garnier Frères, 1962. 956 p.

Bertault Ph. Introduction // Traité de la Prière. Paris: Boivin et Cie, 1942. 128 p.

L'Année balzacienne 2013. Balzac, mystique, religion et philosophie. Troisième série, 14. Presses Universitaires de France, 2013. 480 p.

Labarthe P. Baudelaire et la tradition de l'allégorie. Genève: Droz, 2015. 920 p.

Maistre J. de. Les soirées de Saint-Petersbourg // Maistre J. de. Oeuvres / ed. de P. Glaudes. Paris: Robert Laffont, 2007. 1362 p.

References

Balzac H. de. Predislovie k 'Chelovecheskoy komedii' [The Preface to the 'The Human Comedy']. *Sobr. sochineniy: v 24 t.* [The collection of works in 24 vols]. Moscow, 1960, vol. 1. 484 p. (In Russ.)

Balzac H. de. *Utrachennye illyuzii* [Lost Illusions]. *Sobranie sochineniy: v 24 t.* [The collection of works in 24 vols]. Moscow, 1960, vol. 8. 439 p. (In Russ.)

Baudelaire Ch. *Tsvety zla. Oblomki. Parizhskiy Splin. Iskusstvennyy ray. Esse. Dnevniky. Stat'i ob iskusstve* [The Flowers of Evil. The Wrecks. Paris Spleen. The Artificial Paradises. Essays. Dairies. Writings on Art]. Moscow, Ripol Classic Publishing House, 1997. 960 p. (In Russ.)

Baudelaire Ch. *Izbrannye pis'ma* [Selected letters]. St. Petersburg, Machina Publ., 2012. 366 p. (In Russ.)

Viatte A. *Graf Zhozef de Mestr* [Count Joseph de Maistre]. *Sankt-Peterburgskie vechera.* [St. Petersburg Dialogues]. St. Petersburg, Aletheia Publ., 1998. 732 p. (In Russ.)

Swedenborg E. *Izbrannoe* [Selected Writings]. Moscow, Astrel Publ., 2003. 880 p. (In Russ.)

Sokolova T. V. *Grani tvorcheskoy zhizni: esse o Sharlye Bodlyere* [The facets of creative life: essays about Charles Baudelaire]. St. Petersburg, Petropolis Publ., 2015. 288 p. (In Russ.)

Fokin S. L. *Passazhi. Esse o Bodlyere* [Passages. Essays about Baudelaire]. St. Petersburg, Machina Publ., 2011. 224 p. (In Russ.)

Amadou R. Balzac et Saint-Martin [Balzac and Saint-Martin]. *L'Année balzacienne*, 1965, pp. 35–60. (In Fr.)

Balzac H. de. Préface [The Preface]. *Livre Mystique* [The Mystical Book]. 1st edition. Paris, Werdet, 1835, vol. 1. 352 p. (In Fr.)

Balzac H. de. *Préface du Livre mystique. La Comédie Humaine* [The Preface to the Mystical Book. The Human Comedy]. Paris, Gallimard, 1980, vol. 11. 1952 p. (In Fr.)

Baudelaire Ch. *Curiosités esthétiques. L'Art romantique* [Esthetic curiosities. The Romantic Art]. Paris, Garnier Frères, 1962. 956 p. (In Fr.)

Bertault Ph. *Introduction. Traité de la Prière* [Introduction. A treatise on prayer]. Paris, Boivin et Cie, 1942. 128 p. (In Fr.)

L'Année balzacienne 2013. Balzac, mystique, religion et philosophie [Balzac, mystic, religion and

philosophy]. Troisième série, 14. Presses Universitaires de France, 2013. 480 p. (In Fr.)

Labarthe P. *Baudelaire et la tradition de l'allégorie* [Baudelaire and the tradition of allegory]. Genève, Droz, 2015. 920 p. (In Fr.)

Maistre. J. de. *Les soirées de Saint-Pétersbourg* [St. Petersburg Dialogues]. *Oeuvres* [Works]. Ed. by P. Glauudes. Paris, Robert Laffont, 2007. 1362 p. (In Fr.)

VARIATIONS OF MYSTICAL IDEAS IN 19th-CENTURY LITERATURE (Honoré de Balzac, Joseph de Maistre, Charles Baudelaire)

Natalia V. Reshetnyak

Associate Professor in the Department of Romano-Germanic Philology and Translation
Saint Petersburg State University of Economics

21, Sadovaya st., St. Petersburg, 191023, Russian Federation. agapital17@mail.ru

SPIN-code: 9713-7746

ORCID: <http://orcid.org/0000-0001-7400-6163>

ResearcherID: R-2444-2018

Submitted 28.09.2018

This work deals with an important aspect of the writings of three 19th-century authors – Joseph de Maistre, Honoré de Balzac and Charles Baudelaire. They were followers of the theory of correspondence, or ‘universal analogy’, which suggests that each visible thing is a symbol of the invisible world and each material phenomenon is in correspondence with the Divine laws. The author of this article highlights that it is impossible to reflect on the artistic legacy of these authors – ‘prophets’ and ‘clairvoyants’ – without understanding the mystical idea that is fundamental for their writings. They formed their own bonds with the mystics Louis-Claude de Saint-Martin and Emanuel Swedenborg. Balzac's novels contain numerous reminiscences of Swedenborg's mystical works such as *Arcana Coelestia (Heavenly Mysteries)* and *L'Homme de Désir*, the influence of the ‘unknown philosopher’ Saint-Martin is evident in J. de Maistre's *Les Soirées de Saint-Pétersbourg (Saint Petersburg Dialogues)*, while Charles Baudelaire repeatedly mentions Emanuel Swedenborg in his essays. The author of *Les Fleurs du Mal (The Flowers of Evil)* can also be regarded as a follower of Joseph de Maistre's aesthetics, since Baudelaire's revolutionary pathos contains a tinge of de Maistre's political theosophy, which is based on the concept of Divine Providence that governs the material world. In so far as the concept of the Divine Proportion is concerned, the basic ideas of de Maistre's providentialism are in line with philosophical theses of Balzac, another follower of the theory of correspondence. However, when it comes to the concept of matter, their views differ. According to the author of the *Mystical Book*, both the invisible spiritual world and the visible physical world consist of the same matter, which can transform itself but does not disappear. De Maistre, on the other hand, believed that matter is but a sign of the almighty Spirit. During their lifetime, the writers avoided owning that they were fascinated by mystical philosophy. However, their writings have proved that their knowledge of mysticism was indeed profound. By virtue of their powerful imagination, they were able to use the metaphor and convey their idea of the fundamental nature of the Divine idea. Each of them yearned to renovate the Christian religion and was looking for the possible ways of regaining the lost Unity, the poet's role being that of a clairvoyant and an interpreter of the sacred signs.

Key words: Providence; theory of correspondence; mysticism; universal analogy; allegorical signs; theory of Number; dogma of reversibility.

УДК 821.161.1"1992/..."

doi 10.17072/2037-6681-2019-1-130-139

ОНТОЛОГИЯ И ПОЭТИКА ХУДОЖЕСТВЕННО-ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ ПРОЗЫ С. АЛЕКСИЕВИЧ («Чернобыльская молитва. Хроника будущего»)

Светлана Викторовна Романова

аспирант кафедры литературы

Витебский государственный университет им. П. М. Машерова

210038, Республика Беларусь, г. Витебск, Московский просп., 33. lanilya83@gmail.com

SPIN-код: 9674-4578

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-1436-6551>

ResearcherID: Y-2410-2018

Статья поступила в редакцию 11.12.2018

Просьба ссылаться на эту статью в русскоязычных источниках следующим образом:

Романова С. В. Онтология и поэтика художественно-документальной прозы С. Алексиевич («Чернобыльская молитва. Хроника будущего») // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2019. Т. 11, вып. 1. С. 130–139. doi 10.17072/2037-6681-2019-1-130-139

Please cite this article in English as:

Romanova S. V. Ontologiya i poetika khudozhestvenno-dokumental'noy prozy S. Aleksievich («Chernobyl'skaya molitva. Khronika budushchego») [The Ontology and Poetics of Non-Fiction Prose of Svetlana Alexievich ('Chernobyl Prayer. A Chronicle of the Future')]. *Vestnik Permskogo universiteta. Rossiyskaya i zarubezhnaya filologiya* [Perm University Herald. Russian and Foreign Philology], 2019, vol. 11, issue 1, pp. 130–139. doi 10.17072/2037-6681-2019-1-130-139 (In Russ.)

Анализируются особенности жанрового оформления художественно-документальной прозы С. Алексиевич на примере произведения «Чернобыльская молитва. Хроника будущего» в связи с экзистенциональной направленностью творчества автора. Актуализация проблем бытия в творческой системе писателя определяет онтологический характер повествования и отражает взгляд на историю как концепцию трагического. «Чернобыльская молитва» представляет собой сложную полисемантическую структуру, построенную на полифонии, «многоголосии», – в основу положены воспоминания очевидцев о чернобыльской катастрофе. Однако главным «голосом», который формирует идейно-тематическое и эмотивное содержание, является «голос» автора. Особенность выражения эстетической концепции писателя состоит в связи гротескового мышления с народно-мифологическим сознанием, проявляющейся в сочетании разных стилистических пластов и реализации серьезно-смеховых форм в межтекстовом пространстве. Жанровые свойства трагифарса усиливают ощущения трагической предопределенности и абсурдности человеческого существования. Амбивалентная природа серьезного и смешного выявляет кризисное сознание героев. Онтологическая сущность бытия выражается в философии одинокого и обреченного существования, пронизанного ощущениями страха и смерти. Раскрытию авторского замысла способствует также композиционная целостность, в которой обнаруживаются внутренние связи мотивной организации произведения. Ведущим мотивом хроники выступает экзистенциональный.

В единстве художественных компонентов, своеобразном сочетании разнообразных жанровых свойств автор моделирует собственную картину мира, в которой отражается взгляд на историю как концепцию трагического.

Ключевые слова: С. Алексиевич; художественно-документальное произведение «Чернобыльская молитва»; жанр; полифония; эмотивная тональность; трагифарсовые формы; мотивная организация; экзистенциональность; трагизм.

В русскоязычной прозе Беларуси рубежа XX–XXI вв. наблюдается тенденция, демонстрирующая активное развитие художественно-документальных форм повествования в творчестве писателей. Обращаясь к историческим документам и фактам, авторы пытаются найти ответы на вопросы, возникающие в связи со сложными и противоречивыми процессами, происходящими в жизни общества, страны, а также мира в целом.

Новым подходом в отображении действительности в литературе конца XX в. отличается роман-хроника А. Адамовича, В. Колесника, Я. Брыля «Я из огненной деревни...», который представляет собой «репортаж с места событий», запись воспоминаний и свидетельств жителей деревень, сожжённых во время Великой Отечественной войны. Монтажный принцип организации текста позволяет в многообразии характеров раскрыть духовные ценности и традиции белорусского народа.

Наследует и развивает традиции А. Адамовича в своем творчестве русскоязычный автор Беларуси С. А. Алексиевич. Писательница по такому же принципу создает свое произведение «Чернобыльская молитва. Хроника будущего», четвертую по счету книгу в едином художественно-документальном цикле «Голоса Утопии», посвященном «истории русско-советской души», развенчанию иллюзий относительно строительства «светлого коммунистического будущего».

В последнее время творчество С. А. Алексиевич особенно привлекает внимание ученых и исследователей. Интерес к жанровой стороне вопроса творчества писательницы находит отражение в научных работах Н. А. Сиваковой, В. Н. Крылова, К. Гурска, О. И. Михалевой, М. А. Деминовой, О. И. Десюкевич, Сону Сайни и др. Исследователями рассматриваются особенности становления художественно-документального жанра в творчестве С. Алексиевич в контексте развития «литературы факта», анализируются жанровые свойства сложной гибридной формы художественно-документального цикла. Как представляется, жанровое своеобразие произведений С. А. Алексиевич в первую очередь определяется экзистенциальной направленностью ее творчества. Поэтому актуальность нашего исследования обусловлена назревшей необходимостью изучения жанровой природы художественно-документальной прозы автора с целью выявления онтологического характера повествования в произведении «Чернобыльская молитва. Хроника будущего».

«Чернобыльская молитва» – это отдельная история, ставшая не только национальной, но и

мировой трагедией, воспоминания о которой сопровождаются ощущением непреходящей горечи, – «имя сей звезде «полюнь» (Откр. 8, 10–11) [Библия 2003: 1276]. Ядерная катастрофа, масштабы бедствия которой еще не оценены, определяет онтологический характер художественно-документальной прозы С. Алексиевич. Писательница воплощает в своих произведениях специфически новое видение мира.

В интервью автора с самим собой, которое можно считать экспозицией к основному содержанию произведения, писатель называет причины, подтолкнувшие его обратиться к теме Чернобыля. Для С. Алексиевич важны не факты того, что и как произошло, но метафизика, бытийность самого процесса и восприятие его другими: «Что же человек там узнал, угадал, открыл в самом себе? В отношении к миру?» [Алексиевич 1998: 430]¹. В авторском представлении сухое изложение фактов, цифр делает историю о Чернобыле неполной, «пропущенной», гораздо важнее оценить онтологическую сущность этого события.

С. Алексиевич важно понять, что собой представляет техногенный взрыв – «гигантскую технологическую катастрофу» или же «некий знак» всем нам (430). В концепции автора Чернобыль – это напоминание о преходящем земном пути, о высшем предназначении и смысле жизни человека: «...мне хотелось спросить и о другом – о смысле человеческой жизни, нашего существования на земле» (430).

«Космическая» трагедия в сознании героев может стать началом развития апокалиптического сценария и открывает выход в запредельный мир, новое измерение, наполняющее трансцендентальным смыслом «текущее» бытия. Реальные участники, потерпевшие, свидетели чернобыльской аварии пытаются найти ответы на вопросы не только частного, но и общего характера – о познаваемости / непознаваемости, конечности / бесконечности, материальности / идеальности существующего мира.

Заглавие художественно-документального повествования «Чернобыльская молитва. Хроника будущего» ориентирует на жанровое восприятие произведения, в номинации которого скрыты модальные смыслы многозначия, апеллирующего к чувствам читателя и вызывающего ощущение внутренней неполноты и недосказанности. Многозначие является одним из приемов в формировании смысловой структуры текста и имеет концептуальное значение в стилистике автора: чернобыльская трагедия – это история невыразимого.

Жанровый приоритет молитвы настраивает в первую очередь на психологизм повествования. В молитвенном состоянии душа человека предельно обнажена, раскрывает тончайшие движения мыслей и чувств, переживаний. Являясь предметом рассмотрения богословского учения, молитва «есть возношение ума и сердца к Богу, созерцание Бога, дерзновенная беседа твари с Творцом...» [Кронштадский 2006: 57]. В христианском сознании закрепилось представление о молитве сердечной, теплой, умной, непрестанной и т. д. Чернобыльская молитва – своеобразный неологизм, потенциальное слово, воспринимаемое в единстве компонентов и претендующее на отдельное место в общепринятой молитвенной практике. Глоссема в авторской рефлексии обнаруживает тесные корреляционные связи внутри синонимического ряда: «черная боль» – «черная боль» – молитвенный плач – немой крик ужаса и отчаяния, – дистанцирующегося от традиционного восприятия молитвы как «веселие духа, ... бодрость и мужество во всех скорбях и искушениях жизни, светильник жизни» [там же].

С христианской точки зрения такую молитву правильнее было бы идентифицировать как «неуслышанную». С точки зрения автора, она, скорее, не имеет конкретного определения вообще, а представляет собой сгусток негативных эмоций и ощущений, отражающих субъективные переживания героев, их внутреннюю дисгармонию. Разобщенность собственного «я» с окружающим миром, душевная пустота связана со сложностью осмысления трагедии: «Чернобыль не просто катастрофа, это – граница из одного мира в другой, это уже новая философия, новое мироощущение. Новое знание» (596). И это знание пока скрыто от человека: «Молчат философы. Молчит искусство...» (597).

Жанр хроники предопределяет характер изложения исторического материала в документальной достоверности и временной последовательности. Автор предлагает рассматривать хронику чернобыльских событий как историю, которая продолжает развиваться. По мысли С. Алексиевич, человеческое сознание еще не готово дать ответ на вопрос о том, что же такое Чернобыль, каково его место и значение в общем ходе вещей: «Случилось нечто, для чего мы еще не имеем системы представлений, ни аналогов, ни опыта...» (430).

Чернобыль выступает своеобразным знаком-символом, напоминанием человеку о фатальных последствиях. Фатализм как способ мировоззрения приближает «Чернобыльскую молитву» к эпике древнегреческих трагедий. Внутренний

ритм и интонация организованы по сходному принципу введения в структуру произведения монологов и хоров. Безусловно, хроника будущего не ревалентна античной трагедии, но музыкальная динамика «перекликающихся голосов» обуславливает специфику внутреннего действия, своеобразного карнавального шествия иррациональных сил, которое сродни импровизациям культовых празднеств в честь древнегреческого бога Диониса.

Сложную структуру произведения образует полифония, многоголосие – музыкальный термин, предполагающий одновременное звучание двух и более голосов. Полифоничность как один из важнейших жанровых признаков романа, предложенных в XX в. М. М. Бахтиным, подразумевает диалог, «множественность одинаково авторитетных идеологических позиций» [Бахтин 1963: 24]. С этой точки зрения, в «Чернобыльской молитве» нет тех полюсов, которые продуцировали бы развитие внутренней коллизии, сталкивали противоборствующие силы и взгляды, – «голоса» образуют единое совместное звучание, «общий слаженный механизм», служащий раскрытию авторской концепции.

В систему персонажей входят местные жители деревень (переселенцы), врачи, инженеры, физики-ядерщики, ликвидаторы последствий аварии, дети. Одним словом, мы слышим «голос» всего народа, простых людей и выходцев из семей интеллигенции. Воспоминания героев, словно их тени, представляют поток ускользающих, фрагментарных описаний, передающих душевное состояние персонажей, но не раскрывающих образ в целом. Художественно-документальное повествование строится на градации переживаний и ощущений, испытанных героями в период чернобыльской трагедии. С. Алексиевич своей главной задачей считает передать «ощущения, чувства людей, прикоснувшихся к неведомому» (430), поэтому манифестация эмоций в художественной системе писателя выполняет смысловую нагрузку. В структуре «Чернобыльской молитвы» все построено на игре эмоциональных контрастов и подчинено воплощению авторской концепции, отражению взгляда на чернобыльскую трагедию как историю, разыгрываемую слепой волей судьбы – фатумом.

Чувственный тон повествования отмечается лабильностью, неустойчивостью, резкой сменой настроения. Монологи героев часто сопровождаются авторскими ремарками в скобках: *(неожиданно засмеялся)*, *(и уже серьезно)*, *(неожиданно поет)*, *(неожиданно серьезно)*, *(заплакала навзрыд и замолчала)*, *(сначала молчит,*

потом долго плачет), (вдруг улыбается) и т. д. Резкое смещение противоречивых и парадоксальных ситуаций находит выражение в гротесковых формах плача и смеха. Действие бессознательных, иррациональных сил, выталкивающих одновременно высокое и низовое в человеке, определяет особые формы отражения трагического мироощущения в хронике. Концентрация мысли предельно смещена в область серьезно-смехового. Сочетание разных стилистических пластов является эмоционально-смысловой доминантой автора, которая служит «психической основой метафоризации и вербализации картины мира в тексте» [Белянин 2000: 57].

В структуру хроники органично вписываются анекдоты, смысл которых наполнен трагическим содержанием: «Хотите анекдот? Бежал из тюрьмы заключенный. Спрятался в тридцатикилометровой зоне. Словили. Отвели к дозиметристам. Так «светится», что его ни в тюрьму, ни в больницу, ни к людям» (479) и др.

Шутовская буффонада окрашивает в ироничные тона скептическое, а порой и озлобленное отношение к окружающей действительности. Низовая народная стихия реализуется в частушках, афоризмах о Чернобыле, помещенных в межтекстовое пространство произведения: «Запорожец» – не машина, украинец – не мужчина. Если хочешь быть отцом, оберни яйцо свинцом» (481), «Под горою пашет трактор, на горе стоит реактор. Если б шведы не сказали, до сих пор еще б не знали» (482) и др.

Амбивалентная природа трагифарса выявляет кризисное сознание героев, которые пытаются найти выход в границах существующего антимира или спрятаться от объективной реальности, ужасающей своей предопределенностью и отсутствием смысла жизни. Непознаваемый, хаотичный, иррациональный мир Чернобыля образно осмысливается как «театр абсурда», «тьень безумия».

Организирующим ядром в формировании философской концепции произведения является создание мотивного комплекса. Мотивная система находит отражение в композиционной целостности произведения. Ведущим мотивом в повествовательной стратегии С. Алексиевич является экзистенциальный, усиливающий пафос чернобыльской трагедии и раскрывающий основное эмотивное содержание хроники. Чернобыльская катастрофа «обезоруживает» героев в попытке разрешить экзистенциальный конфликт.

Субстанциональное состояние пограничной личности отражено в эпиграфе к «Чернобыльской молитве», в цитате современного философа

М. Мамардашвили: «Мы воздух, мы не земля...». В ее основе лежит антиномия: человек – венец творения, «свободный дух», имеющий высшее назначение на Земле, и – заложник обстоятельств, выражающих ничтожность и обреченность его существования. Метафорически образ человека соотносится с отравленным и пропитанным радиоактивными изотопами воздухом. Подтверждение этой мысли мы не раз находим в художественной ткани произведения: «Дышим радиацией, едим радиацию...» (499).

Кольцевая композиция хроники образует замкнутое смысловое пространство, сводящее темпоральную структуру повествования к общему центру, – истории Чернобыля как концепции трагического.

«Одинокий человеческий голос» – монолог-экзистенция, поставленный автором в начало и конец произведения, сталкивает микрокосм человеческой души с макрокосмом. Отсутствие слияния с миром определяет состояние отпадения от любви человека, утратившего свою целостность и гармонию. Трагизация усиливается ощущениями героев, выражающих состояние покинутости, оставленности и обреченности существования.

Одинокий человеческий «голос» – это голос надорванной жизни, трагической женской судьбы: истории Людмилы Игнатенко, жены погибшего пожарника, которая в 23 года потеряла мужа и ребенка, родившегося вскоре после аварии и принявшего на себя удар радиации еще в утробе матери, и истории Валентины Панасевич, жены монтажника, ликвидатора последствий аварии.

Для обеих героинь чернобыльская катастрофа становится личной трагедией. На глазах женщин происходила трансформация внешнего облика любимого человека: «Человек, которого я любила... на моих глазах превращался... В чудовище» (487). Отпугивающий эффект производят сцены поражающего действия радиации, раздвигая рамки сознания от традиционного представления о естественном, гармоничном состоянии организма и мира к «вывернутому наизнанку» человеческом образу и реальности. Жизненное пространство героинь сужается, смещается в фокус трагического, а время с момента аварии как будто останавливается. Поэтому монологи насыщены натуралистическими подробностями, которые фиксируют их состояние, передают его «болезненность»: «Пластами отходила слизистая... Пленочками белыми...» (420), «Кусочки легкого, кусочки печени шли через рот... Захлебывался своими внутренностями...» (425). В этой аномальности, гротесковости персонажируются

образ смерти, распространяющий свою «черную магию» на дальнейшее повествование.

Одинокий «голос» – это выражение безутешной скорби, молитвенный плач женщин, чья жизнь оказалась разделенной на две части, – до и после взрыва на Чернобыльской станции. Ощущение обреченности и ужасающей предопределенности будущего передается детям: «Он тоже болеет: две недели в школе, две дома с врачом» (429), «Мой сын... Он давно болен... Мечтаю поменять квартиру поближе к Новинкам, там у нас психиатрическая больница. Он там...» (592). Трагедия образует замкнутое пространство, из которого нет выхода. Опасность этого состояния лежит в области экзистенциального, когда сердце наполняется мраком, тьмой настолько, что в нем уже не остается места для любви и радости. В повествовательной структуре хроники эта мысль диалогически повторяется: «...мрак не другое что есть, как отсутствие света» (459).

Открывающий повествование монолог жены погибшего пожарника и обрывающий сюжетную линию монолог жены ликвидатора («Одинокий человеческий голос») одновременно являются кульминацией, точкой наивысшего напряжения и экспрессивного воздействия на читателя.

Чернобыль становится символом «немного крика», боли и отчаяния в застывшем состоянии пата перед образом смерти: «темный корень крика», «я была как парализованная» (583), «Я кричу ночами... В подушку кричу, чтобы дети не услышали...» (590) и др.

Мотив смерти пронизывает все произведение: «Что же мы все вертимся вокруг смерти? Чернобыль... У нас другого мира уже не будет...» (512). Чернобыльская трагедия в сознании героев не похожа ни на какую другую трагедию в обычном понимании, а предстает своеобразным «перевертышем», где все приобретает противоположный, противоестественный смысл. Жизнь примеряет на себя «маску смерти» с присущими ей мортальными признаками ужаса, страха, обреченности: «Было много новых ощущений... Страх...» (523), «У всех депрессия... Чувство обреченности. Чернобыль-метафора. Символ. И наш быт, образ мышления...» (552).

Смерти же, напротив, передается витальная энергия, для героев она выступает как рождение, освобождение, укрытие от абсурдной и нелогичной действительности: «Мы не знали, что смерть может быть такой красивой» (522). Тема смерти в художественно-документальной прозе С. Алексиевич становится открытой и получает широкое звучание, автор смело использует стилистические приемы и средства выразительности, чтобы

передать пограничное состояние героев. Это обнаруживает связь с гротесковым мышлением, которое пытается выпукло и осязаемо отразить свое отношение к жизни и смерти.

«Земля мертвая» и «Солдатский хор» передают первые ощущения очевидцев чернобыльской трагедии: мир воспринимается героями как хаос. Разрушение реактора на Чернобыльской АЭС с inferнальной силой распространяет свою деструктивную энергию на огромные территории.

В «Земле мертвой» рассказывается о «потерянном рае» для тех, кто вынужден был оставить свой родной дом и землю после взрыва на чернобыльской станции. Спокойная и размеренная жизнь местных жителей сменяется театрализованным представлением в балаганном стиле: «Бабы на коленях перед хатами ползали... Молились... Солдаты под руки одну, другую – и в машину» (436).

Мотив разрыва связи со всем живым на Земле плотно охватывает всю структуру произведения: «Хочу рассказать, как прощалась с нашим домом моя бабушка. Она просила отца вынести из кладовой мешок пшена и разбросала его по саду «Божьим птичкам» (577), «Вырубили большой старый парк. Старые липы. Баба Надя... Она плакала над деревьями, как над людьми» (579).

Эта суэта казалась началом «конца». Чернобыльская трагедия для простых людей стала знаком Божьего возмездия за греховное «запустение», забвение христианских заповедей: «Помереть не трудно, а страшно. Церкви нету...» (434), «Грех на мне...» (458). Страх отпадения от любви Божией, богооставленности предопределяет развитие апокалиптических мотивов в пространственно-временной структуре произведения. Автор все время напоминает о том, что после Чернобыля создается новая история – история конца: «Бабки крестятся и голосят: «Солдатики, это что – конец света?»» (476).

В христианской апокалиптике период конца времен связан с «мессианскими страданиями» – предсказаниями о грядущих потрясениях, войнах, стихийных бедствиях, вселенских катаклизмах, влекущих за собой огромное число жертв. Представления о «последних судьбах мира» всегда сопряжены с идеей жертвоприношения как искупительной и спасительной жертвы «за всех», «за грехи всего мира»: «Лужи стали желтые... Зеленые... Бабушка закрывала нас в погребке. А сама становилась на колени и молилась. И нас учила: «Молитесь! Это – конец света. Наказание Божье за наши грехи» (576).

Идея жертвенности раскрывается через ироничное осмысление чернобыльской катастрофы

как закономерного итога искусственно созданной советской системы с «...преувеличенным оптимизмом, культовой идеализацией людей и событий» [Гуревич 2008: 349]. Чернобыльская трагедия как возмездие ложится печатью на весь народ: «...советское язычество? Жертвоприношение?» (479).

«Солдатский хор» – это воспоминания сослуживцев, рядовых солдат, милиционеров, которые были ликвидаторами последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Одних отличала жертвенность, героический порыв: «Тех, кто поднимался наверх, «аистами» звали. Роботы не выдерживали, техника сходила с ума. А мы работали. И очень этим гордились...» (461). О духовном подвиге солдат мы узнаем из «Монолога о тоске по роли и сюжету», в котором рассказывается о том, что потребовались добровольцы, чтобы спустить из-под реактора тяжелую воду – прямой компонент ядерного топлива: «И они нашлись! Ребята ныряли... Не из-за материального, меньше всего из-за материального...Наша готовность к самопожертвованию... Нам нет равных...» (508).

Однако среди ликвидаторов последствий многие критиковали советскую власть и руководство, которые, по их мнению, использовали людей как «расходный материал»: «Швыряли нас туда как песок, на реактор...» (465).

Лейтмотивом «Солдатского хора» является состояние одиночества, отчужденности: «Мы – одинокие. Чужие. Даже хоронят отдельно, не так, как всех. Как пришельцев откуда-то из космоса...» (469). Презрительное и ироничное отношение со стороны окружающих обуславливает возникновение специфической лексики в произведении: «зеленые роботы» – ликвидаторы последствий аварии, «светлячки» – участники чернобыльской трагедии, «чернобыльские хibaкyси» – молодые люди, проживавшие в чернобыльской зоне, которые могут рассчитывать только на браки друг с другом, и др.

Экзистенциальный мотив одиночества – это философия одинокого существования, трагизм которого заключается в том, что разделить чувства очевидца, участника или ликвидатора последствий аварии не в состоянии человек, находящийся вне этого «чернобыльского измерения»: «Со мной никто не может заговорить так, чтобы я ответил. На моем языке...» (469). Ощущение одиночества отягчается внутренним состоянием страха, которое вызвано ожиданием неизбежной смерти.

Вторая глава начинается с цикла монологов «Венец творения». Венец творения – библейская аллюзия, напоминающая о том, что человек, со-

зданный по образу и подобию Божиему, является высшей ценностью на земле. Однако С. Алексиевич, скорее, иронизирует над представлением о человеческой сущности: будучи венцом творения, в Божьем замысле о мире, человек оказывается все же ничтожно мал в соотношении с теми духовными и физическими возможностями, о которых годами внушалось советской идеологией: «Мы были воспитаны в особом советском язычестве: человек – властелин, венец творения» (537).

Во второй главе собраны монологи, характеризующие этап осмысления чернобыльской катастрофы. Любая изолированная система в период возрастания энтропии имеет тенденцию к переходу от порядка к хаосу. Недостатки советской системы, по мысли автора, привели к необратимости процессов и ее разрушению: «Сошлось две катастрофы: социальная – на наших глазах уходит под воду огромный социалистический материк, и космическая – Чернобыль» (431).

Одним из самых громких «голосов» хроники является критика советской власти. Политическая элита, заботясь о нравственном облике страны и повсеместно воспитывая дух коллективизма, по сути строила идеологию не на развитии личных духовных качеств человека, а на создании единой общности советского народа: «Страна власти, а не страна людей. Приоритет государства бесспорен. А ценность человеческой жизни сведена к нулю» (567).

Никто в первые дни не был информирован о взрыве на станции: «У нашего народа все время чувство, что его обманывают. На всех этапах большого пути. С одной стороны, нигилизм, отрицание, а с другой фатализм» (573). Причиной молчания стал также десятилетиями внушаемый страх, закабаление человека, подчинение воли диктату: «Первая реакция: позвонить домой жене, предупредить. Но все наши телефоны прослушивают. О, этот вечный, десятилетиями вдалбливаемый страх!» (539).

Концепция фатальной обреченности мира реализуется через мотив отсутствия личной ответственности и перекладывания вины за происходящее на государство. В «Монологе о старых пророчествах» героиня рассказывает о дочери, родившейся после чернобыльской аварии с комплексной патологией. Бесконечные операции, тяжелые больничные будни, резкое неприятие со стороны окружающих обостряют чувство вины у матери, которая пытается найти взаимосвязь своих поступков с болезнью ребенка. Однако мотив вины трансформируется в мотив отсутствия покаяния: «Но в нашем роду никто никого

не убил...» (472). «Корень зла» героиня видит в порочной практике советской системы: «Хотела подать на них в суд... На государство...» (473).

В народном представлении черновыльская авария стала одной из причин распада Советского Союза: «Великая империя распозлзлась по швам. Развалилась. Сначала – Афганистан, затем – Чернобыль» (535), «Чернобыль – это катастрофа русской ментальности... Конечно, я согласен, когда пишут, что это не реактор взорвался, а вся прежняя система ценностей» (там же).

В третьей главе «Восхищение печалью» С. А. Алексиевич, рассуждая о чернобыльской катастрофе, пытается подойти к вопросам о русской ментальности и судьбах русской культуры. Автор отмечает особенность русского мировоззрения, когда в поиске гармонии и целостного восприятия мира человек всегда сталкивается с трагическим: «Чернобыль – выход в бесконечность. Я помню, как дискутировали о судьбах русской культуры, о ее тяге к трагическому. Без смерти ничего нельзя понять» (549). Концепция трагического представляет взгляд на историю как на роковую предопределенность и неизбежность событий: «Это запрограммированность нашего народа на любую беду. Неуходящее ожидание беды... Кроме страдания, у нас ничего другого нет. Нет другой истории, нет другой культуры...» (555).

Поэтому воспоминания о Чернобыле у многих вызывают амбивалентные чувства: с одной стороны, непередаваемое ощущение страха и ужаса, боли и страдания, беспомощности, с другой – «восхищение печалью», восприятие трагедии как ужасного и прекрасного, таинственного, приоткрывающего завесу в новое измерение: «Я оглядываюсь на те дни... Я был рядом с чем-то... С чем-то фантастическим. Слов не хватает...» (547).

Еще один мотив пронизывает все художественно-документальное повествование и является константой в «Детском хоре» третьей главы – мотив потери детства. Автор сознательно последним аккордом ставит детский «голос», который своей невинностью не может противостоять «силам зла» и усиливает чувство трагической предопределенности.

Отсутствие радости и полноты жизни у детей в монологе учителя ориентирует на понимание детства как травмы: «На линейке эти дети падают в обморок; когда постоят пятнадцать-двадцать минут, у них кровь течет из носа. Их ничем не удивишь и ничем не порадуешь. Всегда сонливые, усталые. Лица бледные, серые. Не играют и не дурачатся» (496).

Для многих детей Чернобыль установил новые границы реальности, которые вписываются только в «периметр» больничной палаты, а выход за ее территорию сопровождается ощущениями страха и потерянности. Завершается «Детский хор» воспоминанием о тех, кто уже прожил свою короткую жизнь в чернобыльской зоне отчуждения. Последние слова в жизни героев еще раз напоминают о человеке как высшей ценности и усиливают эффект трагического в читательском восприятии: «Юля, Катя, Вадим, Оксана, Олег... Теперь – Андрей... Мы умрем и станем наукой», – говорил Андрей. «Мы умрем и нас забудут, – так думала Катя... Для меня теперь небо живое...» (582).

Черновыльская трагедия стала одним из событий, выявивших экзистенциальный надлом в обществе, – это вызвало интерес автора к проблеме сознания человека. Онтологический характер повествования обуславливает жанровую специфику произведения. Хроника будущего построена на «многоголосии» – в основу положены воспоминания очевидцев о чернобыльской катастрофе. В собирательном образе народа слышится «голос» самого автора, который, по сути, и является центральным действующим лицом. Именно писатель задает тон и формирует основное эмотивное содержание художественно-документального повествования. Эмоциональный компонент в творческой системе С. Алексиевич выступает смыслообразующим фактором.

В авторском понимании феноменологическая сущность Чернобыльской катастрофы пока недоступна человеческому знанию и отражает взгляд на историю как концепцию трагического. Особенностью выражения эстетической концепции писателя является связь гротескового мышления с народно-мифологическим сознанием, что проявляется в использовании стилистических приемов (олицетворение, сравнение, метафора, ирония), фигур речи (антитеза, оксюморон, градация, умолчание), фольклорных форм (анекдоты, частушки, пословицы, поговорки). Жанровые свойства трагифарса реализуются в свободном сочетании пластов серьезного и смешного, соединении философских размышлений, трагических переживаний и осмеяния, что приближает структуру художественно-документального произведения к мениппейному типу повествования. Формы серьезно-смехового дискурса раскрывают особенности трагического мироощущения: окружающая действительность абсурдна и фатально предопределена.

Раскрытию замысла способствует также композиционная целостность, в которой обнаружи-

ваются внутренние связи мотивной организации произведения. Воспоминания, которые в своей основе имеют субстанциональный конфликт, обуславливают своеобразие перекрещивающихся мотивов в пространственно-временной структуре хроники: апокалиптический, мотив смерти, мотив разрыва связи со всем живым на Земле, мотив отсутствия личной ответственности и перекладывания вины за происходящее на государство, мотив потери детства. Доминантой экзистенциального подхода к миру является выражение философии одинокого и обреченного существования, пронизанной ощущениями страха и смерти.

Чернобыльская АЭС до взрыва на ядерном реакторе в сознании народа выступала своеобразным фетишем, объектом поклонения величию советской власти и науки. После страшной трагедии Чернобыль стал, говоря словами Б. Пастернака, образом «хвастиливой мертвой вечности бронзовых памятников и колонн» [Пастернак 2010: 14], символом «земли мертвых» и скорбного молчания. Абсолютизация коммунистической идеологии вскрыла недостатки и изъяны советской системы, которые в первую очередь стали причиной духовного потрясения и личной трагедией для хрупкой и неподготовленной человеческой души.

Масштаб трагедии обуславливает специфику авторского сознания, которое в многообразии и сложности жанровых свойств отражает целостную картину мира.

Примечание

¹ *Алексиевич С. А.* Цинковые мальчики. Зачарованные смертью. Чернобыльская молитва. М.: Острожье, 1998. 608 с. Далее ссылки на это издание даются с указанием страниц в круглых скобках.

Список литературы

Алексиевич С. А. Цинковые мальчики. Зачарованные смертью. Чернобыльская молитва. М.: Острожье, 1998. 608 с.

Басова А. И., Синькова Л. Д. Становление документально-художественного жанра в журналистике Светланы Алексиевич // *Веснік БДУ*, серия IV. 2009. № 3. С. 93–96.

Библия. М., 2003. 1312 с.

Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1963. 167 с.

Белянин В. П. Основы психолингвистической диагностики: Модели мира в литературе. М.: Тривола, 2000. 248 с.

Гладков Ф. Собр. соч. в 8 т. М.: Гос. изд-во худож. лит., 1959. Т. 8. 600 с.

Гуревич П. С. Политическая психология: учеб. пособие для студ. вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. 543 с.

Гурска К. Творчество Светланы Алексиевич в контексте развития художественно-документальной прозы (повесть «Цинковые мальчики») // *Вестник РУДН. Серия Литературоведение. Журналистика.* 2017. Т. 22, № 2. С. 291–301.

Местергази Е. Г. Литература нон-фикшн / non-fiction: экспериментальная энциклопедия. Русская версия. М., 2007. 325 с.

Пастернак Б. Л. Доктор Живаго. М.: АСТ: Астрель, 2010. 544 с.

Святой праведный Иоанн Кронштадский. Мысли христианина. М.; Кронштадт: Отчий дом, 2006. 680 с.

Сивакова Н. А. Цикл Светланы Алексиевич «Голоса утопии»: особенности жанровой модели // *Известия Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины.* 2014. № 1(82). С. 148–151.

Синькова Л. Д. Беларуская традыцыя ў творчасці Святланы Алексіевіч // *Журналістыка-2014: стан, праблемы і перспектывы: матэрыялы 16-й Міжнар. навук.-практ. канф., 4–5 сн. 2014 г., Мінск / рэдкал.: С. В. Дубовік (адк. рэд.) [і інш.]. Вып. 16.* Мінск: БДУ, 2014. С. 81–85.

Сону Сайни «Чернобыльская молитва: хроника будущего» С. Алексиевич. Проблема жанра // *Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение.* 2013. № 2(10). С. 17–22.

Томашевская М. П. Проблематика катастрофического советского общества: по произведениям Светланы Алексиевич // *Вестник Полоцкого государственного университета. Серия Е: Педагогические науки.* 2016. № 15. С. 100–103.

Шмид В. Нарратология. М.: Языки слав. культуры, 2003. 312 с.

Яковлева Н. «Человеческий документ» // *История и повествование / под ред. Г. В. Обатиной, П. Песонена.* М., 2006. С. 372–426.

Karpusheva A. Svetlana Aleksievich's voices from Chernobyl: between an oral history and a death lament // *Canadian Slavonic Papers.* 2017. № 3–4. P. 259–280.

Lindbladh J. The polyphonic performance of testimony in Svetlana Aleksievich's voices from utopia // *Canadian Slavonic Papers.* 2017. № 3–4. P. 281–312.

Obertreis J. Polyphonies on the ruins of socialism: Svetlana Alexievich's work from the perspective of oral history // *Osteuropa: Zeitschrift fuer Gegenwartfragen des Ostens.* 2018. № 1–2(68). P. 117–134.

References

- Alexievich S. A. *Tsinkovye mal'chiki. Zacharovannye smert'yu. Chernobyl'skaya molitva* [Boys in zinc. Enchanted with death. The Chernobyl prayer]. Moscow, Ostrozh'e Publ., 1998. 608 p. (In Russ.)
- Basova A. I., Sin'kova L. D. Stanovlenie dokumental'no-khudozhestvennogo zhanra v zhurnalistike Svetlany Aleksievich [The formation of the non-fiction genre in journalism of Svetlana Alexievich]. *Vestnik BDU. Seriya 4* [Vestnik BSU. Series 4], 2009, issue 3, pp. 93–96. (In Russ.)
- Bibliya* [The Bible]. Moscow, 2003. 1312 p. (In Russ.)
- Bakhtin M. M. *Problemy poetiki Dostoevskogo* [The Problems of Dostoevsky's Poetics]. Moscow, 1963. 167 p. (In Russ.)
- Belyanin. V. P. *Osnovy psikholingvisticheskoy diagnostiki: Modeli mira v literature* [The foundations of psycholinguistic diagnostics: Models of the world in literature]. Moscow, Trivola Publ., 2000. 248 p. (In Russ.)
- Gladkov F. *Sobr. soch. v 8 t.* [Collection of works in 8 vols.]. Moscow, Gosudarstvennoe izdatel'stvo khudozhestvennoy literatury Publ., 1959, vol. 8. 600 p. (In Russ.)
- Gurevich P. S. *Politicheskaya psikhologiya: uchebnoe posobie dlya studentov vuzov* [Political psychology: textbook for university students]. Moscow, YuNITI-DANA Publ., 2008. 543 p. (In Russ.)
- Górska K. Tvorchestvo Svetlany Aleksievich v kontekste razvitiya khudozhestvenno-dokumental'noy prozy (povest' «Tsinkovye mal'chiki») [The work of Svetlana Alexievich in the context of the history of documentary fictional prose ('Boys in zinc')]. *Vestnik RUDN. Seriya Literaturovedenie. Zhurnalistika* [RUDN Journal of Studies in Literature and Journalism], 2017, vol. 22, issue 2, pp. 291–301. (In Russ.)
- Mestergazi E. G. *Literatura non-fikshn / non-fiction: eksperimental'naya entsiklopediya*. Russkaya versiya [Non-fiction literature: Experimental encyclopedia. Russian Version]. Moscow, 2007. 325 p. (In Russ.)
- Pasternak B. L. *Doktor Zhivago* [Doctor Zhivago]. Moscow, AST, Astrel' Publ., 2010. 544 p. (In Russ.)
- Holy Righteous John of Kronstadt. *Mysli khristianina* [Thoughts of a Christian]. Moscow, Kronstadt, Otchiy dom Publ., 2006. 680 p. (In Russ.)
- Sivakova N. A. *Tsiki Svetlany Aleksievich «Golos utopii»: osobennosti zhanrovoy modeli* [The cycle 'Voices of utopia' by Svetlana Alexievich: features of a genre model]. *Izvestiya Gomel'skogo gosudarstvennogo universiteta imeni F. Skoriny* [Proceedings of the F. Scorina Gomel State University], 2014, issue 1(82), pp. 148–151. (In Russ.)
- Sin'kova L. D. *Belaruskaya tradytsyya ŷ tvorchasci Svyatlany Aleksievich* [Belarusian tradition in the works of Svetlana Alexievich]. *Matehryaly 16-j Mizhnar. navuk.-prakt. kanf., 4–5 sn. 2014 y., Minsk* [Proceedings of the 16th international scientific-practical conference, 4–5 September 2014, Minsk]. Ed by S. V. Dubovik. Minsk, Belarusian State University Press, 2014, issue 16, pp. 81–85. (In Russ.)
- Sonu Saini 'Chernobyl'skaya molitva: khronika budushchego' S. Aleksievich. Problema zhanra ['The Chernobyl Prayer' by S. Alexievich: the peculiarities of the 'hybrid' genre]. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Kul'turologiya i iskusstvovedenie* [Tomsk State University Journal of Cultural Studies and Art History], 2013, issue 2(10), pp. 17–22. (In Russ.)
- Tomashevskaya M. P. *Problematika katastroficheskogo sovet'skogo obshchestva: po proizvedeniyam Svetlany Aleksievich* [Problems of the catastrophic Soviet society: based on the works of Svetlana Alexievich]. *Vestnik polockogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya E: Pedagogicheskie nauki* [Vestnik of Polotsk State University. Series E: Pedagogic Sciences], 2016, issue 15, pp. 100–103. (In Russ.)
- Schmid V. *Narratologiya* [Narratology]. Moscow, LRC Publishing House, 2003. 312 p. (In Russ.)
- Yakovleva N. 'Chelovecheskiy dokument' ['The human document']. *Istoriya i povestvovaniye* [History and narrative]. Ed. by G. V. Obatin, P. Pesonen. Moscow, 2006. (In Russ.)
- Karpusheva A. Svetlana Aleksievich's voices from Chernobyl: between an oral history and a death lament. *Canadian Slavonic Papers*, 2017, issue 3–4, pp. 259–280. (In Eng.)
- Lindbladh J. The polyphonic performance of testimony in Svetlana Aleksievich's voices from utopia. *Canadian Slavonic Papers*, 2017, issue 3–4, pp. 281–312. (In Eng.)
- Obertreis J. Polyphonies on the ruins of socialism: Svetlana Alexievich's work from the perspective of oral history. *Osteuropa: Zeitschrift fuer Gegenwartsfragen des Ostens*, 2018, issue 1–2(68), pp. 117–134. (In Eng.)

THE ONTOLOGY AND POETICS
OF NON-FICTION PROSE OF SVETLANA ALEXIEVICH
(‘Chernobyl Prayer. A Chronicle of the Future’)

Svetlana V. Romanova

Postgraduate Student in the Department of Literature

Vitebsk State University named after P. M. Masherov

33, Moskovskiy prospekt, Vitebsk, 210038, Republic of Belarus. lanilya83@gmail.com

SPIN-code: 9674-4578

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-1436-6551>

ResearcherID: Y-2410-2018

Submitted 11.12.2018

The beginning of the 21st century is characterized by the flourishing of narrative forms combining the features of fiction and documentary prose. The emergence of the cycle *Voices of Utopia* written by S. Alexievich became a kind of apotheosis of this process. The article analyzes genre peculiarities of one of the works from the cycle – *Chernobyl Prayer. A Chronicle of the Future*, and reveals the distinctive features of the writer’s creative manner and orientation. The *Chronicle* is based on polyphony – it contains memories of numerous eyewitnesses to the Chernobyl disaster. The inner rhythm and intonation are organized by the introduction of monologues and choirs into the structure of the work. However, the main ‘voice’, which forms the main emotive content, is the ‘voice’ of the author. The emotional component in S. Alexievich’s creative system acts as a meaning-forming factor and reflects the view of history as a concept of tragedy. Genre properties of the tragifarce reinforce the feeling of a tragic predestination, and the absurdity of human existence. The ambivalent nature of the serious and ridiculous reveals the crisis consciousness of the heroes, who try to find a way out of the boundaries of the existing ‘anti-world’ or escape from the objective reality. The compositional integrity of the work, which reveals the internal connections of the motivic organization, also contributes to conveying the author’s idea. The leading motif of the chronicle is the existential one. The ontological essence of existence is expressed in the philosophy of a lonely and doomed existence, permeated with the feelings of fear and death.

After the terrible tragedy, Chernobyl became a symbol of the ‘land of the dead’ and mournful silence. *A Chronicle of the Future* is a futurological warning about the possible tragic dangers accompanying the development of society and a reminder of the fatal consequences.

Key words: S. Alexievich; non-fiction work *Chernobyl Prayer*; genre; polyphony; emotive tonality; tragifarce forms; motivic organization; existence; tragedy; literature of fact.

УДК 821.161.1-2: 82(09)

doi 10.17072/2037-6681-2019-1-140-147

ДРАМАТУРГИЯ ЛЕОНИДА АНДРЕЕВА В КОНТЕКСТЕ ЕВРОПЕЙСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕССА: АНАЛИЗ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Ольга Игоревна Хайрулина

аспирант кафедры новейшей русской литературы
и современного литературного процесса

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова

119991, Россия, г. Москва, Ленинские горы, 1, стр. 51. olga_richter_kh@mail.ru

SPIN-код: 5852-0071

ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-2920-5993>

IstinaResearcherID (IRID): 31662145

Ирина Владимировна Монисова

к. филол. н., доцент кафедры новейшей русской литературы
и современного литературного процесса филологического факультета

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова

119991, Россия, г. Москва, Ленинские горы, 1, стр. 51. monisova2008@yandex.ru

SPIN-код: 7181-6590

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-3072-4267>

IstinaResearcherID (IRID): 7731318

Статья поступила в редакцию 20.11.2018

Просьба ссылаться на эту статью в русскоязычных источниках следующим образом:

Хайрулина О. И., Монисова И. В. Драматургия Леонида Андреева в контексте европейского литературного процесса: анализ отечественных исследований // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2019. Т. 11, вып. 1. С. 140–147. doi 10.17072/2037-6681-2019-1-140-147

Please cite this article in English as:

Khayrulina O. I., Monisova I. V. Dramaturgiya Leonida Andreeva v kontekste evropeyskogo literaturnogo protsesssa: analiz otechestvennykh issledovaniy [Dramaturgy of Leonid Andreyev in the Context of the European Literary Process: Analysis of Domestic Research]. *Vestnik Permskogo universiteta. Rossiyskaya i zarubezhnaya filologiya* [Perm University Herald. Russian and Foreign Philology], 2019, vol. 11, issue 1, pp. 140–147. doi 10.17072/2037-6681-2019-1-140-147 (In Russ.)

Делается попытка систематизировать отечественные исследования драматургии выдающегося писателя Серебряного века Леонида Андреева, в которых его пьесы рассматриваются в контексте европейского литературного процесса и связываются с общеевропейскими и мировыми тенденциями в искусстве, прежде всего экспрессионистскими. Андреев был одним из тех писателей, которые «нащупывали» пути экспрессионизма, шли к нему мировоззренчески и творчески. Не будучи экспрессионистом формально, организационно, он стал предтечей этого явления на русской и европейской литературной и театральной почве. Исследователей все больше интересует разнообразие взглядов на творчество драматурга и «многофронтальное обследование» жизни андреевских пьес в инкультурной среде. Так, в данной статье проведен подробный анализ советских и российских литературоведческих исследований, посвященных месту творчества Леонида Андреева в литературном процессе Европы в различные периоды восприятия его творчества: статей К. В. Дрягина, И. Иоффе, О. Мандельштама, в которых впервые была озвучена связь драматургического творчества Леонида Андреева с немецким экспрессионизмом, работ А. П. Григорьева и Л. Н. Кен, где, несмотря на господствующие в то время социологический и идеологический подходы, можно отчетливо увидеть

преимущество взглядов на творчество Леонида Андреева как на предвещающее экспрессионизм явление, а также современных нам научных исследований В. В. Смирнова, Н. А. Бондаревой и Г. Н. Боевой, в которых проводятся уже более смелые параллели с драматургией европейских авторов конца XIX – начала XX в.

Ключевые слова: драматургия Л. Андреева; инокультурная среда; европейский контекст; рецепция; экспрессионизм.

Обращаясь к анализу творческого метода Леонида Андреева, в том числе и в драматургии, исследователи констатируют сложность и неоднозначность его связей с современными ему литературными течениями и направлениями, а также перманентную творческую эволюцию писателя. На протяжении всего творческого пути менялись его видение литературы, подходы к изображению внешней действительности и внутреннего мира героя, черты стиля и метода. Он прошел путь в драме от философского (в авторском определении, «ретушированного») реализма до «панпсихизма», а позднее исследователи будут причислять его зрелое творчество к экспрессионизму. Андреев был одним из тех писателей, которые «нащупывали» пути экспрессионизма, шли к нему мировоззренчески и творчески. Не будучи экспрессионистом формально, организационно, он стал предтечей этого явления на русской и европейской литературной и театральной почве. «Крик недоумевающего ужаса срывается с уст его героев» [Белый 1994: 439], – писал о творчестве Андреева А. Белый; «безвыходность отчаяния... в Леониде Андрееве является нам в виде... крика», ему «доступны только высшие ноты напряжения звука», – утверждал М. Волошин [Волошин 1907: 3]. Отметим созвучность этих оценок названию серии полотен «Крик» (1893–1910) раннего экспрессиониста Эдварда Мунка. Этим криком одиночества, отчаяния, отчуждения человека было проникнуто все экспрессионистское течение в искусстве, запечатлевшее болезненную реакцию сознания на уродства цивилизации. Напомним, что именно с крика рождающей женщины начинается и криком проклятия завершается пьеса «Жизнь человека», принесшая Андрееву мировую известность. Крик выступает как извещение о рождении новой жизни, обреченной на муки, он символически предвосхищает всю дальнейшую жизнь Человека и снова звучит в отчаянном и бессильном протесте против Судьбы, лишившей его единственного сына.

Мы попытаемся систематизировать те исследования отечественных филологов, в которых драматургия Леонида Андреева рассматривается в русле общеевропейских и мировых тенденций в искусстве. Одним из первых прокомментировал типологическую близость пьес Л. Андреева и немецких экспрессионистов и вообще заговорил

об Андрееве как об экспрессионисте литературовед К. В. Дрягин, опубликовавший в 1928 г. статью «Экспрессионизм в России». Он отмечает, что вопрос о русском экспрессионизме не разработан, поэтому дать картину его развития пока невозможно. «Характернейшие проявления экспрессионистского стиля» можно наблюдать, по его мнению, в типе «леонидоандреевского интеллигента с его издерганными нервами и вечноподавленным состоянием» [Дрягин 1928: 324]. «В метаниях от бытового до ирреалистического», пишет автор, Андреев пришел к некоему новому стилю, причем именно в драме он значительно отстает от традиций символизма и протягивает руку позднейшим течениям. Дрягин выделяет такие черты нового стиля Андреева, как отвлеченная мысль и ирреализм. «Царство голой мысли» и элементы фантастики в драме позволяют, как полагает автор работы, сопоставить пьесы Андреева по методу построения и некоторым чертам стиля с драматургией Георга Кайзера, одного из наиболее известных в то время немецких экспрессионистов. Среди черт, присущих этим художникам, в том числе андреевскому творчеству, Дрягин предлагает выделить алгебраизацию, т. е. сведение конкретного к отвлеченной сущности, вещи к понятию, где образ предстает как логическое и диалектически точное выведение следствий. Термин «алгебраизация» как нельзя лучше подходит к определению типа андреевского повествования и драматургического сюжетосложения, где собирательные образы и обобщенные ситуации являются доминирующими. В этом плане, как подчеркивает Дрягин, на русской почве наиболее близка Андрееву пьеса В. В. Маяковского «Мистерия-Буфф». Среди стилистических приемов драматургии Андреева исследователь выделяет прием схематизации: «Вместо живой личности – отвлеченный тип как сумма нужных и важных с его точки зрения черт» [там же: 328]. Отметим, что все сказанное приложимо не только к драматургии Кайзера, Толлера, Андреева и других драматургов, стоявших у истоков экспрессионизма, но и к творчеству поздних представителей этого стилистического направления в искусстве. Чаще всего Андреев-драматург попадает в исследованиях не только русских, но и немецких ученых в один контекст с младшим современником Э. Толлером, а его условно-аллегорические пьесы, осо-

бенно «Жизнь человека», традиционно сопоставляются с пьесой Толлера «Человек-масса». Образы героев здесь также предельно обобщены и схематизированы, персонажи лишены собственных имен (Женщина, Безымянный, Муж, Рабочие, Банкиры, Тени расстрелянных и т. п.). Как и у Андреева, группа персонажей реализует в сцене единую мысль – полилог фактически становится монологом персонажа-массы. Диалоги в пьесах обоих авторов часто содержат немотивированные переходы от одной темы к другой, не всегда реплика является ответом на предыдущую, «распад диалога» (и Дрягин вскользь упоминает об этом) подчеркивает мысль драматургов о хаотичности, абсурдности жизни, что свидетельствует о влиянии на драматургов некоторых принципов «новой драмы».

Нельзя пройти мимо того факта, что близость названных драматургов отмечалась и раньше, в частности литераторами. Так, на русский язык пьеса «Человек-масса» была переведена почти одновременно Адрианом Пиотровским и Осипом Мандельштамом. Через год вышла статья О. Мандельштама «Революционер в театре», посвященная названной пьесе Э. Толлера и ее влиянию на современную русскую литературу. Мандельштам сравнивает ее с андреевской «Жизнью Человека», относя оба текста к типу драматических произведений, «сильных и элементарных, понятных всем и каждому благодаря ясной схематичности действия и грубой, но яркой символике воплощения» [Мандельштам 1993: 283]. Разводя пьесы тематически, автор статьи отмечает прежде всего близость их поэтики.

Схематизацию как принцип построения драмы нового типа Дрягин усматривает и в основе других компонентов пьес, например, элементов интерьера, архитектурных форм сценического пространства, указанных в ремарках (такова в пьесе «Жизнь человека» «четыреугольная комната», выдержанная в «серой, дымчатой» монохромной гамме. Дрягин говорит и о приеме гиперболизации у Андреева и в типологически близких ему пьесах европейских драматургов. Человек практически лишается связи с реальной социальной средой; в описаниях преобладают однотонные цвета: черный, белый, синий; герои представляют собой подчеркнута овнешненные фигуры с геометрическими пропорциями или линиями лица («крутой подбородок, твердо сжатые губы», «пять сгорбленных старух» – «Жизнь человека»). Как правило, во внешности персонажа (группы) выделяется и гиперболизируется одна черта, которая нередко становится лейтмотивом. Приведенный выше элемент описания наружности персонажа Некогого в сером повторяется в авторских ремарках несколько раз. В пьесе

Андреева «Царь Голод» схематизируется и гиперболизируется по тому же принципу образ рабочих. Данные черты, по мнению Дрягина, сближают Андреева-драматурга с М. Метерлинком (на эту связь будут указывать позднее многие русские и западноевропейские исследователи творчества Андреева). Дрягин упоминает в этой связи пьесу Метерлинка «Слепые» (1890), в которой двенадцать слепых являют собой обобщенно-символический образ человечества, оставленного Богом, слепого и незащитного. Резюмируя исследование Дрягина, важно отметить, что он одним из первых рассмотрел творчество Андреева, в том числе драматургию, в контексте современной писателю западноевропейской литературы, что, безусловно, очень важно.

Назовем еще одну работу, вышедшую за год до статьи Дрягина. Драматургия Андреева в связи с общеевропейскими модернистскими тенденциями упоминается в ней при разговоре о театре и кинематографе и анализируется не так подробно, однако важен сам факт помещения пьес русского драматурга в этот контекст. Речь идет о монографии И. Иоффе «Культура и стиль» 1927 г. Ее автор отмечает такие черты драматургии Андреева, как заостренность и философичность мысли, гротескность форм, поэтика цветовых контрастов, схематизм образов, статичность картин. Причем Иоффе вынужден «защищать» Андреева от имевших место обвинений в художественной ущербности и безвкусице. Он, как и Дрягин, говорит о своеобразии творчества писателя и видит в указанных чертах его художественной манеры отражение принципов экспрессионизма.

Вскоре в советском литературоведении возобладал социологический и идеологический подход к фактам культуры и искусства. И если при этом устанавливались аналогии с западным модернизмом, то градус оценки произведения только понижался. Именно в этом ключе написана статья Б. Михайловского «Творчество Леонида Андреева», представленная в книге «Русская литература XX века» 1939 г. А затем Андреев как писатель-эмигрант на долгое время был исключен из истории русской литературы. Реабилитация творчества писателя, начавшаяся к концу 50-х гг. (назовем в этой связи книгу Л. Н. Афолина «Леонид Андреев» 1959 г.), привела к заметному оживлению в изучении его произведений, в том числе благодаря снятию многих идеологических барьеров и в интересующем нас аспекте. Среди работ этого периода выделяется статья А. П. Григорьева «Леонид Андреев в мировом литературном процессе», которая была опубликована в 1972 г. в журнале «Русская литература». Григорьев, можно сказать,

продолжает «линию» Дрягина, во многом опираясь на идеи и структуру работы предшественника. В первую очередь он подчеркивает тот факт, что Андреев предвосхитил экспрессионизм как международное художественное явление. Эта мысль, как и в работе Дрягина, проходит через всю статью Григорьева, подкрепляемая новыми фактами. Так, ученый раскрывает специфику экспрессионизма Андреева на примере рассказа «Красный смех» и пьесы «Царь Голод», выделяя такие черты, как «отказ от бытового жизнеподобия, обращение к условным, обобщенным до предела, гиперболизированным, эмоционально насыщенным, полным внутреннего движения образам, с помощью которых он [Андреев] стремился выразить самую суть жизненных явлений» [Григорьев 1972: 51]. Исследователь обобщает отдельные оценки и замечания андреевских современников относительно особенностей его творчества, о котором В. Львов-Рогачевский писал: «Где у Чехова чуть-чуть, там у Андреева чересчур» [Львов-Рогачевский 1923: 71]. Особое внимание в статье Григорьева уделяется пьесам писателя, он считает, что «художественные искания Андреева настойчиво проявились в первую очередь в драматургии» [Григорьев 1972: 7], и приводит в этой связи оценки К. И. Чуковского, которого восхищала смелая манера Андреева, «площадная эстетика», «экспрессивность». Григорьев рассматривает пьесы «Царь Голод», «Анатэма» и «Жизнь человека» как последовательные этапы пути к созданию философско-символической драмы. Он снова ссылается на мнения современников Андреева – М. Горького, А. Н. Луначарского. Они считали «Жизнь человека» плодотворной попыткой автора создать новую форму драмы, а драматургию Андреева в целом – «блестящим примером того, чем должна быть истинная философская драма», – т. е. «философией в образах» [Луначарский 1965: 155]. Можно сказать, что в этой статье немаловажной оказывается и проблема рецепции, хотя Григорьев специально ее не комментирует, но учитывает при анализе момент восприятия пьес современниками. Проводя параллели между Андреевым и европейской драматургией, ученый устанавливает аналогии с такими произведениями, как «Пер Гюнт» Г. Ибсена, трилогия К. Гамсуна «У врат царства» – «Драма жизни» – «Закат». Также Григорьев подчеркивает типологические «сцепления» Андреева с М. Метерлинком и Л. Пиранделло, отмечая успех его пьес в Италии.

Особое внимание уделяет Григорьев сопоставлению театрально-драматургических принципов и произведений Андреева с немецкой драматургией. Так, автор считает, что русский

писатель предвосхитил некоторые театральные идеи Б. Брехта. Он цитирует Андреева: «Ни на одну минуту зритель не должен забывать, что он стоит перед картиной, что он в театре и перед ним актеры» [цит. по: Григорьев 1972: 190]. Это почти точная формулировка брехтовского принципа «остранения» – *Verfremdungseffekt* – (буквально: эффект остранения, очуждения), одного из основополагающих моментов его концепции эпического театра. Андреев не раз в своих письмах акцентировал внимание на принципиальной условности происходящего в его пьесах, называл их «представлениями» и отмечал, что «в этом представлении сцена должна дать только отражение жизни». «Предпосылкой для возникновения отчуждения, – писал Брехт, – является следующее: все то, что актеру нужно показать, он должен сопровождать отчетливой демонстрацией показа» [Брехт 1965: 102]. Наряду с концептуальным и конструктивным сходством драматургов Григорьев также отмечает различия: целью театра Брехта является пробудить у зрителя желание изменить мир, а в пьесах Андреева чувствуется скорее отпечаток фатализма. В то время как Брехт практически полностью отказывается от мистики, Андреев смешивает ирреальное с реальным, символический план с конкретным.

Важный факт и то, что исследователь упоминает в своей работе труды зарубежных критиков о творчестве Л. Андреева. Например, выделяет работу немецкого исследователя М. Беверниса «К восприятию Леонида Андреева в Германии», опубликованную в 1966 г., и исследование А. Кауна «Леонид Андреев», написанное в 1924 г. в США. Таким образом, Григорьев одним из первых заговорил о рецепции творчества Андреева после того, как вульгарно-социологические взгляды на немецкий экспрессионизм были преодолены и облик Андреева как писателя, некоторыми сторонами своего творчества предвосхитившего левое движение в экспрессионизме, стал заново проясняться.

В 1975 г. в Курске выходит «Андреевский сборник», в который была включена статья Л. Н. Кен «Леонид Андреев и немецкий экспрессионизм». В ней исследователь ставит перед собой задачу определить тип творчества писателя. В разрешении данного вопроса она обращается к опыту предшествовавших исследований и оценкам современников писателя. Так, Кен констатирует, что Вересаев, Горький и Чуковский находили «признаки глубоких самобытных произведений Андреева» [Кен 1975: 47], приводит высказывания и отзывы о творчестве Андреева некоторых исследователей начала XX в. В 1923 г., когда в России были изданы пьесы немецких экспрессионистов Г. Кайзера («Коралл») и

Э. Толлера («Человек-масса»), в предисловиях к ним и рецензиях отмечалась близость с драматургией Андреева. Так, А. Пиотровский в предисловии к пьесе Толлера писал, что многие черты экспрессионизма уже были знакомы русскому читателю, в частности, по творчеству Л. Андреева и «суховатая схематичность Толлера близка к манере Леонида Андреева». Б. Гимельфарб, автор предисловия к пьесе «Коралл» Г. Кайзера, проводит те же аналогии: «Леонид Андреев в «Жизни человека» тоже дал схематичное линейное изображение «философии», но с гораздо большей монументальностью. Только его манера не называлась тогда экспрессионизмом». Далее Кен обращается к работе К. В. Дрягина, анализируя ее как одну из важнейших для понимания явления экспрессионизма на русской почве, а также делает обзор творческого наследия немецких экспрессионистов, отмечая свойственные им черты: «острое восприятие общественной ломки, подлинное страдание за себя и все человечество, стремление поведать миру о своей тревоге за судьбы людей, приобщить окружающих к своим мыслям и чувствам» [Кен 1975: 50]. Важно заметить, что в статье Кен предпринята попытка посмотреть на экспрессионистское творчество Андреева с точки зрения рецепции его произведений в России и Германии. Не располагая какими-либо определенными свидетельствами о связях Андреева с экспрессионистами, она предполагает, что немецкие писатели могли читать произведения Андреева и видеть их постановки на сценах Германии. Но в любом случае, по мнению Кен, можно «поражаться удивительной переключке мыслей, идей, образов, приемов» [там же: 53]. Среди таких художественных приемов автор выделяет прежде всего однолинейность в изображении характеров и душевных состояний; специфическую (как правило, контрастную) цветопись и звукопись; «жесткие изломы»; преднамеренность, заданность в резком противопоставлении образов; гиперболизацию; намеренное нарушение пропорций; прием монтажа.

Учитываются, хотя и подробно не разбираются экспрессионистские тенденции в творчестве Андреева в исследованиях Ю. В. Бабичевой, Ю. В. Беззубова, В. А. Келдыша, Л. А. Иезуитовой. В 1997 г. в журнале «Русская литература» выходит статья В. В. Смирнова «Проблема экспрессионизма в России. Андреев и Маяковский». Автор статьи проводит типологическое исследование творчества Андреева и Маяковского в аспекте экспрессионизма. Смирнов видит своей задачей рассмотреть экспрессионизм в России как особый художественный метод, связанный с новым типом сознания рубежа XIX–XX вв. Он определяет экспрессионизм как «перманентную

психологическую катастрофу, иррационализм, предельную эмоциональность сознания, длящийся «крик» – переживание окончательной всеобъемлющей утраты и абсолютного одиночества» [Смирнов 1997: 61]. Данное определение указывает и на связь с философией и литературой экзистенциализма, так как идея «абсолютного одиночества» возникла также в работах А. Камю и Ж. П. Сартра. Упоминание Смирновым этой черты экзистенциализма в контексте экспрессионизма позволяет утверждать, что эти два литературных явления имели общую основу. Говоря об экспрессионизме как о явлении искусства, автор статьи не раз делает акцент на том, что переживания, эмоции и аффекты являются «единственной несомненной истиной произведения», а иррациональное сознание экспрессиониста не акцептирует действительность как систему значений. Целью экспрессионизма, по мнению Смирнова, является «воплощение сна кошмарного и райского» [там же: 58], и это мотивирует обращение художников к гротескным формам. Напомним, что до середины XX в. термин «гротеск» употреблялся в литературе и искусстве применительно к творчеству Гофмана, Гоголя, Босха, Гойи, но в 50–60-е гг. XX в. понимание данного термина претерпевает изменения и расширяется. Это связано с публикацией в 1957 г. в Германии работы Вольфганга Кайзера «Гротеск: его воплощение в живописи и литературе» и выходом в 1965 г. книги М. М. Бахтина «Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса» (глава «Гротескный образ у Рабле и его источники»). Возвращаясь к статье Смирнова, отметим те черты мировоззрения и творчества Андреева, которые, по мнению исследователя, позволяют отнести его к экспрессионистам. Кроме личностных черт писателя, таких как самоощущение «изгоя» и «отщепенца», неприкаянность и «чувство постороннего», он подчеркивает религиозность писателя, «острое ощущение присутствия в мире дьявола» [Смирнов 1997: 61], а также ирреальность замысла многих его произведений, стремление показать не событие, а его «настроение», что мотивирует обращение к форме отрывка, аллегоричность, схематизм и плакатность текстов. Таким образом, Смирнов в своей статье уверенно причисляет Андреева к писателям экспрессионистской направленности.

В последние годы интерес к творчеству Андреева среди исследователей русской литературы, и драматургии в частности, не снижается. Особо отметим диссертации, посвященные теме влияния экспрессионизма на творчество Л. Андреева и сопоставительному исследованию его пьес с немецкой драматургией XX в. Так, в 2003

и 2005 гг. соответственно в Липецке и Орле были защищены три кандидатские диссертации: Н. Ю. Филоненко – «Становление и развитие поэтики экспрессионизма в творчестве Л. Н. Андреева», О. В. Вологина – «Творчество Леонида Андреева в контексте европейской литературы конца XIX – начала XX веков» и Н. А. Бондарева – «Творчество Л. Андреева и немецкий экспрессионизм». В данных работах освещаются такие аспекты, как психология творчества и проблемы освоения художественных традиций Андреева, становление художественного метода писателя, путь от реализма к экспрессионизму, явление синтеза искусств его творчестве. Авторы уделяют место и типологическим связям произведений Леонида Андреева и Г. Ибсена, М. Метерлинка, Э. По, Г. Кайзера и др.

Особую ценность представляют сборники «Леонид Андреев. Исследования и материалы», выпущенные ИМЛИ РАН. На данный момент было осуществлено два выпуска: первый – в 2000, второй – в 2012 г. В первом сборнике основное место отводится статьям по исследованию прозы и драматургии Леонида Андреева в русском контексте, но помимо них составители включили статью ««Жизнь Человека» на польской сцене» И. Альберта, отражающую рецептивный подход к драматическому творчеству писателя. Второй сборник базируется как раз на рецептивном подходе: восприятию творчества Андреева в разных национальных культурах и в контексте различных литературных традиций посвящен отдельный раздел. В нем анализируются рецепция произведений (в том числе пьес) Андреева в США, Болгарии, Франции, Польше, Бельгии, Испании, Финляндии, странах Скандинавии, Китае и Венгрии; есть статья об особенностях перевода и интерпретации творчества Леонида Андреева на иврите и идише. Отметим, что в сборнике отсутствует материал на наиболее очевидную тему – о рецепции творчества Андреева в Германии и немецкоязычных странах, возможно, такая работа ждет своего выхода в свет.

В последнее десятилетие был опубликован ряд работ, также касающихся в той или иной мере типологических связей драматургии Л. Андреева с европейским литературным процессом конца XIX – начала XX в. Прежде всего назовем недавно вышедшую монографию Г. Н. Боевой «Творчество Леонида Андреева и эпоха модерна» (2016), в которой устанавливаются многообразные сближения прозы, а в некоторых случаях и драматургии писателя с произведениями современников. При этом кроме глав, посвященных сравнительно-литературоведческим исследованиям на отечественном поле (Андреев и Горький, Сологуб, Бунин, авангардисты, еврей-

ская литература), в книге есть раздел «Творчество Андреева в контексте литературы европейского модерна». Так, автор проводит параллели между творчеством Л. Андреева и литературным наследием К. Гамсуна, Г. Ибсена, А. Стриндберга, С. Пшибышевского, Д. Лондона. Говоря о связях Андреева с немецкой драматургией, Боева в первую очередь выделяет пьесы Г. Гауптмана, которые имели большой успех на российской сцене и затронули Л. Андреева: «Возчик Геншель», «Потонувший колокол», «Михаэль Крамер», «Ткачи», «Одинокие». Известно, что в 1906 г. после просмотра «Ткачей» в Берлине Л. Андреев значительно изменил план своей пьесы «Савва». Необходимо упомянуть также работы В. Терехиной «Экспрессионизм в русской литературе первой трети XX века» (2009) и Л. И. Шишкиной «Творчество Леонида Андреева в контексте культуры XX века» (2009), в которых творчество писателя рассматривается сквозь призму экспрессионизма. Шишкина отмечает, что в андреевском портрете бытовая конкретика внешних деталей заменена экспрессионистской выразительностью развернутых ассоциативных сравнений, создающих общее впечатление от образа.

Таким образом, в последние годы интерес к исследованию художественного метода Андреева-драматурга в контексте европейского литературного процесса очевиден, как и интерес к проблемам рецепции творчества Андреева в других странах и типологическим связям его произведений с творчеством зарубежных писателей. Исследователей все больше интересует «стереоскопическое разнообразие точек зрения» на драматурга и «многофронтальное обследование» жизни андреевских пьес в инокультурной среде [Леонид Андреев: материалы и исследования 2012: 4].

Список литературы

- Афонин Л. Н.* Леонид Андреев. Орел, 1959. 104 с.
- Бабичева Ю. В.* Драматургия Л. Андреева эпохи первой русской революции. Вологда, 1971. 186 с.
- Бахтин М. М.* Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. М.: Худож. лит., 1990. С. 335–407.
- Безубов В.* Леонид Андреев и традиции русского реализма. Таллин, 1984. 336 с.
- Бельий А.* Критика. Эстетика. Теория символизма: в 2 т. М.: Искусство, 1994. Т. 2. 572 с.
- Боева Г. Н.* Творчество Леонида Андреева и эпоха модерна. СПб.: Петрополис, 2016. 520 с.
- Бондарева Н. А.* Творчество Л. Андреева и немецкий экспрессионизм: дис. ... канд. филол. наук. Орел, 2005. 205 с.

Брехт Б. Театр. М.: Искусство, 1965. Т. 5, ч. 2. С. 102–103.

Вологина О. В. Творчество Леонида Андреева в контексте европейской литературы конца XIX – начала XX веков: дис. ... канд. филол. наук. Орел, 2003. 212 с.

Волошин М. А. Леонид Андреев и Федор Сологуб // Русь. 1907. № 340. С. 3–4.

Григорьев А. Л. Леонид Андреев в мировом литературном процессе // Русская литература. 1972. № 3. С. 190–204.

Дрягин К. В. Экспрессионизм в России // Труды Вятского пединститута. Вятка, 1928. Т. 3, вып. 4. С. 324–328.

Иезутова Л. А. Творчество Л. Андреева (1892–1906). Л., 1976. 240 с.

Иоффе И. Культура и стиль. Л., 1927. 368 с.

Кен Л. В. Леонид Андреев и немецкий экспрессионизм // Андреевский сборник. Исследования и материалы / под науч. ред. Л. Н. Афонина. Курск, 1975. Т. 37. 262 с.

Леонид Андреев: исследования и материалы, вып. 1. М.: ИМЛИ РАН, 2000. 415 с.

Леонид Андреев: исследования и материалы. М.: ИМЛИ РАН, 2012. Вып. 2. 384 с.

Луначарский А. В. Сочинения: в 8 т. М., 1965. Т. 5. 412 с.

Мандельштам О. Э. Собрание сочинений: в 4 т. М.: Арт-Бизнес-Центр, 1993. Т. 2. 703 с.

Михайловский Б. В. Творчество Л. Андреева // Русская литература XX века. М., 1939. С. 319–332.

Смирнов В. В. Проблемы экспрессионизма в России // Русская литература. 1997. Вып. 2. С. 55–63.

Терехина В. Н. Экспрессионизм в русской литературе первой трети XX века. М.: ИМЛИ РАН, 2009. 320 с.

Филоненко Н. Ю. Становление и развитие поэтики экспрессионизма в творчестве Л. Н. Андреева 1898–1908 годов: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Липецк, 2003. 18 с.

Шшикина Л. И. Творчество Леонида Андреева в контексте культуры XX века. СПб.: Изд-во Северо-Западной академии гос. службы, 2009. 219 с.

Kauser W. Das Grotteskein Malerei und Dichtung Oldenburg-Hamburg Staling, 1957. 157 p.

References

Afonin L. N. *Leonid Andreev* [Leonid Andreev]. Orel, 1959. 104 p. (In Russ.)

Babicheva Yu. V. *Dramaturgiya L. Andreeva epokhi pervoy russkoy revolyutsii* [L. Andreev's dramaturgy of the first Russian revolution period]. Vologda, 1971, 186 p. (In Russ.)

Bakhtin M. M. *Tvorchestvo Fransua Rable i narodnaya kul'tura Srednevekov'ya i Renessansa* [François Rabelais' works and folk culture of the

Middle Ages and the Renaissance]. Moscow, Khudozhestvennaya Literatura Publ., 1990, pp. 335–407. (In Russ.)

Bezzubov V. *Leonid Andreev i traditsii russkogo realizma* [Leonid Andreev and traditions of the Russian realism]. Tallinn, 1984, 336 p. (In Russ.)

Belyy A. *Kritika. Estetika. Teoriya simvolizma: v 2 t.* [Criticism. Aesthetics. Theory of symbolism: In 2 vols.]. Moscow, Iskusstvo Publ., 1994, vol. 2. 572 p. (In Russ.)

Boeva G. N. *Tvorchestvo Leonida Andreeva i epokha moderna* [Leonid Andreev's works and the modern era]. St. Petersburg, Petropolis Publ., 2016. 520 p. (In Russ.)

Bondareva N. A. *Tvorchestvo L. Andreeva i nemetskiy ekspressionizm*. Diss. ... d-ra filol. nauk [Leonid Andreev's works and German expressionism. Dr. philol. sci. diss.]. Orel, 2005. 574 p. (In Russ.)

Brekht B. *Teatr* [Theater]. Moscow, Iskusstvo Publ., 1965, vol. 5, pt. 2, pp. 102–103. (In Russ.)

Vologina O. V. *Tvorchestvo Leonida Andreeva v kontekste evropeyskoy literatury 19-20 vekov*. Diss. kand. filol. nauk [Leonid Andreev's works in the context of the European literature of the 19th–20th centuries. Cand. philol. sci. diss.]. Orel, 2003. 212 p. (In Russ.)

Voloshin M. A. Leonid Andreev i Fedor Sologub [Leonid Andreev and Fedor Sologub]. *Gazeta 'Rus'* [Newspaper 'Rus'], 1907, issue 340, pp. 3–4. (In Russ.)

Grigor'ev A. L. Leonid Andreev v mirovom literaturnom protsesse [Leonid Andreev in the world literary process]. *Russkaya literatura* [Russian Literature], 1972, issue 3, pp. 190–204. (In Russ.)

Dryagin K. V. *Ekspressionizm v Rossii* [Expressionism In Russia]. *Trudy Vyatskogo pedinstituta im. Lenina* [Proceedings of Vyatka Pedagogical Institute named after Lenin], Vyatka, 1928, vol. 3, issue 4, pp. 324–328. (In Russ.)

Iezuitova L. A. *Tvorchestvo L. Andreeva (1892–1906)* [L. Andreev's works (1892–1906)]. Leningrad, 1976. 240 p. (In Russ.)

Ioffe I. *Kul'tura i stil'* [Culture and style]. Leningrad, 1927. 368 p. (In Russ.)

Ken L. V. Leonid Andreev i nemetskiy ekspressionizm [Leonid Andreev and German expressionism]. *Andreevskiy sbornik. Issledovaniya i materialy* [Andreev's anthology. Studies and materials]. Ed. by L. N. Afonin. Kursk, 1975, vol. 37. 262 p. (In Russ.)

Leonid Andreev: issledovaniya i materialy. Vyp. 1 [Leonid Andreev: studies and materials. Issue 1]. Moscow, IWL RAS Publ., 2000. 415 p. (In Russ.)

Leonid Andreev: issledovaniya i materialy. Vyp. 2 [Leonid Andreev: studies and materials. Issue 2]. Moscow, IWL RAS Publ., 2012. 384 p. (In Russ.)

Lunacharskiy A. V. *Soch. v 8 t.* [Works in 8 vols.]. Moscow, 1965, vol. 5. 412 p. (In Russ.)

Mandelstam O. E. *Sobranie sochineniy: v 4 t.* [Collected works: in 4 vols.]. Moscow, Art Biznes Tsent Publ., 1993, vol. 2. 703 p. (In Russ.)

Mikhailovskiy B. V. *Tvorchestvo L. Andreeva* [L. Andreev's works]. *Russkaya literatura 20 veka* [Russian literature of the 20th century]. Moscow, 1939, pp. 319–332. (In Russ.)

Smirnov V. V. *Problemy ekspressionizma v Rossii* [The problems of expressionism In Russia]. *Russkaya literatura* [Russian Literature], 1997, issue 2, pp. 55–63. (In Russ.)

Terekhina V. N. *Ekspressionizm v russkoy literature pervoy treti 20 veka* [Expressionism In Russian literature of the first third of the 20th century]. Moscow, IWL RAS Publ., 1939, pp. 319–332. (In Russ.)

Filonenko N. Yu. *Stanovlenie i razvitie poetiki ekspressionizma v tvorchestve L. N. Andreeva 1898–1908 godov.* Avtoreferat diss. kand. filol. nauk [Formation and development of expressionism poetics in the works of L. N. Andreev of 1898–1908. Abstract of Cand. philol. sci. diss.]. Lipetsk, 2003, pp. 23–50. (In Russ.)

Shishkina L. I. *Tvorchestvo Leonida Andreeva v kontekste kultury 20 veka* [Leonid Andreev's works in the context of the 20th century culture]. St. Petersburg, North-West Academy of Public Administration Publ., 2009. 219 p. (In Russ.)

Kayser W. *Das Grotteske in Malerei und Dichtung* [The Grotesque in Art and Literature]. Oldenburg-Hamburg, Staling, 1957. 157 p. (In Germ.)

DRAMATURGY OF LEONID ANDREYEV IN THE CONTEXT OF THE EUROPEAN LITERARY PROCESS: ANALYSIS OF DOMESTIC RESEARCH

Olga I. Khayrulina

Postgraduate Student in the Department of Modern Russian Literature and Modern Literary Process
Lomonosov Moscow State University

1, Leninskie Gory, GSP-1, Moscow, 119991, Russian Federation. olga_richter_kh@mail.ru

SPIN-code: 5852-0071

ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-2920-5993>

IstinaResearcherID (IRID): 31662145

Irina V. Monisova

Associate Professor in the Department of Modern Russian Literature and Modern Literary Process
Lomonosov Moscow State University

1, Leninskie Gory, GSP-1, Moscow, 119991, Russian Federation. monisova2008@yandex.ru

SPIN-code: 7181-6590

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-3072-4267>

IstinaResearcherID (IRID): 7731318

Submitted 20.11.2018

The article makes an attempt to systematize the domestic studies of the dramaturgy of the outstanding writer of the Silver Age period Leonid Andreyev in which his plays are considered in the context of the European literary process and are associated with European and worldwide trends in art, especially expressionist ones. Leonid Andreyev was one of those writers who 'groped' the way of expressionism through his world view and creative work. Not formally being an expressionist, organizationally, he became the precursor of this phenomenon in Russian and European literature and theatre. Researchers are increasingly interested in the diversity of views on the work of the playwright and 'multi-frontal examination' of the life of Leonid Andreyev's plays in a foreign cultural environment. This article provides a detailed analysis of the Soviet and Russian literary studies of the place of Leonid Andreyev's oeuvre in the literary process of Europe in different periods of the perception of his work: articles of Konstantin Dryagin, Ieremiya Ioffe, Osip Mandelstam, which first announced the connection between Leonid Andreyev's dramatic writing and German expressionism; works of Alexey Grigoriev and Lyudmila Ken, where, despite the sociological and ideological approaches prevailing at that time, one can clearly see the continuity in views on the work of Leonid Andreyev as a phenomenon being a forerunner of expressionism; modern scientific research by Vladimir Smirnov, Natalia Bondareva and Galina Boeva, who dare to draw more direct parallels with the drama of European authors of the late 19th – early 20th centuries. In the article, we attempt to systematize those studies of Russian philologists in which Leonid Andreyev's dramaturgy is considered in line with European and global trends in art.

Key words: dramaturgy of Leonid Andreyev; foreign cultural environment; European context; perception; expressionism.

Научный периодический журнал «Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология» зарегистрирован в 2009 г. как самостоятельное издание, объединяющее две серии журнала «Вестник Пермского университета», издаваемого с 1994 г. («Филология» и «Иностранные языки и литературы»).

Цель журнала «Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология» – освещение новых результатов научной деятельности российского и зарубежного научного сообщества в области современной филологической науки; содействие развитию теоретических и практических исследований в области социогуманитарного знания; установление и укрепление научных связей между учеными из различных регионов России и других стран. Журнал публикует проблемные статьи и аналитические обзоры по актуальным вопросам современной филологической науки; результаты теоретических, экспериментальных и практических исследований в области языкознания, литературоведения, журналистики, методики преподавания языков и литератур; рецензии на научные публикации; хронику научных событий, сообщения о достижениях ведущих научных школ. Одна из задач журнала – формирование тематических научных площадок для обмена мнениями, предложениями и опытом в данных научных областях. Научный журнал «Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология» публикует качественные, оригинальные авторские исследования, ранее нигде не публиковавшиеся.

Полнотекстовая версия выставляется на сайте <http://press.psu.ru/index.php/philology> и на сайте НЭБ [Elibrary.ru](http://elibrary.ru).

С 19.02.2010 журнал включен в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (10.01.01 – Русская литература, 10.01.03 – Литература народов стран зарубежья (с указанием конкретной литературы), 10.01.08 – Теория литературы. Текстология, 10.01.09 – Фольклористика, 10.01.10 – Журналистика, 10.02.01 – Русский язык, 10.02.02 – Языки народов Российской Федерации (с указанием конкретного языка или языковой семьи), 10.02.03 – Славянские языки, 10.02.04 – Германские языки, 10.02.14 – Классическая филология, византийская и новогреческая филология, 10.02.19 – Теория языка, 10.02.20 – Сравнительно-историческое типологическое и сопоставительное языкознание, 10.02.21 – Прикладная и математическая лингвистика).

ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ СТАТЕЙ

Рукопись сопровождается внешней рецензией специалиста в исследуемой области, имеющего степень кандидата или доктора наук и не являющегося сотрудником вуза автора. Подпись рецензента заверяется в отделе кадров по месту работы. Авторы, не имеющие ученой степени, представляют, кроме внешней рецензии, отзыв научного руководителя, подписанный и заверенный по месту его работы. В рецензии и отзыве должны быть указаны полностью ФИО, ученая степень, должность, место работы и электронный адрес рецензента. Аспиранты дополнительно представляют официальную справку о сроках обучения в аспирантуре с указанием контактного телефона зав. отделом аспирантуры, подписавшим его документ.

Все три документа с печатями могут присылаться по почте или в сканированном виде отправляться на электронный адрес редакции вместе со статьей. Письмо с вложенными файлами должно быть отправлено с адреса, указанного в сведениях об авторе, и сопровождаться следующим текстом: «Передавая статью в научный журнал “Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология”, я гарантирую, что статья создана мной лично и не была ранее опубликована. Согласен на размещение статьи на сайте “Вестника” <http://press.psu.ru/index.php/philology/index>. Беру на себя полную ответственность за соблюдение авторских прав в отношении используемых мной материалов» (в случае частичной публикации представляемой статьи здесь должны быть указаны сведения об уже опубликованном фрагменте и месте его публикации).

Рукописи рассматриваются в порядке их поступления в течение 1–6 месяцев. Окончательное решение о публикации статьи принимается редколлегией и главным редактором. Члены международного редакционного совета или редколлегии даже при наличии положительной рецензии могут обратиться к главному редактору с предложением о дополнительном рецензировании статьи. В этом случае назначаются три эксперта из состава редколлегии или совета для подготовки обоснованного заключения. В случае отрицательного решения автору рукописи направляется мотивированный отказ от имени редколлегии. Рукопись, сопровождаемая внутренней рецензией, может быть отправлена автору на доработку для устранения замечаний. Срок доработки не ограничен. Статья, не соответствующая требованиям, предъявляемым к публикациям, вторично на доработку не отправляется. Статьи аспирантов, одобренные редколлегией, публикуются бесплатно.

ПРАВИЛА ПОДАЧИ И ОФОРМЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ

Рукопись объемом от 20 до 40 тыс. знаков, оформленная в соответствии с выложенной на сайте ФОРМОЙ, должна поступить вместе с ПАСПОРТОМ СТАТЬИ и со всеми указанными выше документами по электронному адресу langlit2009@mail.ru (попросите отправить подтверждение). Основной текст может быть написан на русском или английском языках. **Правила оформления рукописей помещены на сайте журнала в разделе «Руководство для авторов».**

Главный редактор – Ирина Александровна Новокрещенных. Зам. гл. редактора – Ирина Ивановна Русинова, Наталья Валерьевна Шутемова, администратор сайта – Алексей Васильевич Пустовалов, контент-редактор англоязычной версии сайта – Екатерина Владимировна Исаева.

Адрес редакции: 614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15, ПГНИУ, корп. 5, ауд. 28 (Лаборатория региональной лексикологии и лексикографии, тел. (342)2396795), ауд. 111 (Лаборатория сравнительно-исторических исследований и культурных инноваций, тел. (342)2396290).

Научное издание

**Вестник Пермского университета
Российская и зарубежная филология**

Том 11. Выпуск 1 / 2019

Редакторы *Л. А. Богданова, О. И. Кирьянова*
Корректоры *Л. А. Семицветова, Е. В. Шумилова*
Компьютерная верстка: *Л. С. Нечаева*
Макет обложки: *Т. А. Басова*

Подписано в печать 19.03.2019. Дата выхода в свет __. __.2019
Формат 60×84/8. Усл. печ. л. 17,32. Тираж 500 экз. Заказ _____



Издательский центр
Пермского государственного
национального исследовательского университета
614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15

Типография
Пермского государственного
национального исследовательского университета
614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15

Подписной индекс журнала
«Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология»
в общероссийском каталоге «Пресса России» – 41008

Распространяется бесплатно и по подписке